

Ермей Айпин

Собрание сочинений
в пяти томах



Еремей Айпин

Собрание сочинений
в пяти томах

Редакционная коллегия:

В. В. Огрызко – литературовед, критик,
О. П. Пламадилова – литературный редактор,
Е. В. Косинцева – доктор филологических наук,
В. Л. Сязи – кандидат филологических наук,
М. Е. Айпина – редактор,
О. Е. Салтанова – редактор.

Ханты-Мансийск
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «НОВОСТИ ЮГРЫ»
2020

Еремей Айпин

Собрание сочинений
в пяти томах

Том 2
**«В ОЖИДАНИИ
ПЕРВОГО СНЕГА»**

ПОВЕСТИ



Ханты-Мансийск
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «НОВОСТИ ЮГРЫ»
2020

Комментарий В. Огрызко
Художник Г. Райшев

Во втором томе Собрания сочинений угорского писателя и общественного деятеля Еремея Айпина представлены повести «У гаснущего Очага» и «В ожидании первого снега» (о верованиях и обычаях народа ханты).

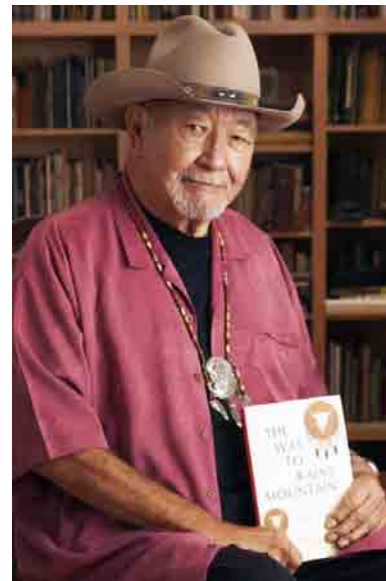
Повесть «В ожидании первого снега» имела для Еремея Айпина огромное значение. Она помогла ему приобрести тот опыт, который накапливался в письменной культуре народов Севера почти полвека. По сути, Айпин перешагнул в литературе сразу несколько эпох.

*Вячеслав Огрызко,
литературовед, критик, Москва*

The second volume of the Collected Works of the Ugric writer and public figure Eremey Aipin presents stories “At the Dying Hearth” and “Waiting for the first snow”, about the beliefs and practices of the Khanty people.

The story “Waiting for the first snow” was of great importance for Eremey Aipin. It helped him to gain the experience that had been accumulating in the written culture of the peoples of the North for almost half a century. In fact, Aipin stepped over several eras in literature at once.

*Vyacheslav Ogryzko,
literary critic, Moscow*



Yeremei Aipin is an important voice in world literature. He has written with great skill, sensitivity, and perception of his people and of their culture. As a Native American I share his deep concern for the well being of indigenous humanity worldwide. Through his writing and the rich oral tradition of the Khanty people he has done much to preserve the sacred values of an old and worthy way of life. His contribution to our knowledge and understanding of the human condition, of who we are and ought to be, is truly significant. Let us give him our heartfelt admiration and respect, and our best thanks.

N. Scott Momaday

- © Айпин Е. Д., сост., 2020
- © Райшев Г. С., иллюстрации, 2020
- © Издательский дом «Новости Югры», оформление, 2020

ISBN (т. 2) 978-5-6045403-3-6
ISBN 978-5-6045403-1-2

Еремей Айпин является важным голосом в мировой литературе. Он пишет с великим мастерством, чуткостью и пониманием своего народа и культуры. Как коренной американец, я разделяю его глубокую заинтересованность в благополучии коренных народов всего мира. Благодаря своему творчеству и богатому устному наследию Хантыйского народа он сделал очень многое для сохранения священных ценностей былого достойного уклада жизни. Его вклад в наше познание и понимание человеческой природы, того, кем мы являемся и кем должны быть, поистине существенный. Позвольте выразить наш искренний восторг и уважение и нашу огромную благодарность.

*Скотт Н. Момадэй,
американский писатель,
лауреат премии Пулитцера 1968 года,
Санта-Фе, Нью-Мексико, США*

Еремей Айпин

У ГАСНУЩЕГО ОЧАГА



Как родилась эта книга

Элегия для читателя

Эту книгу я начал писать со дня своего рождения. Так мне казалось. Но сейчас думаю, что, возможно, она зародилась задолго до моего появления на свет. Ведь ее писали моя Мама и мой Отец, моя Бабушка и мой дед Роман, мой Крестный отец, старец Ефрем, и мой прадед Иван. К ее рождению причастны многие мои сородичи — близкие и дальние родственники, мои Братья и Сестры, Реки и Озера, Боры и Урманы, Звери и Птицы, Деревья и Травы. И разумеется, Боги и Богини Земли и Неба.

Мне хотелось рассказать о жизненных основах моего рода, благодаря которым он дожил до XX века. И не следует все понимать буквально. Например, в разделе «Осени» не обязательно речь идет только об осени. Ведь в какое угодно время года осень может поселиться в душе человека. А неуют и январский холод способны охватить нас и в жаркий летний полдень. Но в том, что касается истины

и жизни народа, я до конца старался быть искренним и правдивым.

Когда я написал первые главы и опубликовал их, то увидел, сколь многое упустил, сколь многое не рассказал о моих сородичах, о моей Земле, о моем народе ханты (в старину их называли остяками или уграми).

И теперь, когда я дополнил и подготовил книгу к первому изданию, понял, что опять многое не вошло в рукопись, особенно в разделы «Боги и Богини», «Шаманы и Сказители», «Осени» и «Боли»... Понял, что книга — сейчас она как младенец — требует роста. И будет расти, не даст мне покоя.

Когда я ее закончу и, вообще, закончу ли когда-нибудь — не знаю. Возможно, что продолжать и заканчивать ее придется другому моему сородичу. Но с каждым годом все труднее и труднее писать эту книгу. Ибо у народа слишком много потерь и разочарований. У народа отнята Вера. У народа отняты Боги и Богини. Бесследно ушли и уходят Великие Шаманы, Великие Сказители, Великие Мастера. Уходят последние. И вместе с ними уходит Душа Народа. Вместе с ними уходит сам Народ. Уходит его язык. Уходит его духовная и материальная культура. И тешить себя надеждами не приходится. Тем более если твой народ мал числом. Тем более если на полпланеты идет нефть и газ твоей Земли. И всем нужен не твой народ, а его Земля.

Итак, эта книга — о народе, утратившем Душу, утратившем Веру. О народе, уходящем из жизни. О народе, обреченном на медленную кончину.

Но жизнь хороша тем, что ни один человек и ни один народ до самого последнего мгновения не верит в свою кончину. И если в твоём сердце отзовется боль уходящего и ты поделишь с ним его боль, то этим ты облегчишь его участь на пути к вечному и неминуемому покою...

*24 февраля 1991 года,
Москва*

Р. С. У каждой книги своя судьба. У этой — в том числе. Она должна была увидеть свет ровно 7 лет назад в союзном издательстве «Детская литература», когда я работал в Верховном Совете СССР. С тех пор немало воды утекло. Не стало Союза. Не стало «Детской литературы». И еще много кое-чего и кое-кого не стало. Многие мы утратили. В бурном водовороте событий у меня просто руки не доходили до литературных дел. В итоге, когда я хватился, не смог разыскать не только первый (издательский) экземпляр рукописи, но и своего редактора и все бывшее руководство «Детлита». Слава Богу, сохранились третий экземпляр и иллюстрации нашего изумительного художника Геннадия Райшева. Значит, книга выживет.

Я не стал переписывать предисловие семилетней давности. Перечитав его, я понял, что менять почти нечего. Уточню только одну строку: «Эта книга — о народе, утрачивающем Душу, утрачивающем Веру». Хочется, чтобы у народа все-таки осталась надежда...

Наверное, с годами, несмотря на все трудности и тяготы переходной для России и моего народа эпохи, я становлюсь большим оптимистом...

Что ж, это отрадно...

*25 февраля 1998 года,
Москва*

I

ВЁСНЫ

День Обретения

Я пришел на Землю в самый долгий день года. Быть может, поэтому мне кажется, что я помню себя со дня своего рождения. Помню, как Мама носила меня на руках. Помню тепло ее добрых, ласковых рук.

Помню трещины и зарубки на стенах домов, где мы жили, и сосну, что увидел солнечным утром, впервые выйдя на улицу.

Помню высокое-высокое небо над головой и перелетных птиц, что приносили теплую весну. Птиц, что приносили изумительные белые ночи. Птиц, что разноголосым гомоном будили всю округу, будили весь наш Север.

А за весной приходило лето с очень вкусными ягодами. Мама и моя старшая сестра Лиза приносили мне их.

Ягоды бордовые и красные.

Черные и голубые.

Янтарно-желтые и малиновые.

Лунные и солнечные.

Помню, как наступала осень и перелетные птицы уносили тепло в далекие края. Уходила осень с грустными деревьями — и я ловил первые снежинки,

медленно парившие в пронзительно-прозрачном воздухе...

И первый снег, обновляющий Землю...

Но на этом снегу оставались не мои, а Мамины следы. Я ходил тогда еще ногами Мамы. Ведь я пришел на Землю совсем недавно, незадолго до первого снега, — и на своих ногах еще не держался. Пришел в самый длинный день года, в пору очаровательных белых ночей. Быть может, поэтому все жители нашего селения решили, что судьба моя будет такой же светлой.

И получил я счастливое имя моего деда по Отцу — Роман. Его имя отдали мне затем, чтобы я вырос таким же благородным, отважным и сильным, каким был мой Дед. Его я не видел, он не носил меня на своих крепких руках медвежатника. Дни Деда на Земле кончились до моего рождения. Но я слышал столько рассказов о его необыкновенной отваге, что мне стало казаться, будто я видел его, будто жил с ним когда-то рядом. Мне казалось: я и он — это один человек. Ведь я помню тяжесть и холодный блеск острия его копья. Я вместе с Дедом вступал в единоборство с медведем. В стужу и зной вместе с ним пробирался по тропам родной земли, по большим и малым рекам и озерам.

Рядом с ним я не знал ни усталости, ни покоя...

Мне отдали его имя, чтобы мое сердце стало таким же трепетным и чутким к людской печали и радости, каким было сердце Деда...

В крестные отцы мне достался столетний старец Ефрем, родной брат моего Деда. Это чтобы стал я таким же мудрым, как и мой Крестный. И чтобы прожил такую же долгую жизнь, стал таким же сказочником и певцом. Помню, как старец Ефрем еще промышлял зверя и птицу, плел рыболовные морды и жильники, мастерил всякий промысловый инстру-

мент... Я любил наблюдать, как ловко делают все его руки. Но еще больше любил слушать его песни и сказки, его легенды и предания. И, слушая их, я пристально всматривался в его иссеченное временем лицо. Старался отыскать в нем черты моего легендарного Деда, от которого, кроме имени и добрых дел, ничего не осталось. Нет даже фотокарточки...

Когда мне исполнилось три года, на Землю пришла моя сестра Даша. Ту осень я отчетливо помню — выезжали на Обь, ловили там рыбу. Помню седоголовые волны на обской протоке, светлый-светлый берег и чистое-чистое небо. А после: зима — лето, зима — лето. Еще зима и — весна. Вытаявшее на солнце взгорье на южной окраине Домашнего Бора, сочная зелень листьев брусники, белый ягель, оранжевый ковер опавших игл. Порыжевшие сосны и — солнце, солнце, неумное солнце отовсюду и повсюду. Вместе с весной и солнцем пришла моя младшая сестра Оля...

Это была счастливая пора познания и открытий, пора обретения людей и себя, Отечества и Мира...

Я пришел на Землю в самый долгий день года. И был уверен, что вырасту таким же удалым и отважным, как мой дед Роман. Что стану таким же мудрым сказочником и певцом, как и мой Крестный, старец Ефрем. Что оставлю на земле и в сердцах людей добрый след, добрую память...

Но прошли годы. И, повзрослев, я понял, что нет во мне той богатырской отваги, того благородства, чем был знаменит мой Дед. Нет во мне мудрости и удивительного жизнелюбия моего столетнего Крестного, старца Ефрема. Нет во мне той гармонии и того непонимания, что были присущи моему Отцу и моей Матери, дяде Василю и многим другим родственникам моим. Но с годами все острее стано-

вится память о счастливом детстве. Размышляешь о сородичах, о тех, среди кого жил и рос, и вдруг, словно молния, сверкнет озарение: какие это были великие люди!

К сожалению, поняв это, осознаешь и другое: многие уже оставили нашу землю. И теперь лишь изредка, остановившись на миг, в суете сует с запоздалой болью извлекаешь из глубин памяти поучительные мгновения жизни наших предков...

А о величии человека следует помнить при его жизни.

Я слушаю Землю

Вечером, когда солнце повисло на верхушках сосен, Мама, понизив голос, попросила меня:

— Не шуми.

— Почему нельзя шуметь?

— Солнце скоро сядет.

— Ну и что — пусть садится!

— Вечером воды и земли засыпают, — пояснила Мама. — Поэтому нельзя шуметь. Дай им спокойно заснуть.

— Они спят?

— Да, они устали. Нельзя их тревожить.

Я покосился в сторону заката, спросил Маму:

— А солнце куда уходит?

— Оно тоже идет на отдых.

— А солнце устает на небе?

— Конечно. Вон сколько дел оно делает за день.

— А где отдыхает солнце?

— Наверное, в своем доме... Где же еще?!

Воды и земли, оказывается, тоже спят, уяснил я. И солнце уходит в свой дом, тоже спит. Значит, как и люди, они устают за день.

Расспрашиваю Маму дальше:

— А птицы ночью что делают?

— Крылатые птицы тоже засыпают.

— А звери?

— И ногастые звери засыпают.

— И жучки-паучки?

— И жучки-паучки.

Я стал думать, кто бы мог ночью не спать...

— А деревья и травы?

— Разве они не живые? — переспросила Мама.

— Наверное, живые... — протянул я.

— И деревья-травы засыпают, — продолжала Мама. — Все живое ночью спит. Вот почему нельзя вечером громко смеяться и разговаривать, стучать и греметь. Нужно думать о других.

Я стал прислушиваться. И вправду, замолкли пташки, что весь день весело щебетали в золотистых соснах возле нашего дома. Наверное, уже уснули в теплых гнездышках до утра. Только перед самым рассветом запоют и засвищут. А когда взойдет солнце — разбудят меня.

Потом заинтересовался, что делается вдали от нашего селения — все ли думают о вечерней тишине? Я напрягаю слух, пытаюсь уловить все звуки засыпающей земли. Но не слышно речных куликов на Протоке Болотной Стороны. Замолкли крикливые кедровки в припроточном кедровнике. На болотных песчаных озерах, на окраине Домашнего Бара смолкли горластые халеи — речные чайки. Днем я хорошо слышал их беспричинный хохот. И ветершалун убежал за дальние реки и озера и затих, затаился там — хвоинка не шелохнется на ветвях старых сосен.

Тишина на болоте на севере.

Тишина на Малом Яру на востоке.

Тишина на Большом Яру на западе.

Тишина на Протоке Болотной Стороны на юге.

Тишина опускалась на Гору Осеннего Селения, где стояли дома людей нашего рода и где мы весновали в этом году.

Угомонились и ворчливые сороки, что каждый день прилетали к селению. И даже наш белый пес Харко, кажется, задремал — не звенит цепью, не подзывает меня радостным лаем.

И я убеждаюсь: все вокруг засыпает, все вокруг замирает.

Солнце садится.

Мама спрашивает в открытые пока двери — они закрываются с заходом солнца:

— Ты что там делаешь, Роман? Давно тебя не слышно.

Я отвечаю:

— Слушаю землю.

Отец с Матерью и сестры о чем-то тихо говорят в доме. Наверное, припоминают события прошедшего дня. Ведь за день случается столько необычного, о чем вечером обязательно нужно порасспросить родителей...

— Иди домой, Роман, — зовет меня Мама. — В постели дослушаешь тишину.

И я бегу домой.

Слушая тишину, засыпаю. И вижу, как Солнце, опустившись за горизонт, открывает двери своего удивительного дома-дворца. Стены и потолки из длинных тонких пластин-лучей, отливающих золотом. Все сверкает, все горит. Я невольно зажмуриваю глаза. Солнце входит во дворец и засыпает. Там спят и дети Солнышка-матери — девочки и мальчики моего возраста. Когда в наш дом входит луч Солнца, мама говорит, что это Солнышко-матушка протянуло

нам свою руку. Если же лучей много, значит, по словам мамы, это дети Солнца пришли на землю поиграть с нами, со своими ровесниками... Потом я увидел, как Солнце выходило из дворца. Мне показалось, что наступила зима. «Солнце надело шапку и варежки к сильным морозам», — говорил Папа. Тогда же, зимой, я был поражен тем, что Солнце в короне очень похоже на мою Маму. Я сказал об этом Папе, и он ответил: «Солнце — это мама всех людей. Поэтому, наверное, все мамы похожи друг на друга». Мне нравилось смотреть на Солнце в короне и думать о Маме. И я немного жалел, что летом Солнце никогда не надевает свою корону и варежки... Теперь же, выйдя из дворца, Солнце так ослепило меня, что я тут же проснулся.

Было утро. И через окно в стене ласковая рука Солнца разбудила меня. Это, наверное, чтобы я поспешил навстречу его детям. Им, видно, одним тоже бывает скучно. Не с кем поиграть и порезвиться...

Вечером я провожаю долгим взглядом входящее в свой дворец Солнце, смотрю на Маму и вспоминаю о вечерней тишине и о засыпающей земле...

С тех пор прошло немало лет и зим. Все чаще всплывают в моей памяти наше маленькое селение в золотых соснах и свято оберегающая вечернюю тишину моя Мама. И засыпающие воды и земли. И засыпающие деревья и травы. И звери, и птицы. И засыпающее солнце. И я слышу их немой вопрос — один и тот же, один и тот же...

Кто теперь так же свято оберегает сон таежной земли?!

Птичка на голове

Я очень не любил, когда мыли мне голову. В этом мало приятного. Я начинал беспокоиться, как только заносили в дом большую куженьку — корыто из бересты. Если меня не купали, а просто в куженьке намывали мои волосы, то вода всегда норовила попасть за ворот. И тут хорошего мало. А если мыло попадало в глаза, то я начинал вопить на все наше маленькое селение. Соседи уже знали: это мне моют голову. Я изо всех сил вырывался из Маминых рук, но вырваться не удавалось.

Большая разница между сухой и мокрой головой. Это я хорошо усвоил. После мытья головы не сразу пускали погулять на улицу. С мокрыми волосами не поваляешься в песке. Не залезешь на деревце возле лабаза. Да мало ли дел, которые никак не сделаешь с мокрой головой. Вот я и старался увильнуть, когда Мама начинала греть воду для мытья. Но однажды я по доброй воле согласился вымыть голову.

Мама сказала мне:

— Роман, я вымою тебе волосы так чисто, что на твою голову сядет птичка!

— Птичка на голову?! — удивился я.

— Да-да, — повторила Мама.

— Птичка садится только на мытую голову?

— Да, только на очень чистую голову!

— Сядет ли? — все же усомнился я.

В доме все прислушивались к нашему разговору. И тут Папа взглянул на Маму и, озорно усмехнувшись, неторопливо проговорил:

— Пожалуй, я вымою голову — пусть птички на меня садятся.

Тут и моя старшая сестра Лиза попросила:

— Мама, и мне голову помой — я тоже хочу птичку!

Чтобы моя птичка досталась другому?! Этого я, конечно, не мог допустить. Но все же решил подороже отдать свою голову. За самую лучшую птичку, которую знал. Поэтому спросил Маму:

— Какая птичка сядет на мою голову?

— Наверное, та, что первая увидит твои чистые волосы.

— Какая именно?

— Та, что ближе всех подлетит.

— А Трясогузка?

— И Трясогузка может сесть...

И я сдался. Мама вымыла мне голову. И я не сопротивлялся, как обычно, и, на удивление соседей, не выпил на все селение. Потом с куском черного хлеба, который бывает очень вкусным только на улице, меня выпустили погулять. Я чинно расхаживал возле дома и с надеждой смотрел на трясогузок. Которая из них сядет на мою голову?

Все в этих птичках нравилось мне. И нежная сизобелая одежда, и длинный узкий хвост, и округлое черное пятно под шейкой, и певучая радостная песня. Такие они чистые, праздничные, веселые! Одними из первых они прилетали с юга и приносили весеннее тепло... Правда, иногда во мне просыпался охотничий азарт и, вооружившись луком и стрелами, я пускался за трясогузками. Но стрелы мои всегда летели куда-то в сторону и не причиняли им никакого вреда. Я не унывал и смеялся над своей неудачей. Наверное, и трясогузки смеялись надо мной.

Мне хотелось прикоснуться к ним. Подержать их в руках, тихонько погладить нарядное оперение. Вблизи их рассмотреть получше. Поэтому я нетерпе-

ливо ждал, и ждал того мгновения, когда одна из них опустится на мою чистую голову. Ведь эти чистюли непременно ее заметят! Не должны они пролететь мимо! Так я думал, расхаживая под седыми соснами нашего селения.

А трясогузки были заняты своим делом: собирали шерстинки линяющих оленей — строили гнезда. Я видел, как они радовались весне, сутились и весело переговаривались. Искоса поглядывали на меня, но сесть на мою голову не спешили. Наверное, некогда им, подумал я. И побежал домой, где с грустью пожаловался:

— Мама, они на меня не садятся!

— Погуляй еще, подожди их! — сказала Мама.

— Может, ты плохо помыла мою макушку?

— Нет, я очень хорошо помыла тебя! — уверяла Мама.

— Так отчего же они не летят ко мне?

— Может быть, ты с луком да со стрелами ходишь?

— Нет, без лука и стрел.

— Ну, иди, жди свою птичку. Да веди себя хорошо...

И я снова шел на солнечную улицу и ждал птичку.

А потом голова незаметно высыхала, я забывал про Трясогузку и убегал поиграть к друзьям. До вечера я успевал порядком напроказничать. Что-то ломал, разбивал, проливал, протыкал. С кем-то подрался. Кому-то надерзил. И, укладывая меня спать, Мама сказала со вздохом:

— Опять нашалил... Когда ты ума наберешься?..

После недолгого молчания она добавила, поглаживая мои волосы ласковой рукой:

— Макушка у тебя чистая. Такими чистыми должны быть и помыслы. Чистыми и добрыми. Тогда птичка обязательно сядет на твою голову...

До сего дня я думаю: высоки ли, чисты ли мои помыслы в жизни? Прилетит ли ко мне заветная птичка далекого детства?

Гнездо Трясогузки

Весной прилетные птицы свили себе гнезда. И вскоре самочки снесли первые яички. Как-то за завтраком Отец сказал:

— В моем гнезде уже три костяных птенчика!

Это значило — Отец нашел гнездо с тремя яичками и наблюдал за ним. И тут выяснилось, что у всех взрослых есть на примете птичьи гнезда. И у Мама, и у моей старшей сестры Лизы. Сестра гордо объявила:

— И у меня есть гнездо! Трясогузкино! Там четыре костяных птенчика!

Только у меня не было гнезда. И я тут же пристал к сестре:

— Покажи, покажи мне свое гнездо!

Сестра сделала строгое лицо и совсем по-взрослому сказала:

— Нет, ты еще маленький!

— Ну и что?

— Тебе захочется прикоснуться к костяному птенчику.

— Я ж не съем его!

— А костяных птенчиков нельзя трогать руками.

— Почему нельзя?

— Если притронешься к ним — птичка-мама сразу их оставит. И они умрут... Понимаешь, Роман?

Я ничего не хотел понимать и все канючил:

— Покажи, Лиза!

— Нет.

— Я их не буду трогать руками.
— Нет.
— Я только взгляну на них уголком глаза.
— И не проси — не покажу! — твердо сказала сестра. — Тебе еще захочется поиграть с ними!..
— Не захочется...
— Ты такой шалун — еще утащишь, пожалуй, костяного птенчика!..

У сестры, конечно, были основания не доверять мне.

Трудно со взрослыми. Что ни сделаю — все не так!

Не видать мне, наверно, гнезда Трясогузки...

А взглянуть на костяных птенчиков очень хотелось. Но я не стал унывать. Побыстрее позавтракал и убежал на улицу. Решил сам разыскать гнездо. Любое, лишь бы там сидела птичка.

Я долго ходил за трясогузками. Они обычно гнездились под стрехами лабазов и амбаров, в развилинах деревьев, в брошенных старых куженьках и берестяных кадушках. Я следил за полетом птиц. Потихоньку подкрадывался туда, куда они садились. И стремглав бросался туда, откуда они взлетали. Мне казалось, они только тем и занимались, что летали от одного гнезда к другому. Я носился за ними, но все впустую. Видно, и трясогузки смотрели на меня глазами моей сестры Лизы — не доверяли мне свои гнезда с костяными птенчиками. Возможно, они правильно делали. Я не внушал доверия...

Я все слонялся возле дома и построек в поисках птенчиков Трясогузки. И тут заметил сестру Лизу. Она замерла у стены старой амбарушки, где хранилась всякая деревянная и берестяная утварь. А лицо у сестры было светлое и таинственно-загадочное.

Я вздрогнул: гнездо Трясогузки!

И когда сестра ушла в дом, я подкатил к стене чурочку, взобрался на нее и заглянул в замшелую кадушку-берестянку, что боком лежала на крыше. Там было гнездо Трясогузки. А в гнезде четыре яичка — продолговатые, ровненькие, с множеством мелких крапинок, похожих на веснушки на улыбчивом лице моей родовой сестры Катерины. И мне показалось, что костяные птенчики тоже улыбаются веснушками. Обрадовались моему приходу, подумал я.

Я стоял неподвижно и зачарованно смотрел на костяных птенчиков. Не мог оторвать от них взгляда. Они были такие хорошенькие, что меня так и подмывало прикоснуться к ним. Но удержался от соблазна — еще не забыл предостережение сестры Лизы о том, что их нельзя трогать руками. Мне совсем не хотелось, чтобы птенчики Трясогузки погибли.

Стоял я, наверно, очень долго. Лишь когда птичка-мама с тревожным криком закружила над моей головой, я очнулся. И перепугался: птичка-мама так близко подлетала ко мне, что чуть за волосы не хватала, и так тревожно кричала... Я мигом скатился с чурбачка.

Свою тайну я хранил до ужина. А когда сели за стол — не выдержал, сказал сестре, что нашел ее гнездо. Сначала она испугалась за костяных птенчиков. Но я сказал, что руками их не трогал, — и она успокоилась. Теперь по утрам мы вместе бегали смотреть гнездо. К амбарушке подходили осторожно, на цыпочках, чтобы не потревожить птичку-маму. И замирали возле гнезда — забывали обо всем на свете.

Меня захватила тайна превращения шарика-яичка в живого птенца, в забавного пуховика. И я с нетерпением ждал этого мгновения.

Между тем незаметно шло время. Весна переходила в лето. В селении появились первые комары.

И вот однажды Мама сказала:
— Скоро птенцы появятся... Они такие неуклюжие, забавные, глупые. И такие миленькие — просто слов нет!

Отец неторопливо добавил:

— Как птенцы вылетят из гнезда — комар на убыль пойдет. Так наши древние говорили. Птенцы комаров ловят, людям помогают...

Сестра Лиза строго предупредила меня:

— Только руками их не трогай! Слышишь, Роман?! Если, конечно, хочешь птенцов дожидаться!

Сестру Лизу я слушался. Мы все ее очень любили. И когда Лизу отвозили в школу в русское селение, мы с младшей сестрой Дашей в голос ревели. Плакала и Мама. После, когда не стало Мама, Лиза растила нас — меня и младших сестер. И мы еще сильнее привязались к ней.

А птенцов я так и не дождался.

Как-то утром сестра Лиза вбежала в дом и дрожжащими губами прошептала:

— Птенчики погибли!..

Потом она повернула ко мне разгневанное лицо и тихо спросила:

— Ты, наверно, прикоснулся к ним?!

— Нет! — закричал я. — Я их не трогал!

И, не поверив сестре, помчался к амбарушке. В комсом надломе скорлупы увидел красное тельце. Я почувствовал всем нутром — птенцы тусклые и холодные. Они умерли, не родившись. Может, кто-то прикоснулся к ним. Может, птичка-мама погибла вдали от гнезда и уже не могла согреть их своим теплом. А может, мы отпугнули ее...

За завтраком все молчали.

Молчала Мама.

Молчал Папа.

Молчала сестра Лиза. Я видел, что она еле сдерживала слезы.

Молчал я.

Даже младшие сестры-несмышлениши при молкли.

Все делали молча.

Вдруг по лицу сестры Лизы потекли слезы. Без всхлипа. Без сопения. Без единого звука.

Я выскочил вон.

Мне было жаль птенцов, которые теперь никогда уже не наденут нарядные свои одежды-оперения и не споют свои песни. Мне было жаль их птичку-маму. Мне было жаль самого себя. Но больше всех мне было жаль сестру Лизу. Ее слез я еще не видел. Все было впервые...

С того дня я никому не позволял разорять гнезда. Чьи бы они ни были...

Вороны Месяц

Каждой весной мы с нетерпением ждали Ворону. А прилетала она самой первой среди перелетных птиц. С первым теплом — в начале апреля. И поэтому апрель получил имя «Вороны Месяц».

Не только наш дом, все селение радовалось, когда кто-нибудь сообщал, что видел первую Ворону — Вурни. Весть передавалась из дома в дом, из селения в селение.

«Ворона прилетела!»

«Ворона пришла!»

«Ворона из теплых краев вернулась!»

Жила Ворона возле нашего селения. Перелетала с дерева на дерево. Дразнила глупых щенков. Высматривая себе пищу, ходила важно вокруг таганка

в летней кухне. Заглядывала под лежащие на бревнышке куженьки и корыта. А иногда, зацепив клювом или лапкой, ухитрялась переворачивать посуду. Могла при случае утащить кусок мяса или рыбы у нерасторопной хозяйки. Но даже самые привередливые старухи сквозь пальцы смотрели на все проделки Вороны.

Ворону в нашем селении любили.

Она всем напоминала хозяйку, которая после долгой зимы возвратилась домой и теперь обходила свои владения, придирчиво оглядывая — все ли на месте, все ли в порядке.

После обхода она важно усаживалась на коньке лабаза или амбара и подолгу молча смотрела на селение. О чем она размышляла?! Меня это очень заинтересовало, и я старался разгадать ее думы. Казалось, что она в это мгновение думала не о птичьих делах, а о людских судьбах, о моих сородичах. Быть может, и обо мне думала. Ибо с таким глубокомысленным видом можно размышлять только о судьбах народов, о судьбах человечества.

Быть может, любили Ворону и за весеннее тепло. Ведь с ее именем многое было связано.

И первое дыхание весны.

И первые проталины.

И первые ручьи.

И первые оленята.

И первые ростки зелени.

Все — первое.

Наш дом особенно радовался прилету Вороны. Мама обычно говорила:

— Вот и мы до весны дожили — Вороны дождались...

И вздыхала.

Мне тогда казалось, что, не будь Вороны, мы бы до весны не дожили. И не наступил бы Вороны Месяц, и не пришла бы весна. Но ведь Ворона не священная, а самая обыкновенная птица, каких немало в наших лесах.

Я пристал к Маме с вопросами:

— Мама, а Ворона хорошая птица?

— Хорошая.

— А почему хорошая?

— Почему?..

Мама оторвалась от шитья, взглянула на меня, а потом перевела взгляд на моих сестер и тихо сказала:

— Ворона... рождению человека радуется.

— А как?

— Как люди радуются, так и она...

Я ничего не понял. Поэтому, поудобнее устраиваясь возле Мама, попросил:

— Мама, расскажи про Ворону...

Мама кивнула на спавшую в покачивавшейся люльке мою младшую сестрицу Олю и начала свой рассказ:

— Ворона и приходу твоей младшей сестреники была очень рада...

Я молча слушал.

По обычаю ханты, говорила Мама, за всеми вещами вновь пришедшего человека — младенца — нужно строго следить. Они всегда должны находиться на самом чистом и лучшем месте и не попадать туда, где им не подобает быть. Иначе ребенку станет плохо.

Это касается и тех предметов, которые младенцу уже не надобны.

Поэтому мокрые стружки из детских люлек ссыпали в одно место на окраине селения, в укромном уголке, под пеньком. Не под деревом, а именно под

пеньком. И пенек выбирали не высокий и не очень низкий, чтобы зимой не заносило снегом и чтобы был виден в любое время года.

Я вспомнил, что такой пенек есть и у нас, недалеко от дома. Туда мы с сестрой Лизой относили мокрые стружки из люльки сестрицы Оли. Цап, стружки из белой обмякшей древесины высохшей на корню березы, насыпали в люльку под меховую подстилку. И когда стружки намокали, их тотчас выбирали в небольшую куженьку, а потом уносили к пеньку. Мама, отправляя меня со стружками, всегда наказывала вслед, чтобы я не рассыпал их по тропинке, дабы не стало плохо нашей малышке.

Стружки насыпали вокруг пенька. Кучка была ровной и островерхой, как чум. И Ворона, прилетев с юга, садилась на этот пенек. А в холодные дни опускалась на теплые стружки — лапки свои грела. Ведь она прилетала первой, в начале апреля, в пору, когда оттепели сменялись заморозками. Садилась на теплые стружки и говорила:

— Побольше бы детей на Землю приходило, чтобы было мне где погреть свои лапки!

С такими словами она перелетала с одной кучки стружек на другую, громко радуясь появлению еще одного маленького человека, второго, третьего... При этом весело и добродушно приговаривала:

— Вак-вак, вак-вак, вак-вак!..

И осенью, улетая на юг, она оставляла людям свое пожелание:

— Пока я летаю, пусть побольше младенцев на Землю придет — будет мне где погреть свои лапки весной!

И, как водится, прощаясь, добавляла:

— Вак-вак!.. Вак-вак!..

Я, конечно, тут же заинтересовался:

— Мама, а Ворона радовалась моему приходу на Землю?

— Конечно радовалась...

— Но ведь я пришел в самый длинный день года, когда было совсем тепло...

— Ну и что?

— Вороне не надо было греть лапки...

— Да, — согласилась Мама. — Но ты сидел в люльке осенью, когда Ворона собиралась в теплые края, и ее лапкам в ту пору было уже холодно. Ты сидел в люльке и весной, когда Ворона вернулась из теплых краев. И когда повалил мокрый снег, а потом ударил северный ветер и многие перелетные птицы попятнулись на юг — Ворона не отступила. Она знала, что ты согреешь ее лапки...

Теперь, глядя на размышляющую на коньке амбара Ворону, я уверовал в то, что она думает о людях и обо мне. Разве может не думать обо мне Ворона, которую я когда-то согрел?!

А Ворона-бабушка, как бы ей трудно ни было, все бормотала добродушно:

— Вак-вак!.. Вак-вак!..

Возможно, она, по выражению Отца, нашептывала нам долгую жизнь, долгий век.

Жители нашего селения и селений на нашей реке почитали и никогда не обижали эту птицу: пусть она всегда живет с добрым пожеланием маленькому народу.

И другими глазами стал смотреть на неприметную серую Ворону, которая радуется рождению каждого человека Земли.

Халей хохочет

Я провожаю взглядом стаю речных чаек-халеев, что летит с Протоки Болотной Стороны на озеро возле бора. Над селением стая замедляет полет и вразброд, дергаясь, начинает бестолково гоготать и гомонить.

— Калл эк!¹ — крикнет один.

— Каллэк-каллэк! — тут же откликается второй.

— Каллэк-лак-лак-лэк-лэк! — захлебнется хохотом третий.

Так стая повисит над селением, а после, все еще дергаясь и хохоча, лениво уплывает к болоту.

Я бегу домой и спрашиваю у Мамаы:

— Халей хорошая или плохая птица?

— Плохая, — не задумываясь, отвечает Мама.

— Почему плохая?

— Над людским горем хохочет...

— А зачем?

— Таким вот он уродился.

И Мама рассказала, что когда осенью халей улетает в теплые края, то кричит, чтобы за зиму многие люди ушли в Нижний Мир, а весной, вернувшись обратно, хохочет над тем домом, где не стало человека.

— Вот такая плохая птица халей, — закончила Мама свой рассказ. — Все норовит посмеяться над чужим горем — поэтому ханты и не любят его.

Тут мне припомнилось и другое, за что не очень жаловали халея. Весной, приезжая с рыбалки, Отец часто привозил испорченный улов: халей, заметив попавшую в сеть рыбу, тут же проклевывали ей брюхо и вытаскивали жирные кишки. Ладно, если бы го-

¹ *Каллэк* — хантыйское название этой птицы.

лодные были и всю рыбу съедали. Так нет — только лакомились.

Отец, рассердившись, иногда подстреливал халея и подвешивал его на кольшке ставной сети — чтобы другим было неповадно и меньше зарились они на чужую добычу.

И я ничуть не жалел убитых халеев. Хотя, наверное, это по-своему красивые птицы — с продолговатыми красными клювами, с желто-оранжевыми лапками и в бело-сизом оперении. Но больно они бесцеремонны и нахальны. И когда я подрос, то вместе с друзьями, с двоюродными и троюродными братьями всячески начал травить халеев. А способов травли было немало.

Мама, узнав о наших проделках, испуганно воскликнула:

— Да разве можно так?! Над живой птицей?!

А потом она добавила, что раз халей живет — значит, он нужен земле и небу. Иначе не было бы ему места в жизни лесов и болот, в жизни рек и озер.

Отцу тоже не нравились мои проделки. Когда замолкала Мама, он строго говорил:

— Халеев в покое оставь!

Я оставлял их в покое, но ненадолго. При всяком удобном случае старался чем-нибудь досадить халеям.

В их бестолковом галдеже и хохоте мне чудилось что-то зловещее, темное, жуткое. Ведь они радовались кончине человека. И казалось, чем меньше будет халеев, тем больше людей останется в живых, доживет до следующей весны. Я не хотел, чтобы жители нашего селения, милые сердцу родственники преждевременно уходили в неведомый Нижний Мир.

И быть может, поэтому я так возненавидел эту птицу.

Только спустя годы, однажды, задумавшись о жизни вод и земель и всего сущего, понял, что, наверное, напрасно преследовал и истреблял безобидную птицу. От гибели халеев зла на земле не убавлялось...

Оленей дом

На окраине нашего селения, на песчаной поляне, стоял оленей дом — оленник. Большой бревенчатый дом с двускатной крышей и земляным полом. Посредине дымокур, огороженный крепкими жердочками. А дымили сырые сосновые чурки. Их со всех сторон обкладывали влажным торфом или болотным мхом — чтобы не горели, а медленно шаяли.

Грязную землю пола постоянно выкапывали и выносили на улицу. Крышу накрывали еще слоем мха и песка. Поэтому в летнюю жару в оленнике всегда было чисто и прохладно. А если дымокур работал исправно — и комары не залетали.

Весной, когда заканчивался отел и сходил снег, оленей отпускали на волю. Они паслись сами. А потом наступало время комаров и паутов. И олени собирались в стадо и прибегали к дымокуру. Наверное, это трудное время легче было пережить вместе, бок о бок.

Олени приходили рано утром.

Дымокур обычно разводил тот из жителей, кто раньше всех вставал. Если дыма не было, олени тотчас выскакивали наружу и бежали в селение. И начинали кружиться вокруг наших домов.

— Дыма, дыма просят! — говорила Мама и спешила в оленник.

Бывало, если вовремя не успевали запалить дымокур, олени убегали на пастбище.

— Обиделись! — горевала Мама.

— Да, вовремя их не встретили... — подавал голос Отец.

— Обиделись и ушли.

— Они вернутся? — встревоженно спрашивал я, проснувшись от топота копыт пробежавшего стада.

— Вернутся, придут!.. — успокаивала Мама.

И вскоре олени приходили. И уже до самого вечера, жуя жвачку, стояли или лежали в оленнике. Только изредка делали один-два круга по пастбищу, чтобы немного поесть и попить. И снова возвращались, как говорил Отец, «комариной рысцой». В это время года они шагом почти не ходили — их всегда сопровождала туча комаров, мошкеры и паутов. Захочешь — не постоишь на месте.

На ночь у дымокура они никогда не оставались. Садилось солнце — нападали пауты и мошкара. И олени пускались по своим дальним тропам. Если уходили далеко, то на следующий день возвращались поздно. Бывало, надолго задерживались.

В ожидании оленей мужчины рода собирались у дымокура. Приходили сюда и дядя Василь, и наш Отец, и родовой брат Никита. Иногда присоединялся к ним и мой Крестный, старец Ефрем. Кто стоял с табакеркой в руке, кто с трубкой. Курили, вели неторопливую беседу.

Мы, дети селения, неугомонной стайкой вились возле взрослых.

Обычно дядя Василь спрашивал:

— Олени вечером в какую сторону ушли?

И другие подхватывали:

— Кто видел?

— На Малый или Большой Яр ушли?

— Может, на Колодезный Сор спустились?

— Кто видел? Кто дома был?

— Дети, конечно!

— Ну, ребята, кто из вас видел — олени в какую сторону уходили?

Мы и рады, что нас заметили. Засуетились, зашумели. Но, как водится, один показывал в одну сторону, второй — в другую, третий — совсем в противоположную. Поди разберись, куда ушло стадо.

Взрослые добродушно посмеивались: сами когда-то с таким же нетерпением ждали оленей.

Дядя Василь предположил:

— Наверное, на болото подались...

На севере, за Домашним Бором, лежало болото с множеством больших и малых озер. Там когда-то предки нашего рода держали оленей. На узкой сосновой гриве между песчаными озерами до сих пор стоят стены двух больших оленников из толстых бревен. По словам Отца, один из них в давние времена построил мой Крестный.

— Да, видно, на болоте остались, — подал голос мой Отец.

— Ветерок на болоте... — сказал родовой брат Никита.

— Сдувает комарье...

— И место хорошее, кормовое.

— Главное — их ветром обдувает.

— Вот и не спешат домой.

Мой Крестный, сощурившись от солнца, молча покуривал трубку, слушая разговор. Потом негромко сказал:

— Да, в старину и место под оленник сами могли подобрать...

Все притихли, помолчали. Возможно, призадумались над словами Старца.

Наконец дядя Василь, глянув в сторону болота, сказал:

— Сегодня я рано встал. Оленей ждал, дымокур подготовил...

И мы, дети селения, с нетерпением ожидали стадо. Ожидали, чтобы поиграть с оленятами. Чтобы раньше всех узнать, какие пришли, а какие отстали. Бывает, что они приходят не все одновременно, а несколькими небольшими группами.

Когда же они вернутся домой?

Но олени все не приходили.

Я поглядывал на седую сосну, где висели бечевки с пучками оленьей шерсти. Я свято верил в их магическую силу. Весной, когда оленей отпускали на волю, их сначала подводили к этой сосне с побелевшей корой. За длинную шерсть под шеей животных привязывали бечевкой к дереву. Мы чмокали оленей в носы и в щеки. А кто не мог дотянуться — просил приподнять. И дядя Василь поднимал малышей, чтобы и они с оленями попрощались.

Когда олени уходили — на бечевке оставался пучок шерсти. Они оставляли нам частицу себя. И мы дружно кричали:

— Помни о пучке шерсти! Не забывай свой дом!

Это чтобы олень в урман не ушел — не пропал безвозвратно, не погиб, чтобы всегда думал о своем доме.

Олени посмирнее долго стояли у седой сосны. Некоторые ложились у дерева и жвачку жевали. Но потом все равно поднимались и шли на пастбище. Теперь они сами отвечали за свою жизнь, за вольную жизнь, потому что пасти их было некому: мужчин рода не отпускал колхоз.

Пучки шерсти так и оставались на седой сосне. Никто их не трогал.

Мама сказала мне, что олени умные. Но больше понимают и чувствуют они сердцем, а не умом. Те-

перь в какие бы земли они ни попадали — их все время будет тянуть домой, туда, где они оставили клочок шерсти, оставили частицу себя.

Тогда я свято верил этому: так и должно быть...

Сейчас вспоминаю седую сосну и пучки оленьей шерсти на бечевках. Вспоминаю, и приходят думы. Каким узлом, какую нитью нужно связать человека с домом, с землей, с отечеством, где он родился и встал на ноги, чтобы не слабела и не рвалась эта связь?

Каким узлом, какую нитью?..

Киври

За водой ходили под гору, к маленьким колодцам. Над ними сооружали островерхие навесы из жердей и болотного мха — домики киври, защищавшие колодцы от хвоинок и листочков, крошек сосновой коры и прочего сора. А киври — это и колодец на болоте или в низинке на окраине бора, это и прорубь на озере, откуда берется питьевая вода.

Я охотно ходил с Мамой под гору. Воду носили в берестяных ведрах. Мама сшила для меня маленькое ведерко. Я смотрел, как она делала это. Кусок бересты, нагрев на огне, изогнула с четырех углов. Получилась куженька. Верхний край, приложив с внешней и внутренней стороны саргу — ленту из лыка молодой черемухи, обшила мятым корнем кедра. Папа нашел изогнутый дугой сучок сосны, обстрогал его, а концы просверлил сверлом. И кедровым же корнем пришил ручку к берестяной куженьке. Готово ведерко.

— Помогай Маме, — сказал Отец. — Носи воду!

И я бежал за водой. С Мамой или сестрой Лизой. Одного меня еще не отпускали к колодцу.

В домике киври был берестяной ковшик с деревянной ручкой. Им черпали воду. Лезть ведром в колодец строго возбранялось. Играть и резвиться вблизи тоже не разрешалось. Единственное, что мне позволяли возле киври, — это испытать воды из ковшика.

А вода необыкновенно вкусная.

Сор Осеннего Селения, или Колодезный Сор, пили неиссякающие родники.

Вечером если Отец приходил усталый, то обычно говорил:

— Свежей бы воды.

И мы с сестрой Лизой спешили к киври, чтобы напиться Отца. Иногда на обратном пути нас подзывали к себе дядя Василь или мой Крестный отец, старец Ефрем, который вечно мастерил что-то возле своего дома.

— Дайте свежей водицы! — просили они. — Горло совсем пересохло.

Испив холодной воды, Крестный кивал мне седой головой и говорил степенно:

— Спасибо, спасибо, крестник-сын! — И всегда добавлял свое пожелание: — Чтобы и тебе, когда доживешь до моих лет, кто-нибудь поднес свежей водицы!..

А было ему в ту пору около ста лет, и мне он казался таким же вечным, как наш Сосновый Бор, Протока Болотной Стороны, Гора Осеннего Селения.

Мы приносили Папе воду, и мне думалось, что она снимает усталость и приносит человеку хорошие мысли, хорошее настроение. Ведь возле киври строго запрещено браниться и говорить всякие плохие слова. Слово упадет в колодец, и пьющий воду может проглотить его. Тогда человеку будет плохо. А разве вы пожелаете зла своему ближнему и вообще людям?

Я и сам чувствовал, как прибавляла мне силы живительная вода. Вкус ее трудно передать словами. Я улав-

ливал и запах талого снега, и сочность спелой клюквы, и аромат листочков брусники, и едва уловимый дух только что проклюнувшейся травы, и свежесть болотного мха, и смолистость кедровой и сосновой хвои, и тонкую прель прошлогодних листьев, и сок от корней многих трав и деревьев. Тут были и береза, и черемуха, и рябина, и шиповник, и смородина...

Это была вода, настоящая на лучших солях земли.

Это был сок таежной земли.

Возможно, поэтому я так любил бегать за водой под гору, где были колодцы и берестяной ковшик с деревянной ручкой.

Только после, когда я объехал многие земли, многие города и села, испил воду многих рек и озер, многих родников и колодцев, я понял, что подобной той — в киври под Горой Осеннего Селения — нигде больше нет. И — с годами я уверовал в это — не могло быть...

Гора Осеннего Селения

Наше Осеннее Селение стояло на высокой горе под сенью седых сосен, на южной окраине белягельского сухого бора. Гора тянулась с запада на восток и была, как боевой лук, чуть вогнута в Домашний Бор. Весь склон покрывали рыжая хвоя, бордовая брусника, разошедшиеся шишки.

Гора смотрела на полдень.

Поэтому весной здесь появлялись первые проталины. Туда мы бегали собирать прошлогоднюю бруснику — сморщенную, суховатую, но очень вкусную. А немного позднее, когда сходил снег, спускались на сор за клюквой. Сор был чистым и длинным, как гора. На его окраинах зацветала царица болот — морошка,

наша любимая ягода. Она напоминала мне солнце в ясный полдень — такая же прозрачно-желтая и сочная. Но, к сожалению, созревала только в июле, когда мы перебирались в Летние Дома на Агане.

Бор был чистым и светлым от белого ягеля. И еще — необыкновенно звонким. Помню, когда я впервые закричал в бору, то он долго звенел напевно и мелодично, словно заиграла хантыйская десятиструнная арфа-журавль. И я, пораженный волшебством бора, замерев, слушал эту мелодию.

Гора смотрела на полдень.

И дома селения тоже смотрели на полдень.

Снизу Гора Осеннего Селения казалась мне высокой-превысокой. Когда же я стоял наверху, то сквозь росшие на подножии сосны видел Припроточный Лес.

Мама, набрав воды, поднималась на гору сразу, а мы с сестрой Лизой отдыхали два-три раза. Свои берестяные ведерки с водой ставили на заранее выровненные на песке пяточки. И мы всегда с большим уважением говорили об этом склоне, где обрывался сосновый бор, — Горе Осеннего Селения. Всякий путник, идущий с пристани, отдавал поклон нашей горе.

Много лет спустя я снова увидел Гору Осеннего Селения. Лесорубы вырубали Сосновый бор. Невдалеке нефтяники поставили буровую. В первое же лето, когда жители переехали в Летнее Селение, лихие «искатели» прошли по лабазам и амбарам. Такое соседство пришлось не по нутру жителям, и они навсегда покинули Гору Осеннего Селения. Дома и другие постройки обвалились и торчали из земли грудями полусгнивших бревен. Лишь три или четыре лабаза стояли на курьих ножках — с отодранными дверцами. Из тех, кто жил здесь, осталось две-три семьи. Не стало моего Крестного, старца Ефрема. Не стало доб-

рейшего дяди Василя. Не стало многих моих двоюродных и троюродных братьев и сестер, дядюшек и тетушек. Они навсегда оставили землю и Гору Осеннего Селения...

Такова жизнь. Это можно понять, как бы больно ни было, ибо ничто не вечно под солнцем и луной. Хотя многие ушли преждевременно, до срока. Ушли люди — и Гора Осеннего Селения показалась мне до обидного маленькой, низенькой. А в моей памяти была всегда высокой, чистой, светлой.

Я поспешил прочь. Шел, и память восстанавливала Гору Осеннего Селения из моего детства. Шел, и память шла со мной. И быть может, я счастливее многих, у кого не было Горы Осеннего Селения — высоты, на которую я взбираюсь всю жизнь...

Здравствуйте, родственники!

У меня много родственников. Все жители нашего селения, до десяти домов, это люди рода Бобра — мои родственники. Кто старше моего Отца, те придутся мне дядюшками и тетушками, кто младше Отца — то мои братья и сестры. С ними я играю, озорничаю, а иногда и дерусь. Среди сверстников меня перебарывает только троюродный брат Архип, сын дяди Василя. Правда, он на полтора-два года старше меня. И я все жду, когда появится во мне дедовская сила, чтобы одержать верх над соперником. Сила почему-то не спешит вселиться в меня. Но я не отчаиваюсь, жду.

Не зря же дали мне имя моего деда-богатыря.

Есть у меня родственники и за пределами селения по всей нашей Аган-реке. У Мама остались дети от первого дома — дочь Федосья и сын Галакти-

он. Мои брат и сестра. Брат приезжает к нам не часто. Он работает «почтовым человеком», возит почту между двумя большими селениями в разных концах реки. Зимой — на оленях, летом — на обла-се. Изредка заезжает домой. Я всегда с нетерпением жду его: он делает мне игрушки из дерева и бересты, мастерит луки и стрелы, охотно катает на нартах и на обла-се.

Возле старшего брата всегда чувствуешь себя увереннее.

А сестра бывает у нас еще реже. Далеко она живет, вышла замуж в низовье реки. Но путники часто привозят нам от нее слово «Здравствуйте!». Мы все кричим тогда хором:

— Здравствуй, здравствуй, сестра!

А Мама обычно тихо, словно сестра рядом, в нашем доме, говорит:

— Здравствуй, дочка! Здравствуй, старшенькая!

Последним, выждав, когда утихнет шум, подавал голос Отец:

— Здравствуй, здравствуй, Федосья!

Мы были уверены, что она слышит нас и теперь будет здоровать много-много лет и зим. И мы в свою очередь с каждой оказией посылаем ей свое слово-пожелание — «Здравствуй!».

Когда я стал старше, узнал, что помимо кровных родственников у меня еще есть родственники среди других народов — это манси, венгры, эстонцы, саами, финны (хантыйский язык относится к финно-угорской ветви). Кроме того, все люди из нашего рода-сира, главой которого был Бобр, — тоже мои братья и сестры, дядюшки и тетушки. Об этом мне говорила Мама. Говорил Отец. Говорил дядя Василь. Говорил мой Крестный отец, старец Ефрем.

Где вы, люди Бобра?! Откликнитесь!

И я, гордый таким родством, наверное, на все стороны света посылал свое слово-пожелание:

— Здравствуйте, родственники! Здравствуйте!

В те дни зародилось и живет во мне до сих пор ощущение, что все люди Земли — это мои родственники.

Последняя Олениха

В тот год мы весновали у Бабушки, на яру рода Сардаковых. Возле бревенчатой избушки, на чистом месте, снег горел на глазах — и вскоре появилась большая проталина. На ней земля в полдень так нагревалась под щедрым солнцем, что я украдкой от Мамы босиком выбегал из дому, чтобы попрыгать на песке. Оказывается, за зиму я очень соскучился по теплой и ласковой земле.

Было много солнца. И на красно-оранжевых бревнах избушки выступала прозрачная смола. На борových соснах сверкала и трепетала под ветерком золотистая кора. Под высоким белым яром наша Аган-река несла голубоватые льдины, и по ним скакали шаловливые лучи солнца.

В высоком небе ни облачка.

Воздух наполнен ароматами весны.

Пахло сосновой хвоей и смолой.

Пахло теплой древесиной.

Пахло ростками первой зелени.

Нас со старшей сестрой Лизой все время тянуло на улицу. И почти целый день мы играли на проталине перед домом.

Проталина эта приглянулась и нашей оленихе. Звали ее Стройный Олень, или Стройная Олениха. Придя с пастбища, она сначала подходила к двери.

Мы с сестрой бежали к ней и кормили ее с руки. Лакомства — поджаренную чешую, плавники и щучьи хвосты, головы чебаков — запасали заранее. Знали, какие рыбы кости следует давать оленю, а какие нет. Мама всегда предостерегала нас, чтобы мы не давали ей щучьи челюсти с острыми зубами — с ними не мог расправиться даже наш клыкастый пес Харко.

Иногда я выносил Оленихе кусок-другой хлеба. Делал это тайком от взрослых, поскольку с хлебом в те годы было туговато. Олениха тянулась ко мне и, раздувая ноздри, шумно втягивала в себя воздух. Наверное, ловила запах подовушки — рыбы, разрезанной на ломтики и зажаренной на кольшках у открытого огня. Ловила запах своего любимого хлеба. Получив же кусок, благодарно кивала головой. Так мне, во всяком случае, казалось.

Я гладил ее по шее и бокам. Почти до белизны высветляли Олениху весенние ветра и солнце. Мне нравилось, что она становилась такой же светлой, как и снежно-белый олень. Хотя скоро начнет линять — и шерсть на ней повиснет клочьями. Зато осенью я не узнаю ее в новом наряде: шерстинка к шерстинке, вся она будет сверкать и серебриться на солнце. А на голове у нее звонкие ветвистые рога. Тогда ее с рук не покормишь. Я начну подзывать: «Та-та-таа-а!» Она издали будет коситься на меня выразительным взглядом. И как только я сделаю к ней шаг — пугливая и осторожная, отступит на два. Тут уж и хлебом не подманишь, и жареными плавниками и чешуей подовушки не подзовешь.

Так бывает осенью. А сейчас, полакомившись, Олениха не спеша обходила наш открытый, без горюды, двор, потом ложилась на теплую проталину. И, прикрыв большие темные глаза, жевала жвачку и дремала.

Так повторялось изо дня в день.

Потом наша Олениха пропала. Не приходила с пастбища. По таинственным улыбкам взрослых я понял: они что-то знают об Оленихе, ничего плохого с ней не случилось, просто не говорят. Пришла она на третий день утром. Да не одна — с маленьким красношерстным олененочком. Он едва касался земли высокими тонкими ножками, словно в весеннем воздухе парил. Но на песке оставались крохотные ямочки от копытца, — значит, все-таки шел по земле.

Нашей радости не было предела.

— Ох, олененочек! — прошептал я.

— Смотри, смотри! — дергала меня сестра. — Какой махонький!

— Теперь у нас два оленя — целая упряжка! — сказала Мама. — Только бы хорошо рос олененок!

— Ах-ах! — закудаhtала наша седовласая Бабушка. — Ах, какой олень!

— Олень вроде ничего, — сдержанно проговорил Отец. — Хорошо на ногах стоит. Крепко стоит.

Даже муж Бабушки, сумрачный и суровый отчим нашей Мамы, вдруг улыбнулся и сказал громко:

— Н-да, олень!..

И мы все поняли, что олененок и вправду родился хороший, точнее, хорошей — ведь это была девочка.

Дочка Оленихи пугливо озиралась по сторонам, прижималась к боку матери. И при любом неосторожном движении бросалась прочь. Но олениха успокаивала и подзывала свое дитя ласковым хорканьем. А Отец тихонько подкрался к ней и поймал за ножку. И мы все по очереди чмокнули ее в мордочку со словами:

— Расти большой!

— Расти сильной!

— Расти быстрой!

А мы с сестрой Лизой погладили ее по теплой головке. Отец выпустил малышку из рук — она отбежала и отряхнулась. Видимо, не понравилось первое прикосновение человека. Но потом она успокоилась и вместе с Оленихой-мамой обошла наш двор. Мне показалось, что они, осматривая строения, тихо переговаривались на своем языке. Показывая на избушку, Олениха говорила:

«Это дом. Пахнет хлебом, поджаренной рыбой и теплом. Запоминай, дочка, их запахи».

«А кто в доме живет?» — спрашивала дочка.

«В доме люди живут, — отвечала Олениха. — Наши хозяева. Маленький хозяин и маленькая хозяйка. Большой хозяин и большая хозяйка».

«А с белыми головами кто такие?»

«Это старые люди. Наверное, родители наших больших хозяев».

«А что это за дом на чурочках стоит?»

«Это не дом — в нем нет чувала, а амбар».

«А что в амбаре?»

«Там всякие куженьки, тuesки, корыта, набирки».

«Для чего они?»

«Для рыбы, для сбора ягод. Пахнут чешуей и брусникой».

«А тут почему нет стен? Одна только крыша...»

«Это навес. Так и должно быть. Под ним стоят нарты. На таких же мы зимой станем возить наших хозяев. Особенно любит кататься маленький хозяин, который каждый день выносит мне разные лакомства. Это чтобы я зимой катала его на нартах».

«А в высоком доме кто живет?»

«А-а, это ты про лабаз спрашиваешь. Видишь, он стоит на четырех ножках с насечками — чтобы мы-

ши туда не пробрались. Там хранится меховая одежда, подволоки — подбитые мехом охотничьи лыжи, упряжные лямки и съестные припасы. Обычно там бывает мука в мешке и сел в берестяных кадушках. Сейчас, по-моему, мука кончилась — маленький хозяин почти не угощает меня хлебом».

«А что такое сел?»

«Прокопченные чебаки и подъязки, всякая мелочь рыба. Очень вкусная. Вот подрастешь — и тебя начнут ею баловать».

«А это что за зверь такой?» — спросила дочка, подходя к собачьей конуре.

«Пес наших хозяев. Зовут его Харко. Ты близко не подходи. Может цапнуть за ножку».

«Я ж ему ничего плохого не сделала!»

«Собаки все хитрые и коварные. При людях они тихие и смирные, а как хозяйева отвернутся — сразу цап!»

«А тебя они кусали, мама?»

«Да. Когда я маленькой была, однажды, помню, собака отвязалась и долго гоняла нас, оленей, по пастбищу. Мы догадались — прибежали домой. Тут хозяин поймал и крепко наказал собаку. А у меня потом болели раны на задних ногах. Если нападет на тебя такая — надо всегда бежать к дому хозяина, — говорила олениха. — Хозяин всегда выручит!»

Они подошли к таганку, где на открытом огне варились уха и кипел наш большой медный чайник. Дело шло к обеду, и тут хлопотала Бабушка.

«А это что за красный зверь?» — спросила дочка Оленихи, показав на таганок.

«Это не зверь, это — огонь!»

«Тоже кусается?»

«Да, и очень больно. Пока он под присмотром человека — за тобой не погонится. Но все равно будь

осторожна, не наступай на пепел кострища — копытца можно обжечь».

«Сколько же у нас врагов! А друзья у нас есть?»

«Есть и друзья. Наш маленький хозяин, маленькая хозяйка и их родители. Это друзья, понимаешь?»

«Понимаю».

Обойдя двор, они вернулись на проталину, потоптались немного и легли на горячий песок бок о бок. Мы с сестрой не подходили к ним, смотрели издали, чтобы не беспокоить зря. Как только приближался человек, пугливый красношерстный олененок сразу вскакивал.

Мы с сестрой ломали голову над тем, какое имя дать маленькому олененку. Ни одно не подходило, поскольку Малышка пока никакого поступка не совершила. Еще не показала свой характер, не показала свой нрав. Да и не простое это дело — придумать имя. Ведь оно должно быть таким же звонким и красивым, как и сама Малышка. И чтобы обязательно «пристало» к ней.

— Имя придумали? — спросила мама.

— Нет еще, — ответили мы с сестрой. — Не пристают имена к ней.

— Думайте, думайте.

А Папа посоветовал нам:

— За ней внимательно наблюдайте.

— Зачем?

— Она сама подскажет вам свое имя.

Но мы и так почти не спускали глаз с Малышки. С каждым днем она подрастала и становилась резвее. Здрава пушистый хвостик, пускалась вскачь по проталине. словно поддразнивала меня — кто быстрее, кто быстрее! И я удивлялся: только родилась, а бежит быстрее меня.

Было тепло. Границы проталины заметно раздвигались — вместе с ними расширялся и мир моих владений. Я все дальше и дальше уходил от избушки вслед за тающим снегом.

Шли дни. Малышка подрастала, а имя все не приходило. А потом мы и вовсе забыли об этом. Как-то днем, покормив Олениху, я забежал домой. Тут следом влетела Бабушка и крикнула Маме:

— Вера, вашей Оленихе плохо стало!

— Что с ней? Где?!

— Там! На проталине! Беги!

— Зови Отца! — крикнула мне Мама и выбежала из дома.

Весь дом всполошился. Все забегали, засуетились, что-то кричали, кого-то звали.

Я тоже выскочил на улицу. Олениха кружилась на одном месте посреди проталины. Вдруг ноги ее подломились, и она, задрожав всем телом, рухнула на землю. Забила ногами и, загребая копытами песок, неловко поползла по кругу. В правую сторону. На правом боку.

— Может, подавилась! — крикнула Бабушка и глянула на меня. — На подоконнике гвозди лежали. Может, с чешуей отдали ей!

— Не давал я гвоздей! — закричал я. — Не было там их.

— В рот, что ли, ей загляните! — попросила Мама.

Отец приподнял голову Оленихи с закотившимися глазами, подержал немного, а потом осторожно опустил.

Отец молчал, и все притихли.

Наконец отчим Мамы сумрачно выдавил:

— Все. Кончилась.

И проталина вдруг сузилась до пяточка, на котором лежала наша неподвижная Олениха. А мы стояли

возле нее и молчали. Вокруг нас с горьким плачем носилась Дочка Оленихи. Она не могла пробиться через людскую стенку к своей матери, не видела ее, но поняла, что случилось несчастье. Услышав ее плач, мы с сестрой тоже заплакали. Но Бабушка тут же зашикала на нас и увела в дом.

— По оленю нельзя плакать, — сказала она. — Утрите слезы.

Мы размазали слезы по лицу и забились в темный угол.

И нам стало холодно и жутко.

Приходили соседи, люди рода Сардаковых. Вздыхали, о чем-то расспрашивали Отца и отчима Мамы. Я сначала улавливал лишь не очень понятные слова: «фронт», «груз», «червь в сердце», «войны время». Потом понял, что говорили о нашей Оленихе. У нее сердца не стало. Олениха нас всю войну везла и из войны вывезла, говорили взрослые. Иначе бы мы не выжили и войну бы не одолели.

Последняя Олениха.

Военная Олениха.

А недавно, приехав в отчий дом, я вспомнил ту послевоенную весну далекого детства. Вспомнил нашу последнюю Олениху. Оказалось, что и мой Отец не забыл ее.

— Да, — сказал он. — Это была последняя Олениха вашей Мамы. И ты помнишь ту весну?

— Да.

— Война и олений род подорвала...

Потом, встряхнувшись от дум, стал расспрашивать о жизни людей Земли, о войне и мире.

И надолго замолк. Видно, в его памяти всплыло, как он выражался, «войны время», те тяжкие годы, о которых напомнила ему наша последняя Олениха.

Дочка Оленихи

Дочка Оленихи с плачем носилась вокруг избушки — звала свою маму. Потом ненадолго останавливалась и прислушивалась — не отзовется ли мать ласковым голосом? Но было тихо. И она недоуменно оглядывала двор и бросалась то в одну сторону, то в другую.

Отец вылавливал ее и на руках уносил на пастбище, где паслись олени наших соседей. Но Малышка-несмышлениш тут же, как только ее выпускали, убежала домой. И жалобным хорканьем взбудораживала все селение. А вскоре потеряла голос — уже не хоркала, а просто хрипела.

Отец смазал ей мордочку кровью Оленихи и снова на руках отнес в сосновый бор к оленям.

— А зачем кровью ее смазали? — спросил я.

— Это чтобы ее сердце меньше ныло по матери, — объяснила Бабушка. — Так древние считали. Так наши предки делали.

Возможно, что и вправду притуплялась боль в сердце. Но Малышка-оленинок все продолжала звать Олениху-мату хриплым голосом. Она не находила себе места ни на пастбище среди оленей, ни дома возле людей.

Бабушка, завидев ее, говорила:

— Сиротинушка... Опять домой бежит?

— Куда ей еще бежать? — вздыхала Мама.

— Да, некуда, — соглашалась Бабушка. — Красный олененок никогда не оставляет то место, где теряет свою маму. Как далеко ни увезешь — все равно бежит обратно.

— Ох, тяжело ей... — печалилась Мама. — Голодная ведь, чем ее кормить?

Молока, конечно, не было. Начали кормить болтушкой из рыбы. Вареную рыбу очищали от костей,

потом мяли и заливали ухой. Получалось что-то похожее на молоко. Из деревянной чаши мы поили сиротинушку этой жидкой рыбной кашницей. Вскоре она привыкла к такой пище. С пастбища прибежала прямо к дверям избушки и ждала, когда вынесут поест. Если мы мешкали, начинала стучать копытцем в дверь. Видно, сердилась, торопила нас: есть хочу, давайте скорей. А коль дверь настезь — то без всякого стука просовывала голову в дом. На что Бабушка всегда махала руками и добродушно ворчала:

— Не выпускайте ее в дом. Не выпускайте.

— Почему? — спрашивал я. — Может, ей хочется посмотреть, как люди живут.

— Нельзя оленю в человеческий дом, — стояла на своем Бабушка. — Плохо ей будет. Нельзя.

Нельзя так нельзя. И я неохотно закрывал дверь.

Теперь Малышка совсем стала ручной. И я целыми днями играл с ней. Говорил, что вырастет она большой и потянет одну половину нарты, а вторую половину потянет колхозный олень. Отец говорит, что осенью колхоз даст нам упряжку оленей. Временно, на зиму. У колхоза тоже мало оленей — часть из них взяли на войну. Там что-то они возили по тундре в сторону фронта. И не вернулись... Осенью, по первому снегу, мы отправимся в зимний дом. Отец станет ездить на охоту и рыбалку. И я прокачусь с ним до ворот коралю. А вечером буду выбегать ему навстречу, чтобы проехать на оленях до стоянки нарты возле избушки. А потом быстро слетаю в дом и вынесу своей любимице разные лакомства, что припасу для нее за день.

Буду кормить тебя каждый день, говорил я олененку. Только ты спеши, подрастай поскорей. По словам Бабушки, скоро появятся комары и паузы. И если к тому времени ты не станешь крепко на ноги, те-

бе придется туго. Комары и пауты почему-то больше всех обижают осиротевших оленят. Могут совсем замучить. Я не хочу, чтобы тебе стало плохо. Поэтому тайком от взрослых буду приносить свой хлеб. Ведь хлеб намного вкуснее, чем рыбная каша. Это я хорошо знаю. Особенно свежий.

Ты будешь хорошо расти, говорил я олененку. Потому что все тебя любят и жалеют.

Олененка каждый звал по-своему.

— Сиротинушка... — вздыхала Бабушка.

— Дочка Оленихи... — ласково и грустно говорила Мама.

Олененок напоминал всем нашу старую Олениху, которая, уходя, оставила память о себе.

— Малышка... — такое имя понравилось Папе.

— Красная Малышка! — сказала моя сестра Лиза.

— Красная! — подхватил я. — Красная!

«Красная», пожалуй, всем по душе. Красная — значит, красивая, прекрасная, хорошая. Никто этого не отрицал. Да и шубка у Малышки красная. И всех оленят, до первой линьки в середине лета, называют красными. После линьки цвет изменится. А осенью Малышка, наверное, станет серебристой, как старая Олениха.

Теперь взрослых мучает один вопрос. Они спрашивают друг у друга:

— Выживет ли?

— Не знаю. Совсем еще махонькая...

— Вот если бы чуть постарше была...

— Да, свой желудок еще не подняла.

— Без материнского молока...

— Выживет, если к другой оленихе приучить.

И Мама вспомнила прежние времена. Бывало, если олененок оставался сиротой, его приучали к другой оленихе, у которой есть свое дитя. И она к нему привыкала и со временем начинала кормить и ра-

стить двух оленят. Но у нас нет оленихи. И у соседей почти не осталось оленей — у кого два-три, а у кого и вовсе ни одного. Да к тому же соседские олени обижали нашу Малышку. Когда она подбегала к какой-нибудь оленихе, та сердито фыркала и замахивалась копытом. Я тут же, в отместку за это, швырял в драчунью щепки и сосновые шишки.

— Ух, я вам задам! — кричал я обидчикам Дочки Оленихи.

Мы кормили Малышку рыбной похлебкой каждый раз, как только та прибегала домой. И она, привыкнув, целый день топталась возле дверей избушки. А потом у нее стал расти живот. И она как-то заметно отяжелела, уже не летела к дому птицей, едва касаясь земли. Теперь ступала она степенно, как старый олень, у которого плохо сгибаются суставы. Напоминала маленького старичка-хлопотунчика — ходила только шагом, вскачь почти не пускалась. Наверное, тяжело с брюхом, соображал я.

Спросил у Мама:

— Почему у нее живот таким большим стал?

— У сирот-оленят всегда такие животы.

— Отчего?

— Видишь ли, — объяснила Мама, — она растет без молока. Ест рыбную болтушку, зеленые листочки-травки и ягель, а это грубая пища. С ней неокрепший желудок не справляется.

— Может, надо кормить ее чем-нибудь другим?

— Да ничем материнское молоко не заменить... — вздыхала Мама.

— А живот у нее всегда таким будет?

— Нет, когда она подрастет, живот станет нормальным, как у всех оленей.

— Это хорошо! — обрадовался я. — Ей легче будет бегать!

Я тут же выскакивал из дома и бежал к олененку.

— У тебя все пройдет! — кричал я Красной Малышке. — Как только подрастешь! Слышишь?! И станешь так же быстро скакать, как и другие олениа, которые с матерями растут. Ты не расстраивайся, Малышка! Все пройдет, все пройдет...

И она тыкалась носом в мой живот, обнюхивала руки. А я гладил ее по теплой маленькой головушке, и на моих ладонях оставались красные шерстинки. В это мгновение я был уверен, что она понимает мой язык. Понимает все, что я ей говорю.

Но ее огромные глаза оставались грустными-грустными. И мне, глядя на них, хотелось плакать.

И в словах взрослых я улавливал тревогу:

— Выживет ли?..

— Сколько еще протянет?..

Только суровый отчим Мамы все чаще сводил кустистые брови и молчал, когда шел разговор о Красной Малышке. И это его молчание меня беспокоило больше, чем тревога в словах Бабушки, Мамы и Папы и наших соседей. Впрочем, когда с нижнего конца Яра, с ягельника, где паслись олени, показывалась Дочка Оленихи, я забывал обо всем на свете — тут же опрометью бросался к ней навстречу, ловил ее и чмокал в теплую мордочку.

Наверное, на всем белом свете только я один был уверен до конца: ничего с сиротой не случится — выживет. Обязательно выживет!..

Эту мою уверенность видели и взрослые. Бабушка сказала мне с улыбкой:

— Ты каждую хвоинку с нее сдуваешь, каждую шерстинку ей поправляешь. Конечно же, она должна выжить!..

А Мама грустно заметила:

— На твоём лишь дыхании живет...

Но моего дыхания хватило ненадолго.

Солнце делало свое дело. Снег почти полностью сгорел, и проталина стала бескрайней. Река очистилась ото льда. Вернулись на Север стаи перелетных птиц.

Прогремел первый гром.

Прошел первый дождь.

Появились первые комары. И я их безжалостно прихлопывал, чтобы поменьше мучили Красную Малышку. Теперь я провожал ее на пастбище до самого конца Яра. И утром, если рано просыпался, встречал там же.

Но однажды Малышка не пришла домой. Солнце уже поднялось высоко, и мы все, ожидая ее, забеспокоились. К полудню Отец отправился на поиск. Вернулся он неожиданно быстро — с Дочкой Оленихи на руках. Та лежала на тропе головой в сторону дома. Совсем недалеко, за ближним сосняком.

— Видно, бежала домой и свалилась замертво, — сказал Отец и положил Малышку на землю, возле Бабушки.

Мы молча обступили ее. А она такая махонькая, красношерстная и... неподвижная. И мы с сестрой тихо заплакали. Но теперь почему-то никто не шикал на нас, никто не говорил нам, что по оленю нельзя плакать.

Сквозь слезы я представил себе, как все это произошло.

На рассвете Малышке стало плохо, и она рванулась домой — поспешила к людям. Но не добежала — свалилась и не встала. И я был бессилен помочь ей. Это угнетало меня: ни о чем другом не мог думать.

Потом она вернулась и, трепетно легкая и пугливая, ускользающая при каждом неосторожном движении, долго жила в моих снах...

Так кончился род оленей нашего дома.

Пристань

Хорошо, когда у человека есть своя пристань. Хорошо, когда в непогоду есть куда причалить...

Помню, как меня в первый раз повели на пристань. Папа поехал ставить сети, и мы с сестрой Лизой пошли его провожать. Нужно было помочь ему отнести сети, новые поплавки и грузила в берестяных одежках-покрышках. Мне, правда, дали нести только маленькую куженьку-черпак. Мал еще, сказали мне, свой живот до пристани дотащил бы.

Больше всех беспокоилась Мама. Помогая мне одеться, она наставляла старших:

— Смотрите, чтобы он в воду не упал!

— Будем смотреть! — отвечала сестра.

— Чтобы на мостках не оступился!

— Хорошо.

— Чтобы руки-ноги не оцарапал!

— Ладно.

Маме все казалось, что я еще очень маленький и на пристани мне делать нечего. Поэтому не хотела отпускать меня так далеко от дома. В общем-то, она была права: делать мне на пристани нечего. Но уж очень я просился туда. Хотелось собственными глазами взглянуть, что это такое. Как только открывалась вода, я каждый день слышал от взрослых про Осеннего Селения Пристань. Конечно же, через нее меня возили. Но я был настолько мал, что ничего не запомнил. И вот теперь загорелся желанием побыстрее взглянуть на эту таинственную пристань.

Мама все беспокоилась, напоминала старшим:

— Чтобы комары его не искусили!

— Будем следить.

— Вы такие — за ним не уследите...

— Да куда он денется?..

Папа заметил:

— От комаров пусть уж сам отбивается... Никто его на пристань не звал. Сам напросился.

А Мама, провожая нас, переспросила сестру:

— Ты слышала, Лиза, что я тебе сказала?

— Слышала-слышала, не беспокойся, Мама!

И мы взяли вещи и пошли. По светлой песчаной дорожке спустились под Гору Осеннего Селения и остановились у высокого сухостойного пня. К нему прислонены слеги. Каждый выбрал слегу по своему росту. Папа — большую. Сестра Лиза — среднюю. Я — самую маленькую. И, опираясь на слеги, по шатким мосткам из двух рядом уложенных бревен-сухостоин двинулись через широкий сор — ровное болото без больших кочек и деревьев. Весной сор заливало талой водой, а когда она сходила, мы бегали сюда собирать клюкву. Сейчас впереди, оглядываясь на меня, шел Отец. Я — за ним. А сестра Лиза — за мной. Настилы шершаво-неровные, и по ним было легко идти. Но местами талая вода приподняла их и расшатала. Поэтому два раза я оступился и намочил правый нырик.

— Вот Мама тебе задаст — придешь домой! — проворчала сестра.

— Как бы тебе самой не попало! — пробурчал я.

— Под ноги смотри!

— А я куда смотрю, по-твоему?

— По-моему, ты, как сова, вертишь головой во все стороны!

Я-то знал: от Мамы никакой нахлобучки не будет. Она высушит нырик — и все дела. Поэтому несколько не расстроился.

Кончились мостки — и мы прислонили свои слеги к засохшему на корню кедру. Я потрогал его замшелый ствол. Кора давно отвалилась и, наверное, уже сгнила. А его тело — серое и крепкое — все еще поблескивало на солнце. Кедр гордо возвышался над всей округой. И мне он показался стражем вот этих

мостков, клюквенного сора и ближнего леса. От старости он весь высох и замшел, но продолжал стоять на своем посту. Так живой он или мертвый? Высох — значит, умер. Но он стоит и охраняет округу — стало быть, живой. Разве мертвый может держать слуги и стоять на страже?!

Такие мысли пришли мне в голову, когда я прикоснулся к стволу древнего кедра.

— Пойдем, — позвал Папа.

— Он что-то бормочет, — улыбнулась сестра Лиза, останавливаясь возле меня.

— Что ты там стоишь-то? — спросил Папа.

— Кажется, со стариком кедром разговаривает, — сказала сестра Лиза.

— Пойдем, потом поговоришь, на обратном пути... Я оставил кедр и поспешил за Папой.

Мы шли по смешанному лесу. О деревьях я уже кое-что знал. Знал, что на верхушках мягкохвойных кедров к концу лета поспеют шишки. Папа принесет их, я поджарю плоды на костре, чтобы не стало смолы. И начну шелушить. Какие вкусные орехи! Это мое первое лакомство!.. Я поглядывал и на березы: не забыл еще вкус сладкого весеннего сока. А елку немного недолюбливал — хвоя у нее больно колючая, до крови может уколоть. Мама говорит, что это тоже дерево нужное — белки любят еловые шишки. Раз кормит белку — пусть стоит себе, думал я про елку, на почтительном расстоянии обходя ее ветви. А что до красноствольной сосны — так это наше «домашнее» дерево. Я смотрел на сосны как на давних знакомых. Хвоя — для большого черного глухаря, шишки — для белки, ствол — на стены дома и лабаза, сучья — пища для теплого очага. Все в дело идет.

Крепко пахло цветущей черемухой и молодой листвой.

Я вдыхал этот терпкий дух леса и радовался тому, что меня взяли на причал. Тут и про комаров не вспомнишь.

— На тропу смотри, — просила сестра Лиза, когда я приближался к мочажинам и корневищам на дороге. — Упадешь ведь!

За руку она меня не могла взять — тропинка слишком узкая. Рядом была широкая оленья дорога, но по ней тоже не пройдешь — сплошные мочажины, ступить негде.

Наконец мы поднялись на поросшую соснами гриву, и я увидел причал и Протоку Болотной Сторони. На воде лежала «солнца рука», о которой говорила мне Мама, — золотисто-серебряная дорожка. Она искрилась и переливалась — ветерок слегка рябил воду.

Пахло посоленной рыбой и смолой. Пахло нагретой древесины и сосновой хвоей. Пахло мокрыми сетями и травой.

Пахло рекой.

Вдоль берега лежали перевернутые вверх дном малые обласки — лодки-долбенки из цельного ствола дерева. Так они отдыхают после плавания, говорила Мама. А на воде покачивались дощатые неводники — большие лодки из кедрового теса, шпангоуты у них — из кедровых корней. Неводники тяжелые, их на сушу не вытаскивают. Мне очень хотелось посидеть на лодке, покачать ее на волнах, но сестра Лиза не пустила, мол, еще в воду упаду.

Папа возился с сетями возле деревянных бочек, что стояли в тени. Я знал — в бочках солили рыбу. Когда они наполнялись, Отец на большом обласе отвозил рыбу на Аган-реку. Там, недалеко от наших Летних Домов, на Домашнем Острове, был приемный пункт — избушка и длинный высокий склад-

лабаз. Рыбу принимал добродушный Кудрявцев-старик. Его хозяйство называли просто Приемная. Меня брали туда очень редко, хотя я часто просился — хотелось все увидеть своими глазами.

У воды комаров больше, чем в сухом бору. И Папа выпроводил нас домой. Мы шли теперь одни. И за каждым валежником и замшелой корягой мне чудились таинственные лесные существа из сказок и легенд. Я их немного побаивался и поэтому ни на шаг не отставал от сестры Лизы. И раза два уже наступил ей на пятку.

— Куда так спешишь? — упрекнула она. — По моим пяткам все идешь!

Я напомнил ей старинную примету, которую слышал от Мамы: если кому-то наступил на пятку, значит, ровно через год с тем человеком по той же тропе пройдешь. Разве это плохо, бормотал я.

— Хорошая примета, — согласилась сестра Лиза. — Но ты мне пятки оттопчешь.

Потом и вправду мы не раз ходили с ней по этой тропе. По ней, когда наступило время неводного лова рыбы, перетаскали вещи на пристань, и на большой лодке поплыли на Аган-реку, где стояли наши Летние Дома, наше Летнее Селение. Там тоже было много интересного и нового. По реке проходили катера с баржами на буксире, заезжали на обласах и лодках к нам на чай путники, жители других селений. Изредка посещала нас Красная Лодка — кино показывала и говорила на непонятном языке о неведомых краях, путь в которые начинался с пристани.

Все начиналось с пристани.

Отсюда и я начал свой путь в неведомый мне мир. Бродя по дальним тропам и дорогам, скитаясь по другим рекам и морям, в мыслях я не раз возвращался сюда...

II

ЛЕТА

Первая вода

На Пристани Осеннего Селения, когда мы со всеми вещами погрузились в нашу большую лодку и оттолкнулись от берега, Мама смочила забортной водой мою макушку и сказала:

— В будущем году чтобы в это же время ты села в лодку!

Потом она капнула на головы моих сестер и каждой пожелала того же:

— В будущем году чтобы в это же время ты села в лодку!

Напоследок, окинув прощальным взглядом пристань и Протоку Болотной Стороны, Мама снова смочила руку забортной водой и, сдвинув платок, провела ею по своей голове, приговаривая:

— В будущем году чтобы в это же время я села в лодку!

Лодка наша покачивалась на волне. Никто не греб. Мы с сестрами тянули руки к смоченным макушкам, улыбались, радовались дороге. Хорошо на воде. Хорошо ею омываться. Только Папа не смочил свою макушку. Он сидел на корме, положив перед собой весло поперек бортов. И, оглядывая причал — не забыл ли чего, вытащил табакерку.

Я, конечно, тут же повернулся к Маме:
— А почему Папа не смочил свою макушку?
— Папа давно уже встретил первую воду, — ответила Мама.
— Когда — давно?
— Ранней весной, когда только Протока открылась.
— А, он ездил ставить сети, — вспомнил я.
— Да, и привез первую рыбу.
— А потом — первую утку...
— Да, и первую утку этой весны...
Мама поправила на моих младших сестрах платки, усадила их как следует. Потом, глянув на меня, проговорила:
— Однажды придет время — и ты первым начнешь встречать первую воду. Как Папа, принесешь своим детям первую рыбу, первую утку...
Когда еще придет это время, подумал я. Сейчас меня интересовало другое. Я повернулся к Отцу:
— Папа, а ты правда смочил макушку первой водой?
— Конечно, — как всегда неспешно ответил он.
— Все люди так встречают первую воду?
— Конечно.
— И мой брат Никита?
— И брат Никита.
— И дядя Василь?
— И он.
— И мой Крестный?
— Да, и твой Крестный, старец Ефрем...
Тут Отец спрятал табакерку в карман, опустил весло в воду и сказал:
— Кажется, ничего не забыли. Ну, поехали...
— Если что и забыли — так не навечно уезжаем, — сказала Мама, берясь за весло. — Поехали...

И наша лодка поплыла вверх по Протоке Болотной Стороны, в Летнее Селение на Агане, в Летние Дома.

Мы с сестрой Лизой все норовили сунуть руку за борт, поплескаться, поиграть бегущей навстречу лодке волной. Но Мама строго приказала нам:

— Хватит! Священную воду не трогайте!..

И мы на время отвлеклись от воды, занялись другими играми. Над лодкой солнце. В лицо веет теплый ветерок. На воде — серебристая, похожая на рассыпанную чешую, рябь. То справа кедры, то слева. То слева березы, то справа. И где-то, в деревьях, щебетали невидимые птички.

Когда остановились на недолгий отдых, я сел поближе к Матери и спросил:

— Почему именно такие слова нужно говорить, когда смачиваешь голову водой?

— Чтобы они сбылись.

— А зачем им сбываться?

— Затем, чтобы в следующем году ты в это же самое время сел в лодку.

— А если я сяду в лодку немного раньше или немного позже? Это плохо?

— Нет, почему же. Главное — чтобы ты сел в лодку, то есть до первой воды будущего года дожил. Понимаешь? А потом скажешь эти слова — и дальше живи. И так от одной воды до другой, от одной весны до другой... Ничего с тобой уже не случится.

После, каждую весну, я стал наблюдать за взрослыми.

Дядя Василь, впервые столкнув обласок в воду и сев в него, снимал кепку, весело хлопал мокрой пятерней себе по макушке и громко, уверенно, с добродушной улыбкой, будто уже заглянув в будущее, говорил:

— В следующем году чтобы в это же время я в лодку сел!

И, гребнув веслом, отправлялся по своим делам.

А мой Крестный, старец Ефрем, сначала поудобнее устраивался на сиденье, потом снимал островерхую старинную шапку, приглаживал редующие белые волосы и лишь затем всеми пятью сведенными пальцами, смоченными в воде, легонько постукивал себя по самой макушке и негромко говорил слова-заклинания:

— Ох-хо, в будущем году чтобы в это же время я в лодку сел!

Так в нашем роду встречали первую воду после зимних льдов.

Так с этой весны я начал встречать первую воду.

Сажусь в лодку, устраиваюсь поудобнее, опускаю руку за борт, капаю водой на голову и бодро так говорю:

— Чтобы в будущем году в это же время я в лодку сел!

И делаю так из года в год. На младших сестер, когда они были маленькими, я тоже капал первой забортной водой и за них произносил магические слова.

Немного позже я по-настоящему понял мамино объяснение. Как смочу макушку первой водой, так появляется уверенность, что обязательно доживу до весны будущего года, ничего со мной не случится. Проживу хорошо лето, осень, зиму. А весной реки-озера очистятся ото льда, и когда я, в первый раз сядясь в лодку, произнесу эти слова — снова могу целый год спокойно жить, сам черт мне не страшен. И так можно жить долго-долго. И так можно жить вечно-вечно. И жизнь никогда не кончается. Только каждую весну, в первый раз сядясь в лодку, надо говорить эти вещи слова.

Ветра Сын

В Летние Дома, или в Летнее Селение, что на берегу широкого Агана, к нам часто навевывался неутомный Ветра Сын.

У него есть отец, которого уважительно зовут Ветром-Стариком. Ветер-Старик медленно и постепенно поднимался из-за леса, неторопливо и подолгу раскачивал тайгу. Неторопливо и подолгу гнал белоголовую волну по большим рекам и большим озерам. Голос его был густым и ровным. А вот дитя его, Ветра Сын, наоборот, любил попроказничать. Налетит — и исчезнет. Налетит — и умчится, спрячется, затаится невесть где. Глядь — опять налетает. Врывался он в самые укромные закоулки. В общем, лез во все дыры.

Перед грозой, бывало, переворачивал он возле таганка котлы и берестяные ведра. Смахивал с уличной полки куженьки и поварешки. Из-под навеса выхватывал шкуры и легкую летнюю одежду. Валил на землю вместе с вешалами сети и невода на берегу. Рвал причальные канаты лодок-неводников, разбивал обласки из кедра, срывал бревнышки с настила крыши. Такие вихри налетают, что кажется — дом, как пушинку, вот-вот в небо поднимут. Все прощают Ветра Сыну, кроме дома. Тронул дом — добра не жди. Тут и женщины начинают ругать его в открытую. А если он не хочет угомониться, тогда просят мужчин:

— Из ружья, что ли, выстрелите!..

Я помню, как однажды в Летнем Селении мой Крестный отец, старец Ефрем, в сильный ветер, который уже всех допек, вышел на улицу и выстрелил вверх из своего старого ружьишка.

Я ждал — что же будет?!

И вправду, вскоре напор ветра ослаб, а потом он и вовсе стих. Я, конечно, тут же пристал к Матери:

— Скажи, как мой Крестный ветер остановил?

— Он Ветра Сына наказал.

— А разве его можно наказывать?

— Конечно, когда он очень шалит и не слушается людей.

— А кого он должен слушаться?

— Хозяйку дома. Она просит: «Ветра Сын, потише-поттише!» Он же будто не слышит, дует себе, подует... Вот старые люди и наказывают его ружьем.

— А как его наказывают?

— Щеки ему простреливают, чтобы он потише дул на землю...

Я живо представил Ветра Сына — вот он сидит, а вот летает по небу и дует изо всех сил на землю и людей. Из озорства вырывает с корнем деревья в лесу, а захочет — и в людских селениях все играючи перевероршит-перевернет. Но в летнюю жару, в самое комариное время, я тосковал по шаловливому Ветра Сыну и по его степенному отцу. Ведь тогда они единственное спасение — сдувают комаров и освежают кожу. Бывает, изо дня в день такая тишь стоит, что листочек на осине не шелохнется. В ту пору мне казалось, что Ветер-Старик с Сыном кровно обиделись на людей и нам никогда не дожидаться свежего дуновения.

Я шел к Матери и спрашивал:

— Ветра Сын теперь совсем перестал приходить на землю?

— Нет, он залечит свои щеки и опять начнет дуть, — отвечала Мама.

— А скоро он залечит свои щеки?

— Скоро-скоро, — успокаивала меня Мама. — С прежней силой начнет дуть и озорничать.

— Так он нужен сейчас... — вздыхал я, отмахиваясь от комаров.

Отец тоже, бывало, поругивал Ветра Сына. Но сколько себя помню, он ни разу не наказывал ружьем небесного разбойника. Почему, это мне до сих пор неведомо.

Когда люди нашего рода наказывали озорного Ветра Сына, я жалел его. Наверное, нет ничего в том хорошего, если не можешь дуть и озорничать. Сиди с израненными щеками и жди, пока они заживут. Хоть и на небе, а несладко...

Но такие вещи никогда не проделывали с Громом-Стариком, что живет в верховьях Салыма.

Гром-Старик

Весной, ближе к лету, когда над нашим селением впервые подавал голос Гром, Отец с Матерью подымали головы и говорили:

— Здравствуй, Гром-Старик!

И нам, детям, обычно напоминали:

— Поздоровайтесь с Громом-Стариком!

И мы тоже смотрели на небо и здоровались там с невидимым стариком:

— Здравствуй, Гром-Старик!

Мы молча слушали, как он покрикивал над селением.

Отец, помолчав, обычно говорил вслух, ни к кому не обращаясь:

— Вот и Гром-Старик пришел...

— Да, вернулся... — поддакивала Мама.

К этому времени я уже знал, что все перелетные птицы возвращаются с юга. Стало быть, Гром-Старик тоже откуда-то приходит. Может быть, он улетает осе-

нюю в теплые края вместе с птицами? Наверное, побаивается холода, побаивается зимы. Ведь зимой я его не слышу. Так где же он зимует?

И я спрашиваю Отца:

— Скажи, с каких земель-небес к нам Гром-Старик пришел?

Отец молча прислушивается, как бы припоминая, к негромкому голосу Грома, потом говорит:

— Издалека Гром-Старик пришел.

— Откуда — издалека? — допытываюсь я.

— С реки Салым...

— А где эта река находится?

— Далеко, вниз по Оби...

— Он там живет?

— Да, в старину-то, говорят, Отец, Повелитель всех Громов, там, в верховье этой реки, жил...

Так я узнал, что у Грома-Старика, как и у всех людей, есть отец. Что Отец Громов жил когда-то в верховье Салыма на самой высокой сопке. У него были дети. Их еще иначе зовут Цухи. Как только наступает лето, они разлетаются по всем небесам и землям. И на реку нашу Аган прилетают. И на другие соседние реки — Тром-Аган, Казым, Вах, Юган — тоже прилетают, тоже приходят. Возможно, они еще совсем молодые. Но мы их уважительно называем Громами-Стариками.

Бывает, как бы переговариваясь, они вдвоем или втроем подают голос над селением. Значит, они встречаются на небе, ходят иногда одной небесной тропой.

Так я узнал, что Гром-Старик — это добрый бог. Он летает по небу и зорко смотрит на землю. И как только увидит злого Духа, который обычно прячется под деревом, прильнув к стволу, так с грохотом бьет по нему стрелой. После, говорят, забирает повержен-

ного злодея и снова взмывает в небо. На стволе остается лишь след от его огненной стрелы.

Такие следы-полоски мне приходилось видеть на деревьях.

Бывает, Гром-Старик после грозы ищет свою стрелу и недалеко от обстрелянного дерева садится на ветку в облике копалухи. Поэтому после грозы ни в коем случае нельзя трогать копалуху. Нельзя в нее целиться, нельзя в нее стрелять. Словом, нужно обходить ее стороной.

Если Гром-Старик не подбирает свою стрелу, то люди иногда находят ее наконечник — не то каменный, не то металлический. Обычно стрела, пройдя по стволу дерева, вонзается в его корни. Если в этом месте раскопать дерн, то можно найти наконечник. Он приносит удачу. И люди хранят его в священных сундуках вместе с домашними богами, хранителями очага.

Мне, конечно, очень хотелось иметь стрелу Грома-Старика. Вернее, наконечник. Но сколько ни просил Отца, он так и не занялся поисками. Почему? Этого я до сих пор не знаю. Хотя Гром-Старик являлся покровителем и нашего Дома, жил в нашем священном сундуке в облике птицы. Наверное, копалухи.

Я узнал, что в грозу, когда Гром на небе и ты прячешься от дождя под разлапистым кедром, нельзя прислоняться к стволу. Ведь так можно ввести в заблуждение Грома-Старика, и он примет тебя за злого Духа и ударит огненной стрелой по дереву. Если же дождь сильный и нигде другого укрытия нет, то нужно над головой воткнуть в дерево топор или нож и сказать:

— Гром-Старик, под этим деревом я, человек. Не трогай меня.

И только тогда можно встать вплотную к стволу. Такого нрава был Гром-Старик из далекого Салыма.

Потом я узнал, что вниз по течению, ниже устья нашей реки Аган, Великий Ас (так ханты называют Обь) несет на своем левом боку-берегу другую реку Салым. По-хантыйски «солхэм» значит «созданная», «сотворенная» — в высочайшем смысле этих слов. После я стал улавливать «Солхэм» в сказках и в древнейших мифах изумительного народного карнавала-праздника Медвежьи пляски, что устраивался в нашем роду каждый раз, когда низводили «в урмане ступающего». На Солхэме, оказывается, еще в незапамятные времена жили боги, а затем поселились там мои сородичи ханты. Стали их звать «Солхэм йах» — «Салыма люди», «Салыма народ».

Но в моем представлении там жили не люди, а боги. Я видел, как в самом верховье реки, на вершине таежной сопки-горы восседал Отец всех Громов. Видел, как весной, когда наступало тепло, его дети Духи расправляли крылья и разлетались по всем Небесам и Землям. Аганские летели на Аган, юганские — на Юган, казымские — на Казым. Они зорко следили-смотрели, чтобы злых Духов было как можно меньше, чтобы те не притесняли людей всех больших и малых рек, чтобы не взяли верх над человечеством Земли. Быть может, поэтому каждого Цухи, прилетавшего на нашу реку, мы называли Громом с уважительной прибавкой «Старик»...

Вот каким большим и очень нужным делом был занят Гром-Старик, приходу которого я вместе со всеми радовался и кричал:

— Здравствуй, Гром-Старик!

И я был уверен, что он слышит и мой голос, мое приветствие. И, летая над нашим Аганом, будет по-

глядывать и на меня. И я, под его всевидящим оком, вырасту удачливым и счастливым.

Поэтому, возможно, я никогда не пугался Грома-Старика, как бы громко он ни кричал, как бы неистово ни гремел над нашим селением и рекой. Ведь он всех видит, всех помнит.

Правда, он иногда, видно, увлекшись, забывался. И если особенно неистово, теряя рассудок, кричал поблизости от нашего дома, Мама просила Отца:

— Покричи ему, успокой его!.. Пусть детей не пугает!..

Отец не сразу, выждав некоторое время, поднимался и, приоткрыв дверь, словно нашалившему ребенку, кричал в небо сердитым и строгим голосом:

— Эй, Гром-Старик, потихоньку иди! Разве дом и людей не видишь?! Не пугай детей, потихоньку иди!..

И, будто услышав человека, небесный старик умерял свой пыл и вскоре, понизив голос, ворча, удалялся вместе с тучей восвояси.

Женщины никогда так не обращались к расшумевшемуся не в меру Грому-Старику. Если Отца не было дома, то Мама просила моего Крестного, старца Ефрема, чтобы тот приструнил грозного Грома-Старика.

Салым, Солхэм.

Созданная, сотворенная.

Созданная, сотворенная людьми ли, Богом ли?..

И живут там не люди, а боги.

Во всяком случае, о верховье и говорить нечего — принадлежит оно богам, принадлежит семейству Небесных Громов, что заняты одним делом — истреблением злых духов, истреблением всего нечистого и злобного на Земле.

Сотворенной Реки Человек

В те дни я еще не знал, что спустя годы увижу первого человека Салыма, первого неземного ханта «Сотворенной Реки» Геннадия Райшева. Увижу, и мне воочию придется убедиться, что на этой сказочной реке, рядом с языческими богами, живут «Солхэм йах» — Салыма люди, Салыма народ. А немного позже Художник, Сотворенной Реки Человек, познакомит меня со своими земляками.

— Это салымские мужики, — скажет он.

Егор Большой.

Илюшка.

Миша Лемпин.

Сергей Петрович.

Ефрем.

Я всмотрюсь в них. Я попытаюсь их понять. Я попытаюсь охватить их мир. И после пойму, что их мир беспределен. Что каждый из них — сам по себе. Мир. Мир необъятный. И — удивительное дело — они похожи и одновременно не похожи на казымских, юганских, ваховских и моих аганских мужиков. Они и салымские и не салымские. Сотворенные человеком и сотворенные Богом.

Все доступно, и в то же время ничего мне недоступно и непонятно.

Потом я увижу другое. Обыкновенное и необыкновенное.

Утки.

Утки-деревья.

Красивые женщины.

Болотные бабы.

Берестяные бабы.

Травяные мужики.

Рощи-леса.

Все с детства знакомое и близкое. Утки, болота, трава. Сосны в борах, кедры в урманях, березы в прибрежьях. Я знал с самого рожденья, что в тайге каждая веточка, каждая иголочка, каждая травиночка — это живое существо. Все они чувствуют тепло и холод, ласку и боль. У всех есть свое дыхание-жизнь. Но, оказывается, утка может обернуться деревом, а дерево — уткой, болото — женщиной, а высокая трава — мужчиной-охотником. Раньше все это было только в сказках, лишь в моем воображении. Теперь же сказка стала реальностью, и я все вижу наяву и могу к ней прикоснуться.

Весла.

Лодки.

Женщины-лодки.

Мужчины-молоты.

Баба-морoshка...

МОРОШКА

Загадка моего детства загадывается так:

— Загадка-загадка моя,
посреди сора,
посреди болота
женщина в красном платке
стоит-красуется.
Что это такое?

— Это морoshка! — слышу я восторженные голоса своих сверстников.

Мы обожали эту Царицу болот. Она начинала мне сниться задолго до своего появления на свет, с первыми проталинами на сору-болоте возле нашего Осеннего Селения, где мы обычно встречали весну. Снача-

ла морошка застенчиво приоткрывала свое румяное личико, а потом быстро наливалась соком, становилась прозрачной и оранжево-золотой, как солнце, и приподнимала болото своим солнечным светом.

К сожалению, век морошки очень короток. Не успеешь болото перейти — и нет ее, ушла она. «В мох капнула», — говорил обычно Отец. «Следующим летом вернется», — успокаивала Мама.

Надо непременно дожить до лета, дожждаться ее.

Это была самая желанная, самая вкусная ягода моего детства. Почему? Может быть, потому, что она красивая. Красивая и похожая на солнце. Идешь по болоту, а вокруг тебя много-много солнц. И тебе от них и красиво, и тепло, и весело.

Это была самая желанная, самая красивая ягода нашей Земли.

Наверное, и Художнику она впервые повстречалась в раннем детстве на щедрых землях Салыма. Повстречалась и с той поры заморозила Сотворенной Реки Человека...

БОЖКИ-ОЗОРНИКИ

Кони.

Хохотунчики.

Шайтаны.

Идолы.

Верховные Боги, покровители человечества и многих земель.

Домашние Боги, покровители очага.

Божественно строгие и озорные.

Божки-озорники летают над лесом, ловят птицу и рыбу, играют в небесные игры, пугают слабонервных, дерутся и влюбляются. Все как во времена моего

детства. Может быть, те же Громы-Старики носились над своей родной рекой Салым. И Райшев внимательно прислушивался к их голосам, старался понять то, о чем они говорили. Может быть, подобно моим родителям, Отец объяснял ему, какой Гром нрава кроткого и спокойного, а какой нрава буйного, необузданного. О Громах над нашим Аганом Мама и Папа обычно высказывались вслух, как бы предупреждая нас, чтобы мы были готовы к встрече: «Сердитый Старик поднимается над селением. Громко станет кричать». О других замечали: «Этот совсем спокойный. И наверное, стороной пройдет».

Может быть, тот же Сын Ветра, или Ветер-Старик по-агански, куролесил над Салымом-рекой. Срывал крыши с домов, переворачивал обласки и лодки, забирался под навесы и полки, крушил всякую домашнюю утварь в селениях. И возможно, его так же называли, как и на моем Агане. А может быть, находили на него другую управу.

Отец мой часто рассказывал, как расправлялись с Сыном Ветра наши северные соседи ненцы. Сын Ветра иногда носился по земле в виде вихря. В старину, если вихрь подворачивался под руку, ненецкие шаманы били по нему палкой. И вихрь тотчас угасал и падал на землю в обличье щуренка с синей чешуей. А Ветер после этого надолго исчезал. Видно, залечивал рану.

А что делали с синечешуйчатым щуренком — не знаю. Может быть, его высушивали и, как талисман, хранили в священных кузовках. Ведь щука — это одно из ненецких божеств. Может быть, наоборот, побыстрее избавлялись от щучьего облика неугодного Сына Ветра.

Ничего мне неизвестно о дальнейшей судьбе поверженного озорника неба.

Да, видно, и Сотворенной Реки Человеку в детстве или отрочестве не однажды приходилось сталкиваться с лесными хохотунчиками и озорниками. Они, верно, многие годы жили в нем, а затем перебрались на его полотна и теперь, не дожидаясь весны, как в древних мифах, разлетаются по всему белому свету...

МАТЬ МАТЕРЕЙ

Люди, современники Сотворенной Реки Человека. Сказительница Анна Митрофановна Конькова из кондинского рода Картиных, из мансийского рода Чаек, из древнего селения Евра.

Добра.
Сказочна.
Мудра.
Добра, как женщина.
Сказочна, как богиня.
Мудра, как Мать Матерей...

МАСТЕР

Петр Шешкин, охотник с реки Ляпин, рыбак с реки Сосьвы.
Художник, скульптор.
Певец, поэт.
Музыкант, исполнитель народных танцев.
Словом, Мастер.
Лукав и талантлив.
Лукав и жизнелюбив.
И никак не хочется верить в то, что он ушел уже по тропе к покою. Ушел преждевременно. Не хочется верить, ибо волшебная кисть Творца вернула ему жизнь...

ПЕВЕЦ

Владимир Волдин, поэт, воспевший свою суровую Землю. Поэт, которого Райшев никогда не видел и теперь уже никогда не увидит. Поэт и человек, которого помнит Север, помнят сородичи на Иртыше и Оби, на Ить-Яхе и Казыме.

Певец с недопитой кружкой в руке.
Певец с недопетой песней на устах.
Певец с недо...
Недо...

ИДОЛ И ЧЕЛОВЕК

Человек.
Рядом — «Идол человека».
Два портрета.
Два лика одного человека.
Что я запомню о них?
Человек скажет о своем портрете:
— Это не я!
Человек скажет о своем идоле:
— А вот это я! Вот это похоже!..
Почему?
Может быть, идолы потеснили людей?!
Идолы потеснили все человеческое в человеке?!
Отчего это?!
Надолго ли?!
Наверное, это ведомо лишь одному Творцу, который знает о каждом из нас намного больше, чем мы сами о себе. И мы все, сызмальства приученные к идолопоклонству, неуютно чувствуем себя без них. Ни дня не можем прожить без идола...

О ЛЮБВИ

Любовь.

О любви.

Любовь и ненависть — единственные вдохновители творчества. И конечно же, у Сотворенной Реки Человека все рождено любовью.

Любовью к каждой хвоинке.

Любовью к дожде, любовью к капле воды.

Любовью к Салыму, любовью к Югану.

Любовью к людям, любовью к жизни.

Любовью к красоте. А что такое красота? То, что тебя волнует. То, что тебя радует. Это и есть красота.

Наконец, любовью к женщине.

Все у Творца держится на любви. И лучше него трудно сказать о любви, поэтому я ставлю много-точие...

О РАЗНОМ

После я услышу тоже давно знакомое.

Треби дятла.

Стук копыт бегущих оленей.

Говор оленят в весенней тундре.

Плеск рыбы в реке.

Крик богатыря.

Плач гагар.

Немного позже придут Времена Года.

Белые Зимы с полярными совами.

Светлые Вёсны с оленятами в тундре.

Зеленотравные Лета с косяками рыб. Златолиственные Осени с вереницами перелетных птиц.

И на долгие дни врежется в память лик моей Земли. И зелень лесов.

И рыжеватая-теплая желтизна болот.

И синь больших и малых рек.

И голубые очи озер.

И малиновые зори над моей Югрой.

И закаты, и рассветы.

И рассветы, и закаты...

И все это Жизнь.

Жизнь древняя — в единстве с миром, в единстве с гармонией.

Жизнь будущая — с поражениями и надеждами.

Жизнь настоящая — тронутая кровавыми красками заката...

СЛЕЗЫ ПРЕДКОВ

«Слезы предков».

Стекло-бледно-зеленое.

Что это?

Все понятно.

Бесформенно-лилово-черное.

Кто это?

Все ясно.

Желто-бестелесное.

Кто это?

Тоже все понятно.

Холодное, ледяное, острое.

Что это такое?

С этим тоже все ясно.

Все знакомое, все понятное.

Кому же все это непонятно, тот может проехать по родине Художника, по притокам Великой Оби, по рекам Пим и Казым, Тромаган и Вах, Аган и Салым, Большой и Малый Юган. И тогда каждый поймет, что

это такое. Проехать надо, желательно минуя лакированные села Угут, Казым, Полноват, Кышик и другие. Я намеренно не заключаю в кавычки определения сел. Лакированные они в прямом смысле слова. Для показа. Ибо спустя годы, после проезда очередной представительной делегации, мне доведется побывать в прогнивших избушках, обшитых тесом и покрытых снаружи лаком «заботливым» нефтяным ведомством. Потемкинские деревни двадцатого века? Да. А зачем они? Как и во все века, чтобы блестело, выглядело прилично. А что там за лакированным фасадом — мало кого интересует.

«Слезы предков...»

Я посмотрю на предков, на их слезы. И настойчиво забьется-застучится один невольный вопрос: «Это только ли наших предков слезы?!»

ЖИВОЕ

Стоны, плачи...

Но у жизни, как бы она ни была тяжела, есть и свои улыбки, удачи, радости. Если долго-долго смотреть на болото, сотворенное Живописцем, то произойдет нечто неожиданное. Ты вдруг увидишь, что болото живое. Почувствуешь запах весеннего багульника. Кому неведом пьянящий запах цветущего багульника! Запах брусничного листа. Запах свежего мха. Запах чистой травы. Сине-голубоватый запах голубики и черники. Запах клюквы. Смолистый запах редкого сосняка. Белый запах стайки берез. И наконец, запах спелой морошки.

Ожившее болото. Не чудо ли это?!

А если пристально взглянуть в салымское болото, то увидишь орнамент, свободный орнамент ва-

ховских ханты. Женщины Ваха выскабливают такие причудливые линии на кузовках и куженьках из бересты. Этот орнамент-узор — символ жизни. Народ сохранил и вынес его из глубины многих тысяч лет.

Если взглянуть, то увидишь все реки и родники жизни хантыйских родов Райшевых, Молдановых, Нимперовых, Лейковых, Покачевых, Каюковых. В общем, все родники жизни народа ханты...

Живые родники. Не это ли чудо?!

Живые урманы. Не это ли удача?!

Живой бор. Не это ли радость?!

Живая земля.

Живая Земля Сотворенной Реки Человека.

И по земле, по многим рекам-родникам пойдут его творения. Сейчас мне припомнилось, как они пришли на мою родную реку, в дом моего Отца-охотника, никогда не державшего в руках «рисующую палочку». Припомнилось, как они обрадовали нас, как они оживили наш дом...

О ЖИЗНИ

Жизнь.

Жизнь будущая — с надеждами.

Жизнь настоящая — тронутая кровавыми красками заката.

Жизнь древняя — в единстве человека с миром, с отголосками гармонии. Как говорили ханты, задревне-задревняя жизнь, когда только зарождался человеческий род, зарождался род Сотворенной Реки Человека, древнего Угра. Быть может, поэтому он так хорошо помнит все древнее, осознает настоящее и остро чувствует будущее.

Когда смотришь на его полотна, приходит мысль: такое может сотворить только гений. Добрый, тихий, незаметный. И жаль, что люди узнают об этом лишь в то время, когда он уйдет от них, когда ему ничего не нужно будет ни от людей, ни от родившей его Земли, ни от Мира сего...

О ПУТИ К ПОКОЮ

«Путь к покою...»

Все мы рождены для того, чтобы найти путь к покою. К счастью это иль к несчастью, но и читатели придут к покою, и зрители придут к покою, и я приду к покою.

Может быть, жизнь — это поиск пути к покою? И возможно, чем раньше осознаешь это, Никому не миновать покоя. И поэтому, как и Сотворенной Реки Человек, найдя путь к покою, нужно осознанно идти по нему до конца, как бы ни была тяжела ноша, как бы ни был тяжек твой крест...

О ВСЕОЧИЩАЮЩЕЙ МОЛНИИ

В то сказочное время детства, когда я жил среди добрых богов — хранителей домашнего очага, когда разговаривал с Громом и Ветром, я свято верил во всеочищающую силу небесных молний. Теперь же уверовал и в неземную, нечеловеческую силу моего сородича, Сотворенной Реки Человека.

Это — раскат Грома.

Это — озарение.

Это — мгновение и вечность.

Это — всемогущий Гром-Старик моего детства.

И слова тут бессильны и никчемны. Только нужно смотреть, слушать и молчать. И быть может, нужно вспомнить свое детство. И будет счастлив тот, кто отыщет свое место в мире Творца, а затем в реальном мире, в котором живет... И быть может, эта книга с крохотной частицей бескрайнего и неумного мира потомка древних Угров раскроет глаза человечеству, и люди увидят, в какое время и среди каких своих сородичей живут. И человечество на пути к покою поймет, что Сотворенной Реки Человек — это всеочищающая молния над рекой нашей жизни...

Бабушка

Мне кажется, Бабушку, Мамину Маму, тоже помню чуть ли не с самого рождения. Правда, в моей детской памяти она то появлялась, то исчезала. Она с мужем, отчимом Мамы, жила то у нас, то в селении Лосинога Рода Людей, Сардаковых. Это выше нас по Агану. Из этого рода был ее второй муж, суровый и сумрачный дядя Никита. Он возил почту между Верхним и Нижним поселками. Я его немного побаивался и при нем старался поменьше резвиться и проказничать. В общем, держался от него подальше. И летом бегал на улицу поиграть с их пестрым псом по кличке Ай Амп, что значит «Малый Пес».

Малый Пес, казалось, настроен ко мне более доброжелательно, я приносил ему чешую от подошвы. А он, повизгивая и помахивая пышным хвостом, пытался лизнуть меня в лицо. И, в отличие от нашего Харко, сразу исполнял мои команды. Если я просил левую лапу — давал левую, если просил правую —

поднимал правую. А Харко церемонился, чем злил меня. Возможно, поэтому я чаще бегал играть с сообразительным Малым Псом. И окраска у него была необычная — белая с палевыми пятнами.

В середине лета, в самое комариное время, когда обоих псов, жалеючи, спустили с цепей, они крепко подрались. И Малый Пес прокусил сбоку шею нашему Харко — на белой шерсти выступила кровь. Получилось, что Бабушкин пес одержал верх. Я неодобрительно косился на него — обидно стало за своего Харко. В отместку за это их опять посадили на цепь. Не оценили они свободы...

После, когда Бабушка осталась одна, она тоже жила то у нас, то у младшей дочери Натали в Верхнем поселке. Натали вышла замуж за довольно зажиточного ненца. У них были олени. Помню, зимой, проезжая по Царской дороге, тетя Натали иногда заворачивала в наш дом. Румяная, молодая, в добротной ягушке, в белых узорчатых кисах, в ярких платках, с упитанной тройкой в упряжке, она смотрела на нас, наверное, как на бедных родственников. Правда, много лет спустя они растеряли своих оленей и все переменялось. Тогда мне вспомнились слова Бабушки, которая часто повторяла: «Зря собаку иль человека не обижай — в жизни, бывает, даже к самому последнему псу с нуждой придешь!»

Что верно — то верно. В нашем доме никто и не думал оспаривать Бабушку.

И после ухода Мамы наша Бабушка также продолжала жить то у нас, то у тети Натали. Когда она приезжала — мы радовались ей. Она готовила нам еду, обшивала нас и обстирывала вместе с нашей старшей сестрой Лизой. Только мне не нравилось, что слишком часто и жалостливо она повторяла:

— Ох, без опоры-связки горькие сиротинушки!..
Ох, без опоры-связки мои сирые сиротинушки!..

Когда ей становилось, видно, совсем немоготу, она говорила:

— Ох, внук Вася мне снится!..

Вася — это старший сын Натали.

После таких слов Отец сам отвозил или с попутчиками отправлял Бабушку в поселок, к Натали. Хотя своенравная, избалованная жизнью Натали, по слухам, не очень-то жаловала свою старенькую мать. Но проходило некоторое время — весна, лето, а бывало, и осень, и когда нам делалось совсем тяжело, отец от имени детей посылал Бабушке устное приглашение посетить нас. И мы с этого дня начинали жить ожиданием Бабушки.

И приезд Бабушки — конечно же, был праздником.

Но мне почему-то больше запомнилось то, как Бабушка жила у нас при Маме. Помню, сидит Бабушка на малых нарах, возле чувала. Волосы белые-белые, как перо халея. Глаза светятся ярким теплым огнем. Голову держит высоко, спину — прямо. Сидит Бабушка перед маленьким столиком — чай пьет. Сидит, как царица. Высокая. Неторопливая. Грациозная. Как теперь я понимаю, в молодости она была очень красива.

Я подсаживаюсь к Бабушке. Она наливает мне чай в маленькую чашечку. Пьем с Бабушкой чай, разговариваем.

— Мамина Мама, отчего у тебя голова такая белая? — спрашиваю я.

— Вот доживешь до моих лет, — неторопливо заводит речь Бабушка, — и твоя голова станет такой же белой. И тогда ты поймешь, отчего голова белеет...

— Ладно, — киваю я.
— Только не спеши...
— Так-так... А откуда ты, Мамина Мама, на нашу Реку приехала?
— А приехала издалека. С реки Турм Явэн.
— С Божьей Реки?! — удивляюсь я.
Турм Явэн, или по-русски Тромаган, переводится как «Божья Река».
— Да, — степенно говорит Бабушка. — У Божьей Реки есть небольшой приток — называется Пиндер Явэн. Там я родилась. А Папу моего, то есть твоего прадедушку по материнской линии, звали Пиндер Явэн Ики — Пиндера Реки Старик...
— Мамина Мама, а у тебя есть братья-сестры или ты совсем одна?
— В семье я была самая старшая, — вспоминает Бабушка. — За мной идет сестра. Голова у нее уже такая же белая, как и моя. Да ты, Роман, наверное, видел ее, мою младшую сестрицу?..
— А кто она такая?
— Это мама Иосифа из болотной ветви Лосино-го рода. Они в верховье Ягурьяха живут.
— Конечно же видел, конечно же знаю ее! — воскликнул я.
— Вот это и есть моя младшая сестрица...
— Она очень похожа на тебя, Мамина Мама!
— Что ж ты думал: одна грудь нас вскормила. Одна мать, один отец нам жизнь дали.
— Я не знал, что это твоя сестрица.
— А теперь знай и помни: моя сестрица — это и ваша родственница, а с родственниками надо жить по-родственному, Роман.
— Мамина Мама, а братья у тебя есть?
— У меня три младших брата есть... Ох-а, я их сто лет уже не видела! Ох, хоть одним глазом взгля-

нуть бы на своих братьев, на всех своих родичей!.. Какое это счастье!..

— Так в гости бы к ним съездила! — наивно предлагаю я.

— На чем?! — почти кричит Бабушка. — На одноглазых хорах-быках?!

На «одноглазых» — значит не существующих.

— А колхоз разве не даст тебе упряжку оленей на одну поездку?

— Колхоз?! — пуще прежнего сердится Бабушка. — Этот жилодер кому, что и когда давал?! Ну-ка, скажи!.. Он только жилы из народа тянет!..

Я не знал, что на это ответить. Но знал другое: почти ни у кого нет своих оленей, а у колхоза есть стада.

— Память у колхоза короче моего мизинца на ноге, — вздыхая и немного успокаиваясь, говорит Бабушка. — Когда колхозу было тяжело, я работала на него днем и ночью. Была колхозная, как все люди нашей Реки. А теперь стала старая, колхозу совсем не нужная...

Бабушка замолкает. Я тоже сижу, молчу. Швыркаю чай.

В глазах Бабушки все еще полыхает огонь гнева. Но постепенно она отходит и, почти совсем успокоившись, говорит мне:

— А ведь ты, Роман, пожалуй, прав: колхоз мог бы мне упряжку выделить, ничего бы с ним не случилось... Сколько я ему сил и слез отдала!.. Да вот с памятью у него не все в порядке — не помнит, кто ему делал добро, а кто зло...

— Может, он того... память у него еще восстановится, — осторожно говорю я Бабушке. — Ну, поумнеет, что ли, и про тебя вспомнит, Мамина Мама...

— А-а-а-а!.. — Бабушка безнадежно машет рукой и твердо добавляет: — Если это когда-нибудь и случится, в чем я крепко сомневаюсь, — то не на моем веку!

Бабушка делает большую паузу, задумывается о чем-то, потом поднимает на меня излучающие тепло очи и неторопливо говорит:

— Наверное, мне уж теперь не придется побывать на моей родной Божьей Реке. Не придется, наверное, своих братьев и родичей увидеть. А у тебя, Роман, впереди долгая жизнь. Коль попадешь на мою родину, обязательно всех моих родственников из рода Тэвлиных разыщи. Слышишь, Роман?

— Да-да, слышу, — отвечаю я.

— Это и твои, и твоих сестер кровные родственники. Так вот, разыщешь их, моих братьев и родичей, разыщешь их детей и, коль я буду жива, передашь от меня слово «Здравствуйте!». Слышишь, Роман?

— Слышу, — говорю я.

— А коль меня на этом свете уже не будет, — продолжает Бабушка, — то расскажешь обо мне и обо всех моих внуках и внучках, то есть о себе и всех своих родственниках на Агане. Ты меня слышишь, Роман?

— Да, — глухо выдавливаю я, потому что мне совсем не хочется, чтобы Бабушка ушла из нашего Среднего Мира.

— А потом в свою очередь расспросишь родственников Божьей Реки о их житье-бытье. Узнай о каждой ветви рода Тэвлиных, поинтересуйся судьбой каждого человека. А когда вернешься домой, все это расскажи своим близким и дальним родичам. Чтобы вы всё знали о своих родственных связях, всё знали друг о друге, понимаешь?

— Ах-а, — киваю я. — Вроде бы понимаю...

— Ладно, подрастешь — все поймешь... — говорит Бабушка.

Мы сидим с ней, пьем чай. Я начинаю расспрашивать ее про своего Деда, Маминого Папу. Кто он был и где жил, кто из его рода остался?

— О, это был мой первый дом... — вздыхает Бабушка.

Она смотрит куда-то вдаль поверх моей головы, будто в прошлое вглядывается. А я медленно плыву по волнам ее голоса и многое-многое узнаю. Оказывается, мой дед Савва еще в начале века сосватал мою Бабушку и привез в свое селение Маут Яун в низовье нашего Агана. В ту пору это было довольно большое селение в устье Маут Яуна, левого притока нашей главной Реки. Там родилась наша Мама. У нее были две сестры. Обе вышли замуж, но через несколько лет их не стало. Из жизни ушел и дедушка Савва. И Бабушка осталась совсем одна-одинешенька. В эти годы пришли русские, стали строить Нижний поселок, который называли Интлетовы. Позже переименовали в Аган. Начали организовывать первый колхоз. Вот тогда Бабушка и хлебнула лиха. Ведь поселок возводили совсем рядом с селением Маут Яун, на противоположном берегу. Всех — никого не спрашивали, хочет или не хочет, — записали в колхоз.

Особенно тяжело пришлось вдовам и одиноким женщинам. Либо оставайся в своем селении и тяни полный план по рыбе или пушнине, либо подражайся на перевозку грузов — в основном рыбы, либо перебирайся в поселок на «русские работы». Это был самый нежелательный вариант. Жили в общем бараке, где один угол, как выражалась Бабушка, на не-

сколько семей приходился. Там Бабушка лес валила, а потом его на постройку новых домов в поселок возила. Ближе к весне, когда распутица начиналась, дрова для всех поселковых учреждений пилила, колола и в длинные поленницы на просушку укладывала. Летом рыбу потрошила и в больших бочках-чанах солила. А когда приходил катер с баржой, эту рыбу на носилках туда загружала, чтобы в город отправить. Зимой она мерзлую рыбу в мешки затаривала и на подводы грузила. Тоже для города. Летом еще и на поле работала — картошку и другие овощи выращивала. Траву для скота косила, а зимой на оленях или конях в поселок ее возила. На скотном дворе за коровами и лошадьми — тут Бабушка говорит неприличное слово — ...выгребала...

Вся работа колхозная — тяжелая, ручная, неженская, вздыхает Бабушка. Кто был послабже — надорвался и умер, кто посильнее — выжил и теперь последние дни свои доживает...

— Это в войну так было? — спрашиваю я.

— И до войны, и в войну, и после войны так было и так есть, — сердито говорит Бабушка.

— А я думал: только в войну...

— Ну, в войну еще тяжелее пришлось — хлеба не было, все по норме...

Бабушка опять поднимает взгляд, смотрит поверх моей головы в прошлое и опускает на меня веские слова:

— Тяжелее русской работы на этом свете нет ничего...

И, словно пытаясь взлететь, избавляясь от тяжести, она невольно встряхивает кисти рук. И из недалекого прошлого переводит на них свой взгляд.

— Болят? — спрашиваю я сочувственно.

Бабушка, иронически глянув на себя сверху вниз, усмехается над собой:

— Если начнешь считать боли старых людей — концов не сыщешь...

Она сделала паузу, потом добавила:

— Поэтому нечего их считать...

При всем при том, как это ни странно, сколько я себя помню, Бабушка ни разу не пожаловалась на боли и болезни. Ни разу, помнится, она и не болела. Охать-то она охала — но больше всего от удивления и негодования. Реже — от досады.

— А как русские женщины русскую работу терпят? — спрашиваю я Бабушку.

Бабушка призадумывается, молчит. Потом говорит:

— Их за много веков приучили к русской работе. Так я думаю.

— А кто приучил их?

— Ах, Роман, все тебе хочется знать!.. — ворчит незлобиво Бабушка. — Кто-кто?! Наверное, русские мужчины приучили. Жизнь нелегкая приучила... Кто еще?!

— А дела у ханты легче, да?

Обычно четко подразделялись эти понятия: у ханты — дела, а у русских — работа. Дела — это и охота, и рыбная ловля, и выпас оленей, и постройка дома, и шитье одежды, и уход за ребенком, и многое-многое другое. В общем, все то, без чего невозможно прожить...

— Дела у ханты, может быть, и не легче, но они привычны нам, мужчинам и женщинам, — говорит Бабушка.

— А кому они непривычны?

— Тем, кто не ходил по нашим тропам-дорогам, кто не знает наш язык и быт, кто не знает нашу жизнь...

— Значит, таким наша жизнь покажется тяжелой, да?

— Да, конечно. Как вот мне в поселке...

— О чем ты в поселке думала, Мамина Мама?

— О чем думала?.. Да о многом. Главное, о том, что человеку нужно. А ханты-человеку нужно, чтобы Земля с птицами-зверьями, с травами-деревьями, с ягодами-шишками была. Чтобы Воды-реки-озера — с рыбами-птицами, с рыбами-зверьями были. Чтобы Дом с женщинами-мужчинами, с детьми-девочками, с детьми-мальчиками был. И чтобы жил ханты-человек так, как велит ему Солнце, Разум и наш Верховный Турм...

Бабушка, словно прислушиваясь к своему внутреннему голосу, долго молчит. Я же за это время готовлю ей новый вопрос:

— Что же дальше было с тобой, Мамина Мама, в Нижнем поселке — Интлетовых?

Бабушка будто не слышит меня, все молчит. Но потом, как бы очнувшись, переспрашивает меня и продолжает свой рассказ. Оказалось, в ту пору одним из «почтовых» людей стал дядя Никита из рода Лося. Его в семейном кругу еще звали «Икэлы» — что значит «Мужичок» или «Старичок». Так вот, Икэлы сосватал и привез бабушку в свое селение возле Верхнего поселка.

— Таким образом я попала во второй дом, — вздыхает Бабушка. — А жизнь людей Верховья Реки была так же тяжела, как и в Низовье. Тут колхоз, и там — колхоз. Тут неволя, и там — неволя. Одно и то же и тут, и там. Все одинаково. Только колхозы назывались по-разному: в Верхнем поселке — имени

Кирова, в Нижнем — имени 1 Мая. Но от этого не легче никому.

— Во втором доме появилась моя младшая дочь Натали, — вспоминает Бабушка. — Она из речной ветви рода Лося — родная сестра вашей Мамы. А ваши кровные родственники по Маме, — Бабушка кивает на меня и моих сестер, — это все люди реки Маут Яун, это все Покачевы из низовья Агана...

— Сколько же у дедушки нашего родственников было? — задаю я вопрос.

— Кто ж их считал! — удивляется Бабушка. — Да и грех считать живых людей...

— Ну, а братья-сестры были у него?

— Конечно же были. В самом селении Маут Яун трое младших братьев вашего дедушки жили. Те братья своих детей имели. У тех детей — свои дети есть. И все они — ваши родственники!..

— Сколько же у нас родственников?..

— А разве плохо иметь много родственников?

— Наверное, хорошо.

— Только жить нужно с ними по-родственному, — напоминает мне бабушка. — По-родственному, по-человечески!..

— Что же, могут жить и не по-человечески?

— Бывает, родственники близкие, а друг на друга не смотрят, будто чужие, — говорит Бабушка. — Вот такое в жизни не годится.

— Я буду смотреть на своих родственников, — уверяю я Бабушку.

— А, все вы так говорите, пока малые, — ворчит Бабушка. — А как вырастете — редко кто родственников вспомнит...

Хотя Бабушка и ворчит, но я вижу, что она довольна моими словами.

Многое мне нравилось в Бабушке. Нравилось то, как она разговаривала с моим Отцом: всегда уважительно, с большим тактом и вниманием. Правда, и Отец в разговоре с ней держался так же, как и она с ним. Они между собой строго соблюдали обряд избегания: обращались друг к другу только на «вы», исключив из лексикона все неблагозвучные и вульгарные слова и обороты речи. Бабушка за низко опущенным платком прятала свое лицо, а Отец, входя в дом, еще за дверями легким покашливанием предупреждал о своем появлении.

Бабушка никогда сама не ввязывалась в мужской разговор, если кто-то к нам приезжал. Но ежели спрашивали ее мнение, она всегда отвечала с достоинством, твердо и уверенно, как равный равному.

Сидим, пьем с Бабушкой чай, разговариваем. И хотя на ее столике та же еда, что и у нас, но все у нее кажется мне вкуснее. Ведь я у нее как бы в гостях, она меня угощает. Словно невзначай, почти незаметно для меня, поддвигает на мой конец столика жаренную на колышке рыбу, есть которую я не собирался. Но она на таком расстоянии, что не взять ее нельзя. А отодвинешь — хозяйку обидишь. И я беру рыбу и не замечаю, как от нее остаются лишь ребрышки и хребтина. Потом появляется сахарница. Тут я сахару могу слопать столько, сколько мне угодно. Ведь я гость — лицо неприкосновенное, почти священное для хозяйки. Стало быть, что бы я ни делал, никто ничего мне не скажет, ни в чем не упрекнет. Но в то же время я знаю, что нельзя Бабушку оставлять без сахара. Знаю, что в гостях нельзя брать последний кусок с тарелки. Знаю, что в гостях нужно держать себя скромно и солидно, чтобы после твоего ухода или отъезда о тебе в этом доме отозвались хо-

рошо. И поэтому я стараюсь держать себя так, как и подобает настоящему гостю...

У Бабушки много интересных вещей. Есть у нее и заварной чайничек с длинной, как у куропатки, шейкой-носиком. Правда, он поменьше куропатки. Но такой же белый-белый. Наверное, если эта птица болот при опасности съежится и притаится в ямке возле кочки, то в точности напомнит Бабушкин чайничек. Бабушка осторожно берет его двумя руками и наливает мне чай. И он кажется мне особенно ароматным и вкусным.

— Откуда твой чайничек, Мамина Мама? — спрашиваю я.

— О-о, он еще с Белого Царя времен! — торжественно произносит Бабушка, оглядывая чайник.

— Как он к тебе от Белого Царя попал?

— Мой Папа — твой дедушка после твоего деда, Пиндер Яун Старик, — из города привез.

— Из какого города?

— Из Сургута-города.

— Он там с Белым Царем встречался?

— Про то, встречался там он с Белым Царем или нет, ничего не скажу. А вот о том, как он туда каждый год на ярмарку ездил, рассказать могу...

— Расскажи...

И Бабушка начинает рассказ. Когда у нее хорошее настроение, ее рассказам нет конца. Я молча удивлялся: все она помнит, все она знает. Наконец Бабушка замолкает. Но у меня для нее уже готов новый вопрос:

— Чего тебе больше всего хочется в жизни, Мамина Мама?

— Светлого Неба...

Это значит — Жизни, понял я.

— Сколько ни живи — все мало, — грустно вздыхает Бабушка. — Чем дольше живешь, тем больше хочется жить. Тем Жизнь милее...

— Так вечно живи, Мамина Мама, — говорю я. — Ведь ты никому на Земле не мешаешь...

Бабушка ненадолго задумывается, потом поднимает голову. Ее глаза излучают тепло.

— Конечно же буду жить, — улыбнувшись, уверенно говорит она и, обводя взглядом весь дом — Маму, моих сестер, меня, добавляет: — Во всех вас буду жить. Вашими глазами на Солнце и Луну буду смотреть. Вашими ушами Небо и Землю стану слушать...

И, уловив мой молчаливый вопрос, поясняет:

— А потом... в ваших детях буду жить. Глазами ваших детей на Светлое Небо стану глядеть...

— А после?..

— После в детях ваших детей буду жить. Их глазами Небо и Землю увижу. Их ушами Мир услышу...

— И так вечно будешь жить?

— Да, вечно буду жить...

И я поверил в вечность ее бытия. Разве я мог представить себе жизнь без Бабушки?! Конечно же не мог. И это, вероятно, было одно из самых прелестных мгновений детства...

Нани и Порнэ

Вечером у тихого и таинственно мерцающего чужака Мама вспоминала про Нани и Порнэ. В древние-древние времена, рассказывала Мама, на заре зарождения Человека и Жизни, заспорили между собой Нани и Порнэ. Заспорили, какой быть Земле и водам.

Нани: «Пусть будет по-моему: чтобы одна сторона реки текла вниз, а другая — вверх».

Порнэ: «Нет, быть по-моему, пусть обе стороны реки текут вниз!»

И с той поры все реки потекли в одну сторону, вниз. И воды нашего Агана в том числе.

Я прислушался к шуму медленных вод нашей реки. Хотелось представить, как воды у одного берега катятся к устью, а у другого — к верховью. Хорошо это или плохо? Я чувствовал, что, наверное, хорошо. Ведь Нани Нэ — это добрая сказочная женщина. Красивая. Скромная. Тихая. Она всегда желает людям только Добра. Стало быть, Добрая Фея хотела сделать для людей что-то хорошее. На всякий случай я решил уточнить это — спросил у Мама:

— Что нам вверх идущая вода реки дала бы?

— Как что? — удивилась Мама. — Нам бы жизнь облегчила.

— Каким образом?

— Надо ехать вверх — переплываешь на ту сторону реки, которая течет к верховью. Надо вниз — переезжаешь к берегу, где вода идет к устью.

— Не надо против течения лодку бечевою, — вставляю я.

— Да, мы не мучались бы с бечевою, — подтвердила Мама.

Она-то знала — каково бечевою тянуть лодку против течения. Мы со старшей сестрой пытались помочь Маме и Папе, когда они выходили на песок с бечевкой. Но нас хватало ненадолго. Лодку надо было разгонять, чтобы она набрала скорость. Для этого нужно довольно бойко перебирать ногами. А мы быстро отставали.

Я размышлял о Нани Нэ — Нани Женщине. Ее имя означает Белый Березовый Гриб. Беяк. Гриб этот мне тоже нравится. Растет на старых березах. В отличие от трутовика, он мягкий, приятный. Иногда мой старший брат Галактион приносил домой нани-гриб. Из него обычно делали различные пробки. А в старину же, сказывают, сушили на трут. С помощью трута и кресала добывали Огонь...

Мама строго следила, чтобы куски гриба не разбрасывали по дому, чтобы они не попадали под ноги. Мы с братом собирали крошки, мелкие ненужные кусочки и уносили их в «чистое место», за «спину» дома, и там высыпали под дерево, куда не ступала нога человека.

А Нани и Порнэ все спорят, все решают, какой быть Земле, какими быть водам.

Нани: «Пусть будет по-моему: одна сторона реки водой течет, другая — рыбьим жиром, звериным жиром течет...»

Порнэ: «Нет, быть по-моему: пусть обе стороны реки водой текут!»

С тех слов Порнэ все реки потекли водой, а не рыбьим жиром, не звериным жиром. И наш Аган в том числе.

Какое добро Нани хотела сделать людям!

Чтобы все были сыты.

Чтобы всегда были сыты.

Это я понимаю, поэтому ничего не спрашиваю у Мамы.

Ах, Порнэ, что ты наделала?! Впрочем, ничего другого от нее нельзя было ожидать. Из сказок я уже знаю, что Порнэ — из рода нечистой силы, женщина

из рода чертей. Бестолковая. Бестактная. Неопрятная. Словом, полная противоположность Нани Нэ. Женщин, которые все делают шиворот-навыворот, называют Пор Нэ. Значит, Пор Женщина. Таких же мужчин иногда могут назвать Пор Ко, что значит Пор Мужик. Хотя в сказках Пор Ко не встречается, зато в жизни есть.

Мне не по нутру слова Порнэ, поэтому я спрашиваю Маму:

— Почему слова Порнэ верх берут, а слова Нани Нэ внизу остаются?

— Это чтобы мы, люди-ханты, горе мыкали...

— А зачем это?..

— Такой Горя Век наступил. И в старину, сказывают, такое бывало. Хороший Век сменялся Веком Болезней, Войн, Большой Воды — Потопом... И сейчас такое время пришло — человек не может жить так, как он хочет. Это нельзя, то — нельзя... Разве это жизнь?!

О том, что «нельзя», — я знал.

Торыму, Верховному Богу, молиться нельзя.

И нашей Аганской Богине молиться нельзя.

Домашним Богам молиться тоже нельзя.

Шаманить — нельзя.

Устраивать Медвежью Пляску-Праздник — нельзя.

Детей в дальнюю школу-интернат не отдавать нельзя.

В родовых селениях в лесу, на своих угодьях, тоже жить нельзя. В ту пору всех охотников и рыбаков тянули в поселки, на центральные усадьбы колхозов. Нарушение этих «нельзя» каралось довольно сурово. Из районного центра Сургута приезжал «С Малым Ружьем» — милиционер ли, энкавэдэшник ли, — избирал шаманов и всех других, кто с помощью Богов

насылал порчу на Советскую власть и Больших Красных Людей... Вот и получалось, что наступил Век Торжества Порнэ — все шиворот-навыворот шло...

Те, кого увозили, больше не возвращались. Воистину Страданий Век, вздыхала Мама.

— Когда же кончится этот век? — спросил я Маму.

— Когда-нибудь кончится...

— И тогда слова Нани Нэ возьмут верх?

— Да... Вернее, ее дело, — уточнила Мама.

— А скоро ли придет это время?

— Кто знает... Но после Века Горестей и Печали придет Хороший Век — Время Нани Нэ...

— Время сказочной Нани Нэ?

— Да...

— Время Добра?

— Да, Время Добра...

В ту пору Добро представлялось мне таким же хрупким, скромным и нежным, как и лесная красавица Нани. Как и ей, нам всем несладко пришлось в Век Торжества Порнэ. И поэтому мы все жили ожиданием Времени сказочной феи Нани Нэ...

Бабушкина Сестрица

В то лето семья Иосифа из рода Лося летовала в нашем селении. Говорили, что колхоз повелел дяде Иосифу порыбачить «одним неводом» с нашим отцом. Поэтому он вынужден был сняться с родового гнезда на Ягурьяхе — делать нечего, что командует колхоз, то немедля и исполняй.

А мы рады гостям и новым соседям.

Они остановились на острове, возле тесового дома моего Крестного. Поставили там берестяной чум.

Это временное жилье, на одно лето. Понадеялись, что в следующем году колхоз оставит их в родовом селении на Ягурьяхе.

Через день или два старший брат Галактион передал нам:

— Бабушкина Сестрица просит зайти в гости!

И мы со старшей сестрой Лизой отправились к Бабушкиной Сестрице, дяди Иосифа Маме. Жили они через протоку от нас, чуть ниже по течению. К середине лета протока почти пересыхала, и мы перешли ее вброд.

Бабушкина Сестрица, увидев нас, совсем по-бабушкиному завздохала и заохала. Она расцеловала нас и усадила на свою половину чума. Потом, как перед настоящими взрослыми гостями, поставила столик и стала нас потчевать чаем. Дело в том, что, когда дети приходят в гости, их просто чем-нибудь угощают. А чай и стол специально для них не готовят. Только вот Бабушкина Сестрица принимала нас как взрослых. Она расспрашивала нас обо всем. Как мы живем? Что едим? Что носим? Как себя чувствуют наши младшие сестры, которых мы оставили дома?

На правах старшей на вопросы отвечала сестра Лиза. Я сидел по-гостевому, помалкивал, пил чай. Раскрывая рот лишь в том случае, если напрямую обращались ко мне. Всё же новые люди, надо к ним приглядеться.

Вначале я больше всего смотрел на Бабушкину Сестрицу. Удивительно, но она как две капли воды похожа на нашу Бабушку. Не отличишь. Такая же высокая, седая, стройная. Такая же быстрая и легкая на подъем. Глаза также светятся теплым огнем. Даже говорит она Бабушкиным голосом. Я слышу голос моей Бабушки, которая уже покинула нас, поки-

нула Средний Мир людей. Но голос ее звучит. Голос ее живой. И сама она будто живая. Только живет не у нас, а в доме Иосифа из Лосинового рода. Почему она живет не в нашем доме?! Как хорошо было бы, живи она у нас!..

Так я заворуженно смотрел на Бабушкину Сестрицу, на частицу нашей Бабушки.

Вскоре я убедился, что в этом чуме она тоже нужна. Вокруг нее вились внучки Лида и Валя, а на меня ревниво косились. Тянулся к ней и что-то лопотал младший внук Егорка. Но она отмахивалась от них: мол, дайте мне с моими гостями поговорить, с внуками моей Старшей Сестрицы. Те нехотя возвращались на материнскую половину чума.

Бабушкина Сестрица все подливала нам чай. И мы с сестрой все сидели за столом, потому что нам не хотелось уходить. Разговор в основном вела хозяйка. Мы только отвечали на вопросы.

Так за чаем Бабушкина Сестрица выяснила, что одно из самых трудных дел нашей жизни — это шитье одежды и обуви. Сестре Лизе было в ту пору всего одиннадцать или двенадцать лет. И она не успевала нас всех пятерых обшивать.

Помню, в какую-то слякотную осень, после первого снега, Лиза со слезами на глазах сидела над подошвами моих кисов — зимней меховой обуви во всю длину ноги. Она никак не могла проткнуть иглой-трехгранкой толстую, жесткую кожу. А я ходил вокруг нее, торопил и, возможно, ныл, потому что не мог выйти на улицу. Это была моя единственная пара кисов...

Погостив, попив чаю, мы собрались домой. Бабушкина Сестрица с внучками вышла на улицу проводить нас. На прощание она сказала:

— Приносите мне шитье. Я вам что-нибудь сошью.

— Когда приносить? — спросила сестра Лиза.

— Да хоть завтра.

— Хорошо.

— Хоть мои глаза и стали плоховаты, да вот, если что сложно, Лидина Мама поможет, — Бабушкина Сестрица кивнула на свою невестку, жену сына Иосифа.

— Приносите, поможем, — сказала Лидина Мама. — А Бабушка наша напрасно свои глаза видит — в домашних делах она еще ловчее многих молодых!..

— Ах, где мои глаза молодости! — вздохнула Бабушкина Сестрица. — Где мои руки молодости!..

Я, конечно же, не знал, где ее глаза и руки молодости. Рад бы помочь, да как?! Лишь бы у нее хватило глаз и рук!..

Мы с сестрой пошли домой. На переправе через протоку я оглянулся. Бабушкина Сестрица стояла возле чума и смотрела нам вслед. И наверное, совсем по-Бабушкиному причитала: «Ох, без опоры-связки горькие сиротинушки! Ох, без опоры-связки сырые сиротинушки!» При нас она эти слова не говорила, а после нашего ухода вполне могла сказать. Мне понравилось, что она обходилась без жалостливых слов. Становилось не по себе, когда нас слишком жалели. Возможно, Бабушкина Сестрица знала об этом, поэтому и пощадила наше самолюбие.

С того дня через пересыхающую протоку мы с сестрой Лизой стали ходить к Бабушкиной Сестрице, носили ей шитье. Я не помню, что она шила для моих сестер. А то, что сделала для меня, — хорошо помню. Это и новая рубашка, и малица комариная, и подошвы к нырикам — летней обуви из оленьей или ло-

синой замши. «Вот сошью это, — говорила она, — и приносите еще что-нибудь. Приносите, пока глаза мои видят, пока пальцы мои гнутся...»

Так все лето мы ходили к Бабушкиной Сестрице.

Возможно, мои сестры с удовольствием играли бы с ее внучками. Но нас разделяла протока, и младших без присмотра никуда не отпускали. А Лида, старшая внучка Бабушкиной Сестрицы, оказалась на два года младше меня. Однако в школу мы с ней пошли в один год, в одну осень, в один класс — подготовительный. Видно, уродилась она в свою бабушку. Была такой же живой и быстрой, как и Бабушкина Сестрица. Черты лица такие же приятные, как и у Бабушкиной Сестрицы. И характером напоминала Бабушкину Сестрицу. Помнится, на удивление всей школе Лида на лыжах обгоняла многих мальчишек.

Как-то Бабушкина Сестрица устремила свои светящиеся глаза на мою грудь и спросила:

— Роман, что ты там спрятал на груди?

Я стушевался и ничего не сказал. На помощь пришла моя сестра Лиза. Она пояснила:

— Ничего там нет. Это у него малица такая.

— А я подумала, он там шитье прячет, стесняется отдать мне, — сказала Бабушкина Сестрица.

— Шитье мы уже отдали вам, — напомнила моя сестра.

— Помощи стесняться не надо, — проговорила Бабушкина Сестрица.

Я смущенно улыбнулся. Дело в том, что короткую меховую малицу перешили мне из старой одежды уже после ухода Мамы. Но раскроили, видимо, не очень ладно. На верхнюю переднюю часть пришелся лоскут шкуры с густой шерстью — поэтому грудь

у меня, как говорится, выпирала колесом. Это и привлекло внимание Бабушкиной Сестрицы. Стоило ей глянуть на меня, и она подметила все неполадки в одежде ребенка.

Солнце стало скупее.

Вечера наполнялись прохладой.

По утрам начал выпадать иней.

Пришла осень.

Семья Иосифа из Лосинового рода собралась к себе домой, на Ягурьях. Они погрузили свои вещи на большую лодку-неводник и на веслах стали выплывать из нашей протоки. На Агане, против течения, они пойдут бечевой по пескам. Дня три-четыре будут добираться до дому.

Бабушкина Сестрица сидела в середине лодки и смотрела на нас из-под платка. Мы с сестрами стояли на пристани и смотрели на нее. На прощание, отдавая нам последнее шитье, она сказала своим ясным и чистым голосом:

— Уйду в Другой Мир, и, может, когда и помянете меня добрым словом...

Мы все были ей очень благодарны, но ничего не сказали. Потому что об этом не принято говорить в словах. Только грустно улыбнулись. От Бабушкиной Сестрицы веяло родным, веяло теплом. И рядом с ней мы не чувствовали себя одинокими.

Прожила Бабушкина Сестрица долгую жизнь. Долгую и трудную. Спустя несколько лет умерла ее невестка, Лидина Мама. И на руках у Бабушкиной Сестрицы осталось четверо сирот. Последняя внучка была совсем мала. Бабушкина Сестрица всех вырастила, старших выдала замуж и стала прабабушкой. Прабабушкой прожила еще немало лет и зим. После оставила нашу Землю и наше Небо. Где и когда меня

застала весть о ее уходе из Среднего Мира — до сих пор не припомню. Где нашла она последнее пристанище — в верховье ли Ягурьяха, на реке ли Агане, в Верхнем ли Поселке, — до сих пор не знаю. Даже в сознание тогда не пробилось, что не стало ведь Бабушкиной Родной Сестрицы, частицы нашей Бабушки на Агане.

Ох, коротка человеческая память, коротка!

Ох, поздно просыпается человеческий разум, поздно!

А ведь она помогла нам выжить...

III

ОСЕНИ

Олени Деда

Шли мы с Отцом по Большому Яру. Заросший давно возмужавшими соснами, яр с одной стороны круто нависал над Протокой Болотной Стороны, а с другой — обрывался над болотным сором. Наверху, на остром мысу, ямы и рвы под соснами. Это следы древнего городища, селения Арэх Ях — Песенных Людей. Так их называют в наших сказках и мифах.

Мы молча постояли на мысу и, в поисках оленей, направились в сторону Осеннего Селения.

Была осень. Было влажно. И белый сочный ягель на обочине тропы, если мы наступали на него, тотчас же распрямлялся. Тропа, усыпанная оранжевой хвоей, зарастала брусничником. У Отца осталось мало оленей — и они, видно, теперь редко заходили в эти укромные уголки Домашнего Бора.

Мы шли на восток. Справа, под склоном, тянулся сор — ровное чистое болото. А слева стлался белый ягель с кустиками брусники под сенью притихших сосен. Потом мы подошли к чуть заметному взгорью, густо покрытому молодыми соснами. Среди них виднелись два-три покосившихся столба, по-

крытых мхом-лишайником. Отец повернул в ту сторону голову и, замедлив шаг, сказал:

— Зимний дом твоего Деда тут стоял...

Я подошел к столбам. На месте дома осталось углубление почти квадратной формы — пол и нары. Все уже давно заросло ягелем.

— А когда тут жили? — спросил я Отца.

— Много лет назад...

— Ты помнишь, как вы тут жили?

— Да, на моей памяти мы здесь жили...

Немного помолчав, Отец достал табакерку, осторожно, чтобы не рассыпать табак, открыл ее. Я же оглядывал заброшенное селение — нет ли где еще следов жизни: оленьих рогов и черепов на деревьях, старых нарт, основания хлебной печи за коралем и многого другого, что остается после человека на земле. Но все почти стерто временем, все покрыто белым ягелем. Ягелем, который так любят олени. И я спросил Отца:

— А у моего Деда сколько оленей было?

— Когда мы жили здесь, было у Деда около ста оленей...

— Можно было на них прожить?

— Прожить было можно.

— Когда олений род Деда кончился?

— После того как его не стало — в тяжкие колхозные времена...

Отец снова помолчал.

Хорошее место, подумал я. И пока мы стояли, мысль моя обежала все четыре стороны света. На север — бор, болото с реками и озерами, затем большая река Ватъёган, где древнее селение моего Деда. В сторону Восхода Солнца — белоягельные боры до самого верховья реки Аган. На полдень — сор болотный,

Протока Болотной Стороны, Аган, черные урманы. В сторону Захода Солнца — бор, Священный Ручей, снова бор... И возможно, моему деду Роману, кроме всего этого, больше ничего не нужно было...

— Твой Дед не был ни богатым, ни бедным... — сказал Отец. — По его словам, и у Прадеда твоего тоже было столько же оленей. Не много и не мало...

И мы пошли дальше.

Олени Деда когда-нибудь вернутся к тебе, внушал мне Отец, шагая по древней, зарастающей брусничником тропе. Удачливым он был, скорым он был. А удача бесследно не уходит, бесследно не исчезает. Стало быть, дедовская удача достанется мне, его единственному внуку. Значит, его олени рано или поздно вернутся на мое пастбище. Так было испокон веков. И теперь, шагая за Отцом и слушая его, я уверовал в то, что так будет и в скором времени.

— Если, конечно, будет у нас Земля, — закончил свою мысль Отец и повернул голову в сторону Протоки, за которой тарахтел вертолет, летавший по буровым.

Тогда я не обратил внимания на вертолет, беспокоивший моего Отца.

Я думал об оленях моего Деда, о его оленьем роде. Был уверен, что придет время — и по этим зарастающим тропам побегут олени. Я слышал стук их копыт, звон их рогов, говор их между собой. Без оленей я не мог представить тогда нашу Землю и человека на ней.

Мы шли с Отцом по тропе. И я слышал, как паслись в бору невидимые олени моего деда Романа...

Божий Хлеб

— Наш Верховный Бог-Отец из снега сделал муку, — рассказывает брат Галактион. — Но наступило лето — и мука растаяла. Тогда снова Он взялся за дело. Тоже ничего не вышло. И только на третий раз Бог сотворил муку. Так люди получили хлеб — скзывали наши древние старцы...

Вопрос: «Хлеб откуда взялся?!» — я сначала задал Маме. Она отослала меня за ответом к Отцу, Отец — к брату. А брат вспомнил то, что слышал о первохлебе от бабушек-дедушек.

Наверное, хлеб больше всех нуждается в помощи, размышлял я. Ведь Мама часто говорила: «В помощь хлебу!» Порса, мелко толченые кости копченой рыбы, — в помощь хлебу. Костный жир, вытапливаемый весной, — в помощь хлебу. Ягоды летом-осенью — в помощь хлебу. Стало быть, хлебу надо помогать. Стало быть, хлеб надо беречь. Хлеб надо уважать.

Мама уважала хлеб.

Мама берегла хлеб.

ХАНТЫЙСКИЙ ХЛЕБ

Мама обычно пекла нам «хантыйский хлеб» — тонкие и круглые, как Луна на небе, лепешки. Я любил смотреть, как она делала хлеб. Вот замешивает тесто на бульоне или на ухе. Вот обваливает кусок теста в муке — получается шарик с выдровую голову. Берет горячую сковороду, чуть посыпает мукой и кладет туда «выдровую голову». И ладонью, легонько надавливая сверху, разглаживает тесто ровным слоем по всему дну сковороды. Потом ножом или палочкой выдавливает на лепешке прямые строчки — тре-

угольные ямки, очень похожие на глухаринные следы на песке. Будто Глухарь, красивая и важная птица, прошел по нашему хлебу и скрылся в своей укромной лесной чаще. Мне очень нравились «Глухаря следы» на хлебе. Бывало, Мама доверяла мне нож или палочку, и я старательно выводил «глухаринные следы» — строчка к строчке.

И на обратной стороне, когда хлеб переворачивали, ставились такие же следы.

— Зачем ты следы на хлебе делаешь, Мама? — спросил я.

— Наши древние так хлеб пекли, — ответила Мама.

— А для чего эти следы?

— Чтобы, наверное, хлеб лучше пропекался, до самого нутра...

— А может, для красоты?

— Может быть — и для красоты, — согласилась Мама.

— Ведь красивый хлеб вкуснее, да?

— Да, конечно.

Тут Мама сняла со сковороды хлеб и осмотрела его со всех сторон. Потом, прислонив к колышку и подложив снизу щепочку, поставила хлеб у огня. Теперь нужно дожарить те края, которые не совсем хорошо пропеклись.

Хотя хлеб был из ржаной муки, но получался светлым, почти белым, как Луна на дневном небе. Потому что вывалян в муке и сковорода посыпана мукой. Такой хлеб печется на скорую руку. Или когда нечем смазать сковороду — нет жира. Обычно же на смазку идут жирные щучьи потроха. В этом случае тесто кладется в сковороду плоской лопаточкой, а верх разглаживается ложкой, которая обмакивается в чашку с водой. У такого хлеба корка не светлая, а темно-ко-

ричная. Тут, бывало, я дождался последней лепешки. Мама оставляла на дне сковороды кусочки потрохов. Они вдавливались в тесто и напитывали корку свежим жиром, отчего хлеб становился особенно вкусным.

Есть и третий способ выпекания хантыйского хлеба. Тесто кладут на сковородку толстым слоем и, когда оно пропечется с двух сторон, делают вдоль края, по всему кругу, надрез. И суровой ниткой разрезают лепешку на две половинки. Получаются два хлеба. У каждого с одной стороны корка, с другой — мякоть. На мякоть ножом наносят косые, крест-накрест, линии. Потом, прислонив к кольшку, хлеб поджаривают на открытом огне. При подсыхании на мякоти начинает вырисовываться своеобразная сетка. Как я понял, сетка заменяет здесь «глухаринные следы»...

Выпекая двойной хлеб, хозяйка экономит свое время.

А сейчас я сижу и жду, когда хлеб испечется. И Мама отломит мне краюху горячего хантыйского хлеба из Божьей муки.

С ИКРОЙ ХЛЕБ

Изредка, обычно под осень, Мама выпекала хлеб с икрой. Замешивая тесто, добавляла туда свежую икру. После обычного хлеба икряной казался нам особенно вкусным. Можно было в мякише разыскать целые икринки, а на корке — пропеченные. Мы с сестрами любили икряной хлеб. Он напоминал нам веселую рожицу с забавными веснушками-икринками. Лежа на кухонной полке, он, казалось, озорно подмигивал: «Попробуй съешь меня! Попробуй достань меня!»

Будто с икрой хлеб был живым.

Почему он появлялся в нашем доме под осень? Наверное, в предзимние дни Мама выкраивала свободные минуты, чтобы испечь такой хлеб. Ведь оставались позади тяжкое комариное время и хлопотная пора сбора ягод. Там не до изысканных яств — быть бы живу. Вся наша семья держалась на Маме. Отец же все лето был занят с утра до вечера: колхоз требовал рыбу, рыбу и еще раз рыбу. Только поздней осенью, перед самым ледоставом, у Отца выпадало несколько свободных дней, и он мог половить рыбу для дома, чтобы запастись ею хотя бы на перевозимье. Рыбу потрошили и подвешивали на вешалах. Становилось настолько прохладно, что ее не нужно было ни коптить, ни солить. Она и так не портилась.

В эти дни в доме появлялась икра. И мы с сестрами просили:

— Мама, испеки нам марн нянь!..

Марн — икра, нянь — хлеб. С икрой хлеб.

И Мама замешивала тесто, чтобы порадовать нас веселым веснушчатым хлебом с икрой.

КРОВЯНОЙ ХЛЕБ

Зимой Мама иногда выпекала кровяной хлеб. В бульон, где замешивала тесто, добавляла оленью или лосиную кровь. Такой хлеб выпекался на сковороде. Получался он строгим-престрогим, черным-пречерным, как осенняя ночь. От него веяло чем-то далеким, старинным, сказочным. На вкус он был довольно своеобразным. Но я, помнится, вкушал его с удовольствием. И на трапезе восседал с видом тихим и смиренным пред строгим ликом этого древнего хлеба.

Возможно, наши предки впервые испекли такой хлеб много веков назад.

КОТЛА ДНА ХЛЕБ

Выпекала Мама из белой муки и котла дна хлеб. Еще называли его котлодонный хлеб, или с жиром хлеб. Главное тут — котел. И котел не просто с ровным дном, а из хорошего металла. Мама предпочитала котлы времен Белого Царя из «ханты вах» — хантыйского металла, то есть меди. Красноцарские же котлы из чугуна не годились — хлеб в них пригорал.

Я смотрю, как Мама хлебной лопаточкой укладывает тесто на дне шипящего жиром котла и разглаживает его. А котел шипит, урчит, словно тихую песенку напевает, похожую на молитву. Проходят мгновения — и хлеб оживает. Начинает шевелиться и приподнимается. Особенно посередине тянется вверх, словно пытается выскочить из котла. Тут Мама берет йангк — заостренный прут для приготовления подоушки на открытом огне — и острием проделывает в хлебе пять–семь отверстий. Из них с шипением вырываются жир и пар. Хлеб опускается на дно и успокаивается. И котел продолжает свою ровную песню-молитву.

Потом Мама переворачивает хлеб на другую сторону.

И вот из медного котла выходит вкусный ярко-золотистый хлеб, похожий на солнышко. В доме от него становится светлее и теплее. Это я чувствую и вижу. Это чувствуют и видят и мои сестры. Это же, наверное, чувствуют и видят и Мама с Папой.

Солнышко-хлеб.

Чудо-хлеб.

Праздник-хлеб.

Обычно с таким хлебом, собрав на стол все лучшее, устраивали пир для домашних богов. Сначала боги вбирали дух нашей пищи, а потом за стол сади-

лись мы, люди. И после таких праздников нам всегда становилось легко и весело...

К сожалению, котлодонный солнышко-хлеб Мама выпекала довольно редко. В те послевоенные годы ржаная-то мука не всегда была, не говоря уже о пшеничной мелкого помола, из которой создавался божественный чудо-хлеб.

РУССКИЙ ХЛЕБ

Делала Мама и русский хлеб. Это немного сложнее, чем печь хантыйский хлеб. Вернее, времени и хлопот нужно побольше. Первым делом на дно хлебной берестяной кадки Мама ставила закваску. Выждав день-другой, замешивала туда тесто. Зимой, завязав верх чистой тряпкой, укутывала кадку теплой одеждой, обычно меховой ягушкой, чтобы тесто в тепле быстро поднялось.

Помню, впервые я увидел, как делается русский хлеб, летом, жарким, безоблачным днем. Мы летовали с аганскими рыбаками на дедовских местах на реке Ватьёган, на берегу огромного, как море, озера Имнлор. С одного берега не видно другого. Наверное, поэтому дали ему имя, которое в переводе с хантыйского языка означает «Священное Озеро».

На болотистом берегу, в багульнике, стояла избушка. А рядом с ней наш временный «тундэх хот» — берестяной дом. Между домами на жердинах дремали нарты. Под кормой одной из них, как мы говорили, сидело эмалированное ведро с тестом. Почему ведро? Наверное, не привезли с собой берестяную кадушку.

Сверху, на тесте, выдавливался крест.

— Крестовую метку сделаем, — говорила Мама.

— А зачем? — удивлялся я.

— Чтобы видно было, поднимается тесто или стоит на месте, — поясняла Мама.

— А-а-а...

— С крестом, говорили наши древние, хлеб лучше поднимается, — добавляла Мама.

— Значит, крест тянет хлеб вверх? — спрашивал я.

— Выходит, да — тянет, — соглашалась Мама.

— Чудно!..

Чудного, впрочем, было немало. Мы с сестрами долго не могли понять, отчего поднимается, почти на глазах растет хлеб, то есть тесто. Тесто еще называли «сырым хлебом». Помню, теста в ведре было до половины, когда его отнесли на улицу, в солнечное тепло. И вдруг оно стало расти, прибавляться, ползти вверх. Мы с сестрами бегали к нартам посмотреть, насколько вырос сырой хлеб. Дружно наклонялись головками к ведру и спрашивали Маму:

— Ну как, хлеб растет, не растет?

— Креста метка есть, нету?

— Насколько хлеб вырос?

— До половины ведра?

— Выше половины, ниже?

— Рас-тет, рас-тет, — ласково говорила Мама, словно хлеб был живым.

А потом полушутливо-полусерьезно добавляла:

— Не смотрите долго на него — вдруг он испортится!..

— Как испортится? — удивлялись мы.

— Перестанет расти.

— А-а, понятно.

И мы отходили от хлеба, потому что нам совсем не хотелось, чтобы он перестал расти.

Зимой мы тоже садились возле Мамы, как только она начинала раскутывать хлебную кадушку. Всегда интересно смотреть на растущий хлеб. Бывало, упу-

скали момент — и хлеб «убегал»: поднявшись, сползал через края кадушки. Тут начиналась настоящая паника. Мы хватали чашки-миски — что под руки попадется — и мчались к Маме, к «убежавшему» хлебу. Мама деревянной лопаточкой собирала «беглый» хлеб в миски-тарелки, что мы ей подносили. И лишь тогда переводила дух, когда полностью подбирала весь хлеб.

Не чудно ли: было мало хлеба — стало много! Вырастал хлеб прямо на глазах, за полдня!

Крест, исполнив свою работу, напрочь исчезал. Как я понял впоследствии, он не только поднимал хлеб. Была у креста и другая забота: не подпускать к хлебу, отпугивать от него всякую нечисть — все и вся, что может повредить человеку, что может повредить нашей семье. Ведь хлеб должен приносить нам только чистую силу, только добрые помыслы в жизни.

В нашем Летнем Селении на Агане кадушку с тестом тоже ставили на улице, ничем не укутывали. Мама поручала мне приглядывать за младшими сестрами, чтобы они не лезли к сырому хлебу. Случалось, все же они добирались до кадушки, если я ненадолго куда-нибудь отлучался. Тут они устраивали настоящий «пир». Первым делом, конечно, тыкали пальчики в тесто и пробовали его на вкус. А потом играли с растущим хлебом. Я возвращался и не узнавал сестер: руки — в тесте, лица — в тесте, волосы — в тесте. Об одежде и говорить нечего. Я кое-как оттаскивал их в сторонку и звал Маму. Мама, увидев их, очень пугалась: поди, наелись сырого хлеба — что теперь будет с их животиками?! Но, помнится, все кончалось благополучно. Видно, малыши не столько наедались теста, сколько измазывались им.

После русский хлеб садили в уличную «нянь кер» — «хлеба печку» из глины. Пекли в формах.

А формы все разные: тут и старые сковороды — большая и малая, и медный котелок, и эмалированная миска, и металлическая поварешка без ручки, и старинная кружка с щербинами, и продолговатые, как лодки, самодельные посудины из листового железа. Словом, нет двух одинаковых форм. Значит, нет и двух одинаковых хлебов.

Это особенно забавляло меня с сестрами. Ведь каждый хлеб получал свое имя — «Большой Сковороды Хлеб», «Малого Металлического Блюда Хлеб», «Медного Котелка Хлеб», «Ковша Головы Хлеб». Хлеб укладывался под уличным навесом, на хлебной полке. И обычно, отправляя меня или сестру Лизу под навес, Мама называла имя хлеба, что нужно принести в дом к обеду или ужину.

В день выпечки хлеба наш дом оживал с самого раннего утра. Каждому находилось дело. Я помогал Маме носить дрова. И вскоре хлебная печка начинала хлокотать огнем. Пламя вырывалось из дымового отверстия и устья. Печка очень хорошо должна была прогреться, чтобы испечь русский хлеб. Она басовито гудела и дышала густым дымом. Мне казалось, она улыбается — так в этот день была довольна своей жизнью.

Но самое интересное — это посадка и затем выемка хлеба из печи. Сырой хлеб в формах выросал вдвое! Разве это не чудо?! Вот так русский хлеб! Особенно ароматным и вкусным он получался в нашей старенькой глиняной печке. Недаром я старался, вместе с сестрой помогал Маме. Перед тем как наполнить формы тестом, я большим глухариным пером охотно смазывал их рыбьим жиром. Знал: чем лучше это сделаю, тем хлеб станет вкуснее.

У печи мы с сестрой Лизой ждали свои хлеба. Мой хлеб — из медного котелка. Получался он круглым,

как мяч. Стоял у самого устья, с правой стороны. Как только Мама начинала открывать дверцу, я нетерпеливо спрашивал:

— Поспел ли мой хлеб?

— Погоди... — говорила Мама.

— Как он там?!

— Сейчас и до твоего хлеба доберусь, — почему-то медлила Мама.

— Хорош ли?!

— Хорош-хорош...

Тут и сестра моя забеспокоилась, спрашивает:

— А мой хлеб где?!

— И твой хлеб здесь, — отвечает мама.

— Поспел?

— Да, да!

Наконец мы с сестрой получали свои хлеба. У сестры — побольше, она ведь старшая, у меня — поменьше. У нее Ковша Головы Хлеб, у меня — Медного Котелка Хлеб. Мы шли домой. Хлеб был очень горячим, и я его перебрасывал с ладони на ладонь. Дома его ставил на стол и любовался им. Подрумяненный, красочный, он, казалось, сейчас оживет, покатится по столешнице. Даже жаль было кусок откусить.

У младших сестер Даши и Оли тоже есть свои хлеба. У Даши — Кружки Хлеб. А самой младшей Оле определили хлебешек из самой маленькой формы — Поварешки Хлеб. Хотя она еще хлеб и есть-то не могла. Мы со старшей сестрой и для Отца с Матерью выделяли хлеб. Из большой сковороды — отцовский, из малой — материнский.

Русский хлеб нам нравился. Единственное, о чем я жалел, — на нем не рисовались «Глухаря следы», как на хантыйском хлебе. Поэтому тайком от Мамы, когда она ставила формы с тестом на доску, чтобы отнести их к печи, я, бывало, ставил на хлебах раз-

личные знаки. Крестик, кружок, три точки — глаза и нос хлеба или две палочки — оленьи рога. Хлеб с тайными крестиками и палочками, мне кажется, был вкуснее.

Помню строго-таинственное, как море, Священное Озеро Имнлор, два дома на берегу, высокое небо, жаркий солнечный полдень, шепот набегающих волн, запаха багульника и — растущего русского хлеба...

ПЕЧИ ДНА ХЛЕБ

Когда Мама спешила и не хватало времени, она пекла печи дна хлеб, или подовый хлеб. Сначала она старательно выгребала из печи золу, затем бралась за метлу из свежего кедрового лапника. Обмакивала ветви в куженьку с водой и вторично обметала дно печи.

Получались те же хантыйские лепешки, с теми же «глухариными следами». Но потолще и размером поменьше, чем сковородные. Все они с полную Луну в зените. Не считая, конечно, двух-трех маленьких хлебцев — для нас, детей, чтобы мы не каючили.

Я обычно ходил за кедровыми ветками. В метелку их связывала уже Мама. У меня на это не хватало сил. Возможно, поэтому мне казалось, что подовый хлеб был с привкусом кедрового ореха. Ведь и кедр помогал его выпекать.

ЗОЛЫ ХЛЕБ

Отец рассказывал, что выпекают и зольный хлеб — в золе костра. Это делается на охоте, если нет сковороды или котла.

К сожалению, золы хлеб я не едал, не пробовал.

ПЕЧЕНЫЙ ХЛЕБ

По словам Отца, на охоте делают и печеный хлеб. Круто замешивают тесто, затем лепешку из него обваливают в муке и насаживают на колышек-йангк. И пекут на костре, на открытом огне.

Печеный хлеб мне тоже не приходилось видывать.

Мама была строга, когда дело касалось хлеба. Не разрешала делать дома с хлебом то, что можно в лесу, на охоте. Дома все это считалось баловством.

ВАРЕННЫЙ ХЛЕБ

Бывало, Мама потчевала нас вареным хлебом. Небольшие лепешки из круто замешанного теста варились в бульоне. В котле с мясом. Они делались из остатков теста после стряпни.

Закончив выпуск хлеба, Мама обычно сама принималась за посуду, где замешивала тесто. Ножом соскабливала с хлебной лопаточки, с большого деревянного блюда или с берестяной кадушки остатки теста. Из них лепились одна или две лепешечки. И когда Мама варила в котле еду, то осторожно опускала в бульон на мясо последние хлебцы. Таким образом, ни одна горсть муки не тратилась впустую, ни один кусочек теста не пропадал даром.

Мама знала цену хлебу.

Когда подросла старшая сестра Лиза, то ей Мама поручала хлебную посуду. Только собрав ножом все тесто, можно было помыть водой и лопаточку, и деревянное блюдо, и берестяную кадушку. В общем, все, к чему прикасалось тесто.

После ухода Мама, спустя годы я вспоминал, как она пекла хлеб и как относилась к нему. В то лето колхоз назначил Отца оленьим пастухом. На канику-

лы он забрал меня с собой. И все лето мы кочевали по Приампутинским болотам, Отец сутками пас оленей вместе с другими пастухами, а я вел хозяйство. Варил чай и выпекал на сковороде хантыйский хлеб. Было мне лет десять-одиннадцать. И я вначале самоуверенно решил: что мне стоит — испечь хлеб! Дело знакомое, несложное! Но знать — это одно, а сделать — совсем другое. Хлеб у меня получался далеко не самый лучший. То я его передержу и он подгорит. То слишком убавлю огонь и хлеб не пропечется. То жидковато замешаю тесто, и, когда переверну на сковороде лепешку, она развалится на части. То забуду посолить. И я понял, что пекарь из меня никудышный. Но куда деваться-то: испечь хлеб некому, а есть-то надо... Со временем, правда, лучше пошли мои пекарские дела.

Закончив стряпню, я брался за посуду. Очень скоро понял, что тесто легче смывать водой, нежели соскабливать ножом. Быстрее и меньше возни. Но тут мне вспоминалась моя Мама. Я знал, что она сказала бы на это. И я молча тянул руку к хлебному ножу.

Так я постигал премудрости хлебопечения. Так между делом, как и при Маме, из остатков теста в нашем доме стал появляться вареный хлеб.

БОЖИЙ ХЛЕБ

— Почему у Бога с первого раза не получилась мука? — спрашиваю я брата.

— Кто знает... — отвечает брат.

— Почему у Него во второй раз ничего не вышло?

— Не знаю, — чистосердечно признается брат Галактион.

— Если муку сделал Бог, то почему ее привозят русские?!

— Бог сотворил первохлеб, а русские переняли у Него — стали растить!

Мне хотелось многое выяснить.

— Как же так: Он все знает, все может — а дважды у Него ничего не получилось? — усомнился я. — Разве такое возможно?!

— Спроси у Отца, — говорит брат.

Отец помолчал, потом сказал неторопливо:

— Боги, по словам наших древних, иногда бывают как малые дети...

Я задумываюсь над этими словами Отца. Замолкает и задумывается весь дом.

— А дети бывают неразумными, — тихо добавляет Отец. — А дети малые иногда такое вытворяют... Хоть на третий раз первохлеб сотворил!.. — заканчивает Отец свою мысль.

— Вот мы и делаем хлеб из Божественной муки... — говорит Мама.

Повзрослев, я увидел, где и как люди растят хлеб. Но все равно во мне осталось с детства усвоенное отношение к хлебу как к Божественному творению...

Белый Царь

В нашем доме часто вспоминали Белого Царя. У нас было немало вещей, связанных с его именем: «Белого Царя времен медный чайник», «Белого Царя времен наконечник копья на медведя», «Белого Царя времен сундучок».

Этот белоцарский сундучок, окованный каким-то древним металлом, казался мне особенно таинственным. В нем жили наши домашние боги и богини.

Словом, было много поводов вспомнить Белого Царя.

Спрашиваю Бабушку:

— Когда ты, Мамина Мама, на глаза попалась?

«На глаза попасть» — значит родиться, появиться на свет.

— О, это было еще во времена Белого Царя, — отвечает Бабушка.

Спрашиваю отца:

— А ты, Папа, когда на глаза попался?

— По словам твоего Деда, это было уже после времени Белого Царя, — отвечает Отец. — Будто бы я на глаза попался в тот год, когда Красный Царь появился.

Позже, выучившись грамоте, я обнаружил в документах отца две разные даты его рождения. В одном — 1912, в другом — 1917.

Отец пошутил: «Это Красный Царь напутал. Бумаги выдали его люди».

Спрашиваю Маму:

— А ты, Мама, во времена какого Царя на глаза попалась?

— Спроси у Бабушки.

Я к бабушке. Она говорит:

— Мама твоя еще такая молодая...

— ...и красивая, — добавляю я.

— Да-да, — соглашается Бабушка. — И время здесь ни при чем.

— А я во времена какого Царя на глаза попался? — спросил я Маму.

— Конечно же во времена Красного Царя.

— Значит, Бабушка — белоцарская, а я — красноцарский. Так, да?

— Выходит, так.

Я понял: время четко делится на два периода — белоцарский и красноцарский.

В прошлом остались времена Белого Царя, в настоящем — времена Красного Царя.

Но Белого Царя чаще вспоминали добрым словом. Вспоминали по тем добротным вещам, что сохранились с его времен. Это в основном посуда из меди, «хантыйского металла». И в каждой семье имелись и особо ценились «хантыйского металла котлы» времен Белого Царя. При Красном Царе их почему-то перестали выпускать. Бабушка его не очень-то жаловала. Она открыто ворчала: вот, мол, Красный, котлы-то делать никак не научится. У красноцарского котла из чугуна то ушко отвалится, то дно, то ручка перегорит-переплавится. А коли все остается на месте, то хозяйки большой радости тоже не получают. Другим мучаются — пища в нем пригорает.

Не выдерживали красноцарские котлы суровой таежной жизни.

Так говорили не только о котлах и других предметах быта, но и об орудиях промысла. Я это знал, поэтому спросил Бабушку о другом:

— Мамина Мама, расскажи, как вам при Белом Царе жилось?

— Как жилось?.. — задумчиво переспрашивает Бабушка.

— Да, расскажи...

Бабушка, помолчав, медленно говорит:

— Вольно жилось...

Снова помолчав, она добавляет:

— Свободно жилось...

Потом, после паузы, уверенно говорит:

— Белый Царь не мешал нам жить!..

— Как это не мешал жить?

— Мы жили так, как хотели...

— А как вы хотели жить?

— Как хотели?.. — задумчиво переспрашивает Бабушка.

Она снова замолкает, будто припоминает, как жили при Белом Царе. А потом неторопливо начинает рассказывать про житье-бытье в те времена.

Оленей пасли — никто не мешал.

Зверя добывали — никто не мешал.

Рыбу ловили — никто не мешал.

Зимой в Сургут-город на ярмарку ездили, пушнину туда возили.

Порох-дробь, муку-крупку, сукна-ткани на одежду покупали.

В городе в Божий Дом — так церковь называли — можно было сходить. Никто не запрещал — хочешь, молись русскому Богу. Никто не запрещал — хочешь, вернувшись домой, молись в Священном Яру хантыйскому Богу. Никто не запрещал — хочешь, у своего очага молись домашним богам и богиням...

Если ты шаман, можешь взять бубен и шаманить — никто тебя не тронет.

Если ты князь-урт или из княжеского рода, можешь спокойно спать — никто тебя не арестует и в тюрьму не посадит.

Если у тебя есть земля и ты живешь на ней — никто тебя с насиженного места не сдвинет, никто твою землю и твой дом не разрушит.

Мы жили так, как хотели. Мы жили так, как было задумано нашим Небесным Торумом-Отцом.

И Белый Царь не мешал нам жить...

Я живо представил себе Белого Царя. У него бело-золотистая, как у Солнца перед зимней непогодой, корона-шапка на голове. Белые, наверное от седины, волосы. Белая борода. Белая шуба будто бы из шкур белого оленя. Белые варежки из белого камуса. Белые унты-кисы тоже из белого камуса. Белый Царь во всем белом. На то он и Белый. А белый цвет — цвет жизни. Это я знал почти с рождения. Ведь недаром

слова «Нэви Горум» означают и Небо, и Верховный Бог, и Жизнь. «Нэви» — значит «белый». И поэтому казалось, Белый Царь тесно связан со всем миром через свою белизну.

Спрашиваю Бабушку:

— Где Белый Царь?

— Его уже нет на этом свете, — ответила Бабушка.

— На твоей памяти он из Среднего Мира ушел?

— Да, я крепко те годы запомнила, — сказала Бабушка. — Его вместе с семьей на окраину нашей земли привезли. В Тобольск — город на Иртыше-реке. Потом их всех кончили. Его самого, его дочерей-сыновей, его жену. Их всех в Нижний Мир до срока отравили. Ах-ты-беда, ах-ты-беда!.. — испуганно запричитала Бабушка.

Вдруг, словно от удара, она вся сжалась. Стала маленькой, как ребенок. Вскинула веки и тут же опустила. Наклонила голову и уголком платка провела по глазам. После на ощупь, будто ослепла, принялась разыскивать табакерку на нарах. Приняв щепотку табака, она выпрямилась, сложила руки на коленях и замолкла. Прошло сколько-то времени. Наконец она взглянула на меня и виновато, чуть заметно улыбнулась. И я понял, что она успокоилась и теперь можно продолжить разговор. Поэтому я тихо спросил:

— Кто их... в Нижний Мир отправил?

— Те, кто хотел занять место Белого Царя.

— Что им за это было?..

— А ничего, сказывают люди...

Бабушка помолчала мгновенно, потом вскинула горящие огнем глаза к небу и громко произнесла:

— Но Небесный Бог накажет их! Когда-нибудь непременно накажет. Такие дела даром не пройдут...

Бабушка опять тяжело вздохнула.

Тут вмешалась Мама, сказала мне:

— Ты бы, Роман, на улицу сходил погулял...

— Сходи узнай, какая завтра погода будет, — предложил мне Отец.

Я начал неохотно собираться на улицу. Ведь мои вопросы еще не кончились, я о многом хотел расспросить Бабушку. Особенно о старине, о давно минувших годах. Она, словно почувствовав это, сказала:

— В старину, так пожилые люди считают, нам лучше жилось...

Помолчав, добавила:

— При Белом Царе мы своею жизнью жили. У нас была свобода!..

С последним словом «свобода», вбитым Бабушкой в мою память, я и вышел на улицу.

Красный Царь

Сейчас мы на Красного Царя сидим, утверждала Бабушка. Его век наступил. Но взрослые о его делах говорили неохотно, полунамеками, которые я не всегда понимал. Если вели о нем речь, то понизив голос, как бы с оглядкой. Только Бабушка не боялась Красного Царя. Открыто и громко ругала его.

Спрашиваю Бабушку:

— Мамина Мама, чем Красный Царь отличается от Белого Царя?

— Ох-х, — вздыхает Бабушка. — Да всем отличается, всем!

— Чем именно?

— Красный Царь все запрещает. Богу молиться запрещает. Шаманить запрещает. По старинным обрядам свататься и выходить замуж тоже запрещает. В своих селениях в лесу жить запрещает...

— Где же жить?

— В русские поселки тянет, в одну кучу всех.

— А что не запрещает?

— Слава Богу, дышать еще не может запретить.

— Чего же он хочет?

— Хочет, чтобы мы жили по его бумагам. В поселке по-русски жили. Чтобы в колхозе жили. Чтобы его «красным богам» поклонялись. Чтобы его головой жили, его головой думали.

— Что хорошего он сделал для людей?

— Ох-ох, — вздыхает Бабушка. — Что на это скажешь?

Она молчит, молчит. Потом говорит:

— Вот что на это скажу. Скольких людей он забрал на войну и не вернул? Скольких людей на лесозаготовки забрал и покалечил? Скольких людей — шаманов и нешаманов — в Темный Дом-тюрьму посадил, а потом кончил. Всех сожрал. Хороший Царь может такие дела творить? — спрашивает Бабушка.

— Нет, конечно, — отвечаю я.

— Хороший Царь разве станет малолетних детей отнимать у родителей?

— Как это отнимать?

— В школу-интернат увозить, в поселок.

— Нет, наверное, — говорю я.

— А он детей увозит, — сердится Бабушка. — Вот подрастешь, Роман, и тебя в интернат увезут, от дома оторвут. А потом в поселке из тебя сначала Малого Красного сделают, после — Большого Красного¹. Там тебя не научат промышлять зверя, ловить рыбу, пасти оленей. Не научат строить дом и лабаз, масте-

¹ Так у нас называли соответственно комсомольцев-пионеров и большевиков-коммунистов.

рить нарту и облас. И позабудешь ты родной говор, своих родителей, своих богов. Разве это жизнь? Разве тебе хочется уезжать из родительского дома?

От этих слов у меня зануло сердце. И я решительно сказал:

— Я никуда не поеду!

Бабушка печально улыбнулась, вздохнула:

— Тебя и спрашивать никто не станет!..

Я чувствовал, как у меня тревожно билось сердце. Мне совсем не хотелось уезжать из дома. Я не мог представить себе жизнь без Мамы и Папы, без сестер, без нашего Харко. Без нашего таинственно шепчущего леса. Без нашей тихо журчащей реки. Мне стало очень грустно. И я долго молчал. Потом спросил Бабушку:

— Почему он Красным называется?

— Красный цвет любит.

— В красных одеждах ходит?

— Говорят, у него красная метка есть, — говорит Бабушка. — А красный цвет у нас не любят. Это цвет тревоги, цвет крови, цвет беды. Вот он и прославился кровавыми делами. Горя век, страданий век наступил...

— Этот век имеет ли конец?

— Конечно имеет конец, — сказала Бабушка. — На смену горестному веку всегда приходят лучшие времена.

Наши древние так говорили. И в старину, сказывают, такое случалось. Наступали тяжкие времена войн, голода, болезней. Народ мучился, страдал. Но потом лучшие дни возвращались...

— Чье время придет после Красного Царя?

— Кто знает. Может, снова время Белого Царя вернется.

— Но может наступить и время царя другого цвета?

— Конечно может.

— А почему люди побаиваются Красного Царя?

— Потому что его люди могут посадить в Темный Дом любого человека. Сказал одно кривое слово — и нет тебя. Скольких людей нашей реки он уже кончил? Разве считаешь всех до срока отправленных в Нижний Мир?

— Ты же говоришь про него кривые слова?

— Говорю.

— Не боишься?

— Я уже старая, свое отжила, — с грустью говорит Бабушка, потом, тряхнув седыми волосами, насмешливо добавляет: — Пусть мою голову берет, если от этого ему легче станет...

Мне вовсе не хотелось, чтобы Бабушка кому-то отдавала свою голову. Пусть даже Красному Царю. Возможно, поэтому я решил еще кое-что выяснить о нем. Спросил:

— Где живет Красный Царь?

— На Нижней Земле, в стороне Захода Солнца.

— Как его зовут?

Бабушка призадумалась на минуту, потом сказала:

— У него нет имени.

— Как так?

— Красного Царя нет.

— Как нет?! — воскликнул я.

— Белый Царь был человеком, а Красный — это не человек...

— Как это — не человек?! — еще больше удивился я.

— Это... просто место...

— Пустое место?

— Да нет. Просто красные своего Царя называют не «царем», а каким-то другим мудреным словом. У меня язык не поворачивается, — призналась Бабушка.

— Так есть на этом месте человек?

— Есть.

— За Царя?

— Да. Он как бы не Царь, а за Царя, за Красного.

— Как его зовут?

Бабушка призадумалась, прежде чем ответить:

— Знающие люди рассказывают: сначала за Красного Царя был Ленин, а потом его место занял Сталин. А про него ты слышал от взрослых...

Конечно, слышал. О нем говорили приезжие из Верхнего поселка. О нем говорили приезжие из Нижнего поселка. Передавали его слова: это сказал, то сказал... А Бабушка опять призадумалась. Сидит, молчит. Поверх моей головы устремила взор куда-то вдаль, в сторону Нижней Земли. Потом, как бы опомнившись, перевела глаза на меня и, размышляя, проговорила:

— Жизнь такая пошла, что, может, и нет его. Может, и вправду это пустое место. Без Царя сидим...

Колхоз

Красный Царь и колхоз придумал, рассказывает Бабушка. И все стало колхозным. И олени, и звери-птицы, и озера-реки, и боры-урманы, и люди. В общем, вся жизнь стала колхозной.

— И мой Папа стал колхозным?

— Да.

— И моя Мама?

— Конечно. Все время ее требуют в Поселок на колхоз работать.

— И ты, Мамина Мама, колхозная?

— Я-то?! Да колхоз из меня всю кровушку высосал! — сердится Бабушка. — Ох-хо, теперь я никому не нужная!.. Среди вас, пожалуй, одна я не колхозная...

— Что, я тоже колхозный?! — удивляюсь я.

— А как же!

— И мои сестры — тоже?

— А что ж ты думал!

— Значит, мы не Мамины и не Папины?

— Пока вы под крылом Мамы и Папы. А как вырастете — на колхоз хребет начнете ломать. Вернее, вас заставят ломать хребет. Кто добровольно на такое пойдет?..

— А если я не захочу быть колхозным?

— Тебе-то как раз туго придется, — говорит Бабушка грустно. — Колхоз ждет не дождется, когда ты вырастешь. Ему нужны молодые да сильные мужчины. Как вцепится — не выпустит, пока всю кровь не высосет.

Наверное, от этих слов я заметно посмурнел, опечалился. Поэтому Бабушка, чуть помолчав, улыбнулась мне и бодро сказала:

— Не вечно же горя-страдания веку быть. Может, на твою взрослую жизнь лучшие времена придут...

Утешение не очень-то большое. Может, лучшие времена придут. Может, и нет.

— Колхоз — это человек? — спросил я Бабушку.

— Нет, не человек.

— А что же это такое?

Бабушка, подумав, объяснила:

— Колхоз — это место... где людям придумывают тяжелую и бессмысленную работу.

Что такое тяжелая работа, я мог себе представить. А что такое работа без смысла — нет. Поэтому спросил Бабушку:

— А какая работа без смысла?

— О, колхоз много таких работ придумал, — вздохнула Бабушка. — Колхоз много начудил...

Вот взять картошку, говорит Бабушка. На нашей земле она не росла, мы ее не едим, а колхоз заставляет выращивать ее. Коров и лошадей мы не пасли, а нас принуждают крутить им хвосты. Дерьмо, — Бабушка называет более неприличное слово, — ставят за ними выгребать. Летом для них надо накосить, зимой — завезти его в Поселок на оленях. Сколько людей и оленей мучает колхоз. Ведь на этой земле испокон веков мы пасли только оленье стада, сокрушается Бабушка. А коровы и кони — это дело обских ханты. Оленей у них нет, зато травы — сколько хочешь... Взять другое дело — Поселок. Колхоз всех людей насильно сгоняет в Поселок. Как там выжить — никто не знает. Свежей рыбы нет. Свежего мяса нет. Ягоды негде брать — до ягодников далеко, ехать надо. А ехать не на чем. Огонь «подкормить» тоже нечем — дров нет, поблизости все вырубил, особенно сушняк. Опять же подвозить на чем? У людей ни оленей, ни лошадей нет. А как до угодий добраться? Многих людей сорвали с родовых селений, свезли в Поселок, свалили в одну кучу. Лишь бы на колхоз работали, свою хребтину гнули. А жить — живи как знаешь!

Я хорошо помню, как нас в Поселок «тащили». Всеми правдами и неправдами. И как отчаянно сопротивлялись Мама с Папой. И они выстояли, не сдались. Может быть, поэтому мы и выжили. Всех, кого сняли с родовых селений, кому обрубил корни, по-

стигла печальная участь. Кто спился и потерял человеческий облик, кто сам себя жизни лишил, кого кончили, кто до последней нитки обнищал и доживал свои дни в сгнивших избушках — «подаренных» правительством в 1953 году.

Каждому народу Бог придумал свою пищу, рассуждает Бабушка. Кому — картошку, кому — рыбу, кому — мясо. Каждому человеческому роду Бог уготовил свое жилище, продолжает Бабушка. Кому — из камня, кому — из дерева, кому — из травы. Каждой земле Бог дал семена-плоды. Одной — чтобы растить хлеб, другой — диковинные заморские фрукты, третьей — бруснику-клюкву, чернику-морошку. А красноярский колхоз все смешал, сердито говорит Бабушка. Все на свете перепутал. И вынудил людей делать бессмысленную работу.

— Понял, какая работа без смысла? — спросила Бабушка.

— Понял, — ответил я.

Мы помолчали. Потом я спросил Бабушку:

— А наш Харко тоже колхозный?

— Он вроде бы не колхозный.

— Значит, вы вдвоем с Харко от колхоза свободные?

— Погоди... — Бабушка начала рассуждать: — Харко помогает твоему Отцу добывать зверя и птицу. А Отец твой все сдает в колхоз. Получается, что и Харко на колхоз работает. Стало быть, он тоже колхозный...

— Есть у нас вообще что-нибудь не колхозное? — удивился я.

— Не знаю... — проговорила Бабушка. — Раньше у каждого рода были свои угодья и пастбища. Потом колхоз объявил их своими, колхозными. Каж-

дая семья имела оленей. А потом они все потихоньку колхозу перешли. Колхоз богател, а народ все беднел...

Что колхоз богател, обирая людей, я знал. По осени Отец получал от него упряжку оленей. Среди них попадались и наши, за что-то отнятые колхозом. Помню темношерстную важенку Йим Саркэлы. Я подкармливал ее рыбой и чешуей от подоушек. И у меня сердце ныло оттого, что олениха была нашей, а стала колхозной, то есть ничейной. И пастухи в стаде, наверное, не очень хорошо обращались с ней, потому что она не принадлежала им.

Я слушал голос Бабушки — то спокойный и рассудительный, то резкий и сердитый. Странно выговорила она слово «колхоз». Делила его на две части: «кул» — по-хантыйски черт, дьявол и «воз» — нарта с тяжелой поклажей. Первое слово издавна было в языке, а второе принес колхоз, когда на оленьих упряжках начали возить сено, дрова, мерзлую рыбу и мешки с пушниной. По-бабушкиному получалось: колхоз — это «дьявола воз с непосильной поклажей». Люди тянули его, надрывались и умирали. А тех, кто не хотел впрягаться в этот воз, объявляли «шаманами», «кулаками» или «врагами народа». Их сразу же, по словам Бабушки, «в Темный Дом садили». Наверное, поэтому Бабушка не любила вспоминать то время, когда вдовой тянула колхозную лямку в Нижнем поселке. А если и вспоминала, то при этом на ее глаза наворачивались невольные слезы.

Вот таким был «дьявола воз»...

После, повзрослев, я увидел, что колхоз, как выжалась Бабушка, «смешал и перепутал» все не только на нашей Реке, но и во многих других селах и городах. Вся страна напоминала один большой колхоз без истинного хозяина...

Коска Большой, или Колхоза Глава

У колхоза был Глава. Звали его Коска Большой.

Получил он колхоз в сорок первом году. И записали в него все имущество колхоза: одну телегу, одну заезженную клячу и обитый железом ящик с амбарным замком. А в ящике том — колхозная печать и невесть каким образом завалавшиеся три рубля.

Все. Больше — ничего. И сказали начальники района новому председателю: руководи, веди колхоз к светлому будущему, недаром тебя обучали этому делу на курсах. Верно, в районном центре Сургуте его месяц продержали на учебе. Правда, из практических навыков дали только один: научили расписываться на бумагах. Если он никуда не спешил, то широко, размашисто, на всю страницу выводил свою фамилию: «Казамкин». Если же времени не было, то у него получалось «Казамки» или «Казамк». А коль совсем торопился, то на ходу ставил «Каз» или «Каза».

Так что у колхоза было только одно название, которое ни к какому месту не приложишь. Оно не могло никого ни согреть, ни насытить.

И тут началась война. Наступили суровые и тяжкие времена. И Коска Большой потянул колхозную лямку. Тянул ее и в зимнюю стынь, и в летнюю жару. Тянул ее и в весеннюю распутицу, и в осеннюю слякоть. Тянул ее днем. Тянул ее ночью...

— Колхоз вытянул, а свой первый дом — нет... — вздыхает Бабушка.

— Что с его первым домом случилось? — спрашиваю я.

— Он потерял свой первый дом.

— Очаг погас?

— Да, огонь очага погас...

— Огонь его первого дома поддерживала твоя двоюродная тетушка, — припомнила Бабушка.

...Заболела она, хранительница очага. Будто бы с ума сошла. И повелел русский лекарь, чтобы Коска Большой отвез ее в Сургут-город. Тогда по Реке ходила Красная Лодка. На ней они и пустились по течению вниз, в неведомый город-селение. Много ли, мало ли времени прошло, Коска Большой вернулся в Поселок один. Сел, опустил голову — молчит... Собрались родственники.

Спрашивают — молчит.

Притронулись — молчит.

«Слезу на него положили» — молчит.

Молчит, будто омертвел заживо. Никого не видит и не слышит.

И тогда его свояченица Степанида утерла слезы и побежала в детский садик. То ли кто надоумил ее, то ли она сама догадалась — примчала на руках его самого младшенького Леньку. И пустила мальчика перед отцом на пол. Малыш только начинал вставать на ноги — и держался неуверенно, больше ползал. И тут, посидев на полу и осмотревшись, он пополз к отцу. И, что-то лопоча, по отцовой ноге начал карабкаться на колени.

У Коски Большого что-то заклокотало внутри. Сначала он давил в себе, отчаянно сдерживал звук. Но комок наконец вырвался из его груди. И он, судорожно схватив малыша, прижал его к себе и зарыдал. Зарыдал на весь Поселок. Зарыдал на всю Реку. И люди поняли, что его малыш остался без мамы. Что две его дочери тоже остались без мамы. Что не стало хранительницы его очага... И об этом он не смог сказать в словах.

Так погас огонь его первого дома, где была хозяйкой наша двоюродная тетушка. Я ее, конечно же, не

помню. Она жила за пределами моей памяти. Я приходился ровесником ее младшему Леньке. С ним мы вместе потом пойдем в школу и подружиться. А его отец, Коска Большой, часто заезжал в наш дом. Наверное, поэтому я помню его с самого раннего детства. Был он очень быстрым и подвижным. Только что в доме сидел, чай пил. Глядь, уже на улице, олень ловит, упряжку запрягает. Или в бору, на пастбище его голос слышится — умчался за отбившимся от стада оленем. Говорил он также быстро и резко, четко отпечатывал каждую фразу. Никогда за словом в карман не лез. Видно, его ум такой же скорый, как и его слова и дела.

Он был нашим родственником. И мы уважительно называли его «Большой зять-старик» — ведь он один из самых старших зятьев рода. И весь род соблюдал с ним обряд избегания — и женщины, и мужчины, хотя тетушки нашей, «дочери рода», уже не стало. В таких случаях обычно «мирились» с зятьями. Ритуал довольно простой. С женщины срывали платок, а мужчин рода и зятя проводили по разные стороны користого дерева, и обряд объявлялся утратившим силу. Много лет спустя кто-то из наших сородичей предложил провести ритуал «примирения». Но Коска Большой отказался, сказав:

— Этот древний обряд не нами придуман, соблюдать его мне нетрудно, и пусть он будет...

Не нами придуман — не нам его отменять, поняли и согласились с этим люди нашего рода.

Так он и остался до конца жизни «Большим зятем-стариком» жителей всего среднего течения Агана. Никто и никогда больше не заикался о ритуале «примирения».

Он все тянул колхозную лямку. Зимой часто ездил на оленях в Сургут-город. Вызывали, как он выражал-

ся, останавливаясь у нас, на разные «собрания», «совещания», «заседания» и прочее. Летом плавал туда на обласке или на попутных катерах. Оттуда он привозил бумаги. Потом начинал делать то, что требовали эти бумажные листы. Так появились «колхоза олени», «колхоза коровы», «колхоза пони». Так колхоз начал садить картошку, морковь и редьку, сеять овес. Немного позже в Поселке построили ферму для «колхоза лис» и «колхоза песцов». С оленями, хоть и колхозными, люди как-то мирились — дело привычное, знали, как пасти. Но переехать в Поселок и идти в скотники, звероводы и косари никто не хотел. Тем более дергать сорняки на колхозных полях и огородах. Но глава колхоза Коска Большой говорил:

— Война требует!

Мол, куда тут попрешь.

После войны он объяснял:

— Русские начальники требуют! — И показывал рукой вверх: — Район требует!

Как-то, возвращаясь из Сургута, он заехал в наш дом чай попить. За столом мой Отец предложил:

— Там, наверху, надо бы сказать — зачем нам все это, зачем зря людей мучают...

— Кто меня там спросил?! — возопил Коска Большой. — Кто меня там слушает?!

Отхлебнув чай и поставив блюдце на стол, он также резко добавил:

— Там одно — план! План выполнил — хорош, не выполнил — плох!

— Так ведь тянут-то нас не туда...

— Ясное дело: не туда! Да что поделаешь?!

— Да, делать нечего...

Потом в наше селение пришло новое слово «самообложение». Якобы добровольно собирали деньги на покупку колхозного катера. Однако никто не спраши-

вал, хочет или не хочет человек отдавать деньги за катер. Просто в конторе удерживали нужную сумму — и никаких разговоров. Собрали деньги, купили катер. Правда, с деревянным корпусом, как у обыкновенной лодки. На моториста и капитана выучили ненца Иуси Аули. И катер стали называть «Аули-трррр». «Аули-трррр» поплыл в Сургут-город. «Аули-трррр» сел на мель. А о «самообложении» долго еще вспоминали. Что это такое — «самого себя обложить»?! За что?! С какой стати?! Кто придумал?! Конечно же Колхоза Глаза, Коска Большой. Это он тянет жилы из народа. И как водится, люди по-разному относились к нему. Кто ругал его в открытую, кто — за глаза, кто — просто помалкивал. А что колхозную лямку тянул исправно, это признавали все.

Колхозную лямку тянул, а вот семейную упустил, говорили люди. Лишился он второго дома. Умерла жена вторая, оставила ему малолетнюю дочку.

Ни одна весть не проходила мимо нашего селения. Особенно о родственнике Коске Большом, Колхоза Главе, или Колхоза Старике.

Вздыхала Бабушка.

Вздыхала Мама.

Молчал Отец.

После, когда меня взяли в школу, однажды учитель на уроке заметил:

— Колхоз наш богатый, да от него... мало пользы народу, — и потряс газетой, в которой сообщалось, куда колхоз перечислил свою прибыль.

Между тем Коска Большой, или Константин на русский лад, все тянул свою лямку, нес свою ношу. И наконец настал день, когда районные начальники сказали ему: хватит, отдай колхоз грамотным да молодым, сейчас другие времена наступили. Грамота нужна. И он отдал колхоз. И отдавал колхоз не без

грусти. Потому как теперь было что отдавать. Отдал три стада оленей. Отдал стадо коров и табун коней. Отдал звероферму с лисами-чернобурками и голубыми песцами. Отдал катер с деревянным корпусом. И кроме прочих мелочей счет, на котором был миллион — немного обидно — без шести рублей. И стало грустно. Ибо расставаться с нажитым всегда нелегко. Особенно если это нажито тяжелым трудом.

Так он вытянул колхоз.

Так он прошел по тяжким годам.

Возможно, как и время, бывал он безжалостным и жестоким. Возможно, бывал он правым и неправым. Времена-то какие пережил... Все было. Всяко было. Но мне крепко врезались в память его слова. Оглядываясь назад, в грядущие ушедших дней, он не однажды говорил:

— Бог видит: по колхозному делу ни одного человека энкавэдэшникам не отдал. Ни одну душу не сгубил...

И это была суцая правда.

IV

БОГИ И БОГИНИ

Мать-Покровительница

Она живет в высоком терему среди сосен Священного Бора.

Помню, как меня в первый раз подвели к ней. Отец приподнял меня на руки и сказал: «Поздоровайся!» И я поцеловал Ее куда-то в шелковистые платки и шали — под их множеством был скрыт Ее лик. Но я все равно смотрел на Нее с трепетным восторгом. Я впервые прикоснулся к Ней. Вот Она — нашего рода и нашей Реки Мать и Покровительница.

Самая красивая.

Самая добрая.

Самая таинственная.

Всесильная.

Могущественная.

Всевидающая.

Всеслышающая.

Только позови — на помощь к тебе спешающая.

Вот Она — протяни руку и прикоснись к Ней. И я потянулся к Ней ручонками и прикоснулся к Ее одеяниям. И почувствовал, как ко мне заструилась и сила, и здоровье, и удача. И прояснилась голова, и в голове остались одни светлые мысли и думы.

И это первое прикосновение к Ней осталось во мне навсегда...

Потом Отец сказал мне: «Поздоровайся с Вонт-Ики!» Вонт-Ики значит «Урман-Старик». Старик в выдровой шапке, отметил я про себя. Мне показалось, что Он строго взглянул на меня. Но это несколько меня не испугало. Я знал, что Он добрый. И понял, что это муж нашей Матери-Покровительницы. И когда Отец поднес меня к Нему, я без всякой боязни поздоровался с Ним.

После Отец шепнул мне: «А теперь с Божьим Сыном поздоровайся!» Божий Сын был в лисьей шапке, чуть сдвинутой на затылок. И казалось, с веселым озорством смотрел на меня. Я почувствовал в Нем почти своего ровесника. Правда, Он немного старше меня. Возле Него в углу много-много стрел с металлическими наконечниками. Отец пояснил мне, что Он охотник и любит выслеживать зверя и птицу. Меня же пока на охоту не берут. Стало быть, Он старше меня. Сходить бы с Ним на охоту, подумал я. Его-то уж удача, наверное, не минует. И весело поздоровался с Ним.

Отец опустил меня на пол.

И мы исполнили первый обряд приветствия.

.....
.....
.....

Потом повернулись по солнцу и уселись на оленьи шкуры на полу. Отец негромко стал разговаривать с Хозяевами терема. То он обращался к нашей Матери-Хозяйке Реки, то к Старику, то к их Сыну.

Отец просил в основном здоровье и удачу.

Я сидел на мягкой, чистой шкуре и оглядывал терем и его Обитателей. Они восседали на широкой полке вдоль передней стены. Справа от меня — вели-

чественная Матерь-Покровительница. По Ее правую десницу — Урман-Старик, рядом с Ним — Божий Сын, возле которого в углу угнездились стрелы. На Их коленях возвышается ровная гора самых разноцветных тканей. Дары гостей, понял я.

Между тем Отец закончил беседу. Мы повернулись по солнцу, и он подвел меня к выходу. Выходили по обряду: лицом внутрь терема. И по лестнице с семью ступенями-зарубками, на которых лежали монеты, спустились на землю.

Мама исполняла обряд приветствия возле костра, на улице. Женщинам нельзя было приближаться к терему. Только малышей, моих младших сестриц, Отец на руках сносил поздороваться с Хозяйкой нашего рода и Реки.

Была зима.

И возле терема было свежо.

Было чисто и бело.

Было тихо.

Ни иголки не шелохнется на священных соснах.

И казалось, все наши слова и молитвы беспрепятственно доходили до Хозяйки Реки, до Ее Небесного Отца, до всех больших и малых Богов Семи Слоев Небес и Семи Слоев Земли.

А вскоре перед теремом на высокой полке о четырех столбах задымились кружки с горячим чаем и блюда со скромными таежными яствами. Пар струился прямо в небо. Это хороший знак. Я уже со слов взрослых знал, что Боги берут только дух пищи и питья. Кроме этого, им ничего не нужно. Поэтому на праздник старались готовить все погорячее. С паром, с духом.

Отец встал перед высокой полкой и, скинув капюшон малицы, устремив взор на открытую дверь терема, громко и торжественно, в полный голос на-

чал призывать за праздничный стол Матери-Покровительницы всех Богов, которых он знал поименно.

Слушали все: и белые снега, и безмолвные сосны, и люди, и Боги.

Так начался праздник.

И мы приступили к исполнению главного обряда.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Отец все призывал таинственных гостей. И просил у них здоровье и удачу. Здоровье и удачу для своих детей, для Мамы, для своего Дома, для себя. И его слова уходили в открытую дверь терема, в небеса и в сосны, в белые снега, во все стороны горизонта. И во всех нас появилась уверенность, что мы будем здоровы и удачливы. Что наш Дом станет сеять только добрые вести, только славные вести. Что Отец каждый раз возвратится с добычей — и с речных заповор, и со следа крылатой птицы, и со следа ногастого зверя...

Мы сделали небольшую паузу, присели перед праздничным столом. Поджидаем Тех, Кто запаздывает, Кто спешит к нам издалека. Ведь на праздник Кто-то летит, Кто-то едет, Кто-то идет пешком. Скорости у всех разные, поэтому нужна остановка, пауза, чтобы подоспели опаздывающие.

Выждав некоторое время и обменявшись десятком фраз, мы встали и неторопливо завершили обряд.

Повернулись по солнцу.

В костер подложили сухие дрова — и весело заиграл огонь.

Поговорили о том о сем. Потом опустили на землю полку-стол и неторопливо сели за трапезу.

Отец за столом припоминал разные истории из жизни Богов.

А я думал о Матери-Покровительнице. Я уже знал, что у Нее есть Отец — Нум Торум, Верховный Бог. А мама Ее — это Сидящая Матерь, или Земля-Богиня. В древние-задревние времена Она жила на небе в доме своего Верховного Отца. И пред самым зарождением человеческой жизни родители отправили Ее на нашу Реку. Чтобы Она оберегала воды. Оберегала земли. Оберегала леса. Оберегала людей. На среднем течении нашей Реки Она встретила спутника жизни Вонт-Ики и обосновалась здесь, в Священном Бору.

Так Она стала Матерью-Покровительницей нашего рода.

Так Она стала Матерью-Покровительницей нашей Реки.

Ее терем открыт для всех. К Ней может прийти каждый народ, каждый человек, каждый гость. Но только с мужчиной из нашего рода. И когда мужчина рода уходит из жизни, Она полностью обновляется. На новом месте. В новом тереме. Среди новых священных сосен. Но в этом же Священном Бору.

В нем все священо. И деревья, и мхи-травы, и ягель, и вода в Божественном Ручье, и вода в Урии Божественного Ручья, впадающего в Главную Реку. И поэтому Мама строго-настрога наставляла, чтобы без надобности я не сорвал здесь ни одной веточки, ни одной хвоинки и листка со священных деревьев. Все священо...

После трапезы мы еще немного побыли у костра.

Посидели, поговорили. Потом исполнили обряды прощания.

.....
.....
.....

И собрались домой.

Короткий зимний день подходил к концу.

Спускались сумерки.

Я сидел за спиной Отца, слушал скрип полозьев и смотрел на сосны Священного Бора. Душа моя ликовала и пела. Весь я наполнился необъяснимой бодростью. И народилась во мне вера, что вечными на этом свете являются наша Мать-Покровительница, Священный Бор, Божественный Ручей, Мама и Папа, мои сестры и я сам. Я был счастлив. И это счастье распирало меня.

Мы часто ездили к Матери-Покровительнице.

Разумеется, тайком от красных.

Ездили весной, когда Священный Бор скидывал зимний наряд, и в нем было особенно чудесно и свежо.

Ездили летом, когда в соснах Священного Бора висела таинственная первозданная тишина.

Ездили осенью, когда Священный Бор покрывался сочной брусникой и в суровом предзимье становился чутким и трепетным.

Ездили зимой, когда Священный Бор дремал под снегами, но все видел и слышал.

И каждый раз я наполнялся теплом, добром и необъяснимой силой. Немного позднее понял: это же получали здесь и все мои сородичи, люди нашей Реки. Понял и другое. Пока жив мой народ, пока жив наш род, пока жив я, пока жив хоть один мужчина рода, будет жива и наша вечно обновляющаяся и заново нарождающаяся Мать-Покровительница...

Посвящение Богу

Когда наша малышка, младшая сестра, немного подросла и стала садиться, Мама с Папой повели таинственные разговоры. Часто упоминали слова «посвящение» и «пора», «время настало». Я ничего не мог понять. И вот Отец позвал в дом моего Крестного, старца Ефрема. Старец степенно вошел и, как принято, сел спиной к переднему углу. Он провел тяжелой, но ласковой ладонью по моей макушке. И, называя меня «мой крестничек», полушутливо-полусерьезно поговорил со мной. Расспрашивал о моих заботах и моей жизни, будто мы с ним давно не виделись. Потом он взглянул на нашу малышку Олю и спросил у Мама с Папой:

— Было ли знамение?

— Было такое дело, — ответил Отец.

— Было, — подтвердила и Мама.

— Каким образом?

— Богиня являлась к матери малышки, — сказал Отец.

— Да, Она сама являлась, — добавила Мама.

— Стало быть, это Ее желание? — уточнил Старец.

— Да, так получается, — сказал Отец.

— Если так — то так... — в раздумье проговорил Старец.

— Может, по этому делу, Старый Человек, твой ум туда-сюда походит... — предложил Отец.

— Далеко ли мой ум уйдет! — иронично усмехнулся над собой Старец.

— Их слово ты все-таки лучше нас слышишь, — и Отец чуть заметно кивнул вверх, на Небо.

— Хм-мм...

— Может, ободообразное дерево в руки возьмешь? — сказал Отец, подразумевая бубен.

— Ладно, так обойдемся...

И Старец, прикрыв глаза левой рукой, чуть опустив седую голову, задумался. Это он свой ум туда-сюда гоняет, понял я. Немного посидев, он отнял ладонь от лица, выпрямился и сказал:

— Да, как будто Ее ум такую тропую идет!.. Ведь эта малышка — Ее Земли. Эта дочка — Ее Реки...

— Так-так, — проговорил Отец. — Верно...

Отец повесил в переднем углу новый платок и отрез белой ткани в несколько аршин. Мама распеленала малышку из дневной люльки и передала ее в руки Старцу. Старец, повернувшись лицом в передний угол, посадил малышку на правое колено. Она, что-то лопоча, тянулась к сединам Старца. Видно, у нее появился соблазн подергать их. Мама же хотела привлечь внимание малышки к переднему углу. И, показывая на платок с белой тканью, говорила дочке:

— Смотри, красота!.. Ну, глянь-глянь!..

Я тоже стал тыкать пальцем в угол, говоря сестрице:

— Там, там красивое! Глянь-ка, глянь!..

Старец, не обращая на нас внимания, откашлялся, выпрямился и, высоко подняв голову и устремив взор в передний угол, торжественно и негромко обратился к Покровительнице нашей Реки и нашего рода:

— О-о-о, этого ягельного Агана на долгой середине,
Этого рыбного Агана на долгой середине
Сидящая наша Агана-Матерь-Богиня,
На этой твоей Воде рожденной,
На этой твоей Земле на глаза попавшей,
На образ Солнца похожей,
На образ Луны похожей
Этой твоей доченьки-дитяти
Душа-тень
Тебе вручается!..

В кисть как следует возьми,
В длань как следует возьми!..

Долгой жизни нашепчи,
Долгого века нашепчи!..

От некоего ноги несчастья,
От некоего руки несчастья
За одним-двух деревьев тенью
Стороной пронеси!..

От некоего пожирающего духа,
От некоего кусающего духа
Охраняя-защищая,
Имей ее!..

Прекрасного Солнца ей определи,
Прекрасной Луны ей определи!..

Эти слова, эти вести

Как следует увидь,

Как следует услышь!..

Старец начал тихо. Но голос его все набирал и набирал силу. И последние слова он во всю мощь легких послал Покровительнице Реки. Старец помолчал немного, дух перевел. Потом снова поговорил с Богиней. После этого трижды повернул нашу сестрицу по солнцу и посадил на колено.

— Вроде бы так... — проговорил Старец.

— Вроде так... — подал голос Отец.

— Если есть еще какие слова, можешь добавить их, Глава Дома, — обратился Старец к нашему Отцу.

— Будто бы все сказано...

Отец от белой ткани оторвал ленточку и передал Старцу. Старец завязал ее за прядь волос на затылке нашей сестрицы. Мама пригладила рукой белую ленточку и забрала малышку.

— Пусть носит, пока держится, — сказал Старец, показав глазами на белую ленточку. — Сами не снимайте.

— Хорошо, пусть будет, — согласилась Мама.

Отец поправил висевший в переднем углу платок, вопросительно глянул на Старца, спросил:

— А платок, наверное, на Нее нужно надеть...

Речь шла, конечно, о Хозяйке Реки.

— Да, в Ее дом отвезите, на Нее наденьте, — сказал мой Крестный.

— А белая ткань, наверное, в нашем остается... — уточнил Отец.

— С Домашними Богами в священном сундуке храните.

— Так скажи...

— Пусть там живет.

Старец помолчал, потом медленно, взвешивая каждое слово, пояснил:

— Все это в память о Посвящении...

— На Удачу-Здоровье малышки! — сказала Мама.

— Да, на долгую Жизнь, на долгий Век малышки! — сказал Старец.

— На солнечный Век, на лунный Век! — сказал Отец.

— Верно, на то и делаем это древнее дело... — проговорил Старец. — На удачливую-здоровую Жизнь малышки, на Жизнь новых людей...

— Так-так... — кивнул Отец.

Я понял, что Отец все знает. Знает, как и что нужно делать. Знает, какие слова нужно говорить. Но сейчас все это должен был исполнить мой Крестный, старец Ефрем. Он шаман. Он старый и мудрый человек. Поэтому его голос лучше доходит до Верхнего Мира, мира наших покровителей.

Потом Мама накрыла стол и всем налила чай. За чаем Мама с Папой вели неторопливый разговор со Старцем о жите-бытье. Больше, конечно, говорил Старец, отвечал на вопросы. Все внимательно

и с уважением слушали его. Прошло еще сколько-то времени. Наконец Старец собрался домой. Он встал, повернулся по солнцу и на прощание сказал внушительно:

— Пусть малышка солнечным следом идет, лунным следом идет!

— Пусть!.. — сказал Папа.

— Пусть будет так! — сказала Мама.

И Старец ушел.

Посвящению больше всех радовалась Мама. Она светила весь день. Казалось, и в доме стало светлее, солнечнее, теплее. Она пояснила мне, что у каждого человека есть Бог-Хранитель. У женщин — Богини, у мужчин — Боги. Они есть у Мама, Папы, у моего Крестного, у меня, у моих сестер. В общем, у каждого человека, у каждого ханты. Только у нашей малышки до сего дня не было Богини-Хранительницы. Но теперь и у нее появилась своя Покровительница-Мать, которая будет оберегать-защищать от всех несчастий и бед.

После, когда малышке нездоровилось, Мама всегда призывала на помощь ее Богиню-Хранительницу, Хозяйку нашей Реки. «Уголок своего глаза сюда пошли, — тихо нашептывала Мама. — Твоей и нашей доченьке-дитяти помоги!.. Ее плачи-боли уйми! Мимо хвори-мори пронеси!..» И сестрице, казалось нам, становилось намного легче.

На то Она и Матерь-Богиня, чтобы помогать своим детям в трудную минуту.

Мы все в доме верили, что нашей малышке с такой Покровительницей предопределены долгая жизнь и счастливая судьба...

Мой Бог-Хранитель

И у меня есть Бог-Хранитель. У Него много имен, зовут Его по-разному.

Тот, Кто Где-то Рядом.

Быстро Ездящий Старик.

Золотой Царь-Старик...

Но особенно часто Его вспоминают по имени Тот, Кто Где-то Рядом...

Он хранит меня от всех невзгод. И, охраняя-защищая, ведет меня по жизненной тропе.

На всех празднествах в честь Домашних Богов Отец в молитвах-приглашениях всегда напоминал обо мне:

— О-о-о, Тот, Кто Где-то Рядом,
На Тебе посвященном Романе
Уголок Своего ока держи!..
Прекрасной Луны, прекрасного Солнца
Ему определи!..
Прекрасной Луны, прекрасного Солнца
Ему пошли!..

Отец делал многозначительную паузу. Слово выжидал, чтобы его слова-молитвы безо всяких помех дошли до слуха моего Верховного Хранителя. Потом, обведя взглядом весь дом, Отец добавлял:

— О-о-о, Тот, Кто Где-то Рядом,
Ты тоже сюда сисэмта,
Ты тоже сюда волэмта!¹
Мы все на Тебя сидим,
Мы все на Тебя живем!..

¹ Слова «сисэмта» и «волэмта» употребляются только по отношению к богам и означают приблизительно «Явись, струей воды прихлынь».

После Отец приглашал других Богов и Богинь Неба и Земли. Среди них и Богинь-Хранительниц всех моих сестер и Мамы. У нас у каждого свой Хранитель-Бог. У женщин — Богини. У мужчин — Боги. Сейчас, вполуха слушая Отца, я думал о своем Покровителе. По сказкам и мифам я знал, что Он — младший сын нашего Верховного Бога Нум Торыма. У него есть семь родных сестер и шесть родных братьев. Сам Он седьмой, самый младший.

В древние-задревние времена, когда еще на земле не было людей, Он жил на соседней реке Вах. Жил на вершине высокой горы. Жил в доме-тереме, который сам Он построил. Ловил рыбу. Охотился на гусей. Охотился на глухарей и белок. Охотился на соболей. Ездил торговать в города.

Он был удачливым охотником. Однажды взял след шестиногого лося. Но лось о шести ногах оказался таким быстрым, что стрела не могла достать его. И тогда Тот, Кто Где-то Рядом, сказал лосю: «Если я тебя не догоню, то в пору зарождения кедровой шишке подобной куклы, в пору зарождения сосновой шишке подобной куклы¹ кто ж тебя догонит?!» И Он долго-долго, по всей земле, гнал шестиногого. И наконец догнав, обрубил лосю задние ноги вместе с туловищем. С тех времен лоси стали ходить на четырёх ногах. А следы от лыж-подволока Бога-охотника — две идущие рядом светлые полосы — отпечатались на звездном небе, и люди стали называть их Млечным Путем.

(«Будь лоси на шести ногах — ни один земной охотник не догнал бы их, — заметил Отец. — Ни один земной охотник не добыл бы их».)

¹ «Кедровой шишке подобная кукла, сосновой шишке подобная кукла» — так иносказательно называют перволюдей Земли.

Плавал Он по рекам, ловил рыбу.

В те времена в низовье Агана, недалеко от устья, почти на всю ширину реки лежал подводный мамонт-чудовище Утки-Морянки. Мамонт-чудовище мог лодку вместе с людьми проглотить. Мог целое селение подмыть и свалить в реку. Мог сушу превратить в воду, а воду — в сушу. Тот, Кто Где-то Рядом на этом лежище приставил к голове мамонта-чудовища меч и нырнул с одного берега и, как ни в чем не бывало, вынырнул возле другого.

Так Он жил на земле.

Был Он большим озорником. Сказывают старики, озорства ради решил Он испытать свою силу. Поднялся на вершину высокой каменной горы и взялся руками за небосвод. Ноги Его по колени ушли в камень, но движение неба Он остановил. Остановилось Солнце. Остановилась Луна. Остановилась Вселенная. Остановилась жизнь. Почувствовав неладное, Верховный Бог-Отец вышел из Небесного Дома. Смотрит, Младший Сын держит небосвод. Увидев Отца, тотчас же Сын отпустил небосвод и накинул на плечи родителя соболью шубу, а на голову опустил соболью шапку. Знал, озорник, на что шел. Знал, озорник, чем Верховного Отца умилюстить. Старый Бог будто бы только усмехнулся и молча в свой Небесный Дом удалился.

Когда приходила война, Он был воином-богатырем. Брал боевой лук и меч, надевал воинские доспехи и седлал коня. Все, даже самые древнейшие мифы говорят, что в сражениях Он всегда одерживал верх.

Так Он жил на земле.

Охотился.

Ловил рыбу.

Озорничал.

Ходил по тропе войны.

Строил дома-теремы.

Влюблялся в богинь.

Многое вокруг напоминает о Нем. Я смотрю на елку. Это самое высокое дерево на наших землях. Сказывают, когда-то в древние-задревние времена Он взял елку за макушку и вытянул к небу. С тех пор елка стала главенствовать над всеми деревьями в лесу. С тех пор она тянется к Солнцу. А на самой ее верхушке ровная, без боковых отростков-ветвей, похожая на рукоятку, заросшая иглами кисть — за нее мой Бог-Хранитель вытягивал елку в небесную высь. Осталась лишь отметка от Его руки.

На свете Он самый скорый, самый быстрый. Мгновенье — и Он здесь. Мгновенье — и нет Его, Он уже на другом конце Земли. Мгновенье — и Он в небесах. Иначе Ему нельзя. Ведь в мгновенье ока, как только подумали о Нем, — должен прийти на помощь человеку. Поэтому и дали ему второе имя — Быстро Ездящий Старик...

Как Он ездил?!

Как Он летал?!

Сверкнет белым золотом — Он здесь. Сверкнет черным золотом — Его нет. Озарятся небеса живым золотом — значит, Он там. Посыплется золотой огонь с небесной выси — это Его След, говорят люди. Сам Он уже за Шестое Небо, за Седьмое Небо вознесся, а след оставил для людского ока, людской молвы...

Он самый младший в семье. И я вижу Его вечно молодым и озорным. Я знаю: Он бог, а боги не стареют. Просто люди из уважения добавили к Его имени слово «старик»...

Он жил на земле в древние-задревние времена. До появления кедровой шишке подобной куклы. До появления сосновой шишке подобной куклы. Он жил

здесь в ту пору, когда земля населена была Богами. Потом Он ушел на Небо. И Верховный Отец поручил Ему охранять Землю и Людей Земли. И теперь по небу, на коне, объезжает Он Землю. Смотрит, все ли в порядке, все ли ладно у Людей Земли, не нуждается ли кто в Его помощи... Он все видит. Он все слышит. Он всегда «Где-то Рядом» с человеком. Он всегда «Где-то Рядом» со мной. Я это чувствую. Возможно, Он в реках и озерах. В океанах и морях. В урманах и болотах. В травах и деревьях. Словом, всюду вокруг...

Вот таков Тот, Кто Где-то Рядом — мой Хранитель, мой Покровитель. Меня еще младенцем посвятили Ему. Он хранит мою душу. И, защищая-охраняя от всех невзгод, защищая-охраняя от всех нечистых сил, ведет меня по жизненной тропе. С таким всемогущим и молниеносным Покровителем мне уготована удачливая и хорошая жизнь. Ведь в любую трудную минуту, как только о Нем я подумаю, — в мгновение ока Он придет на помощь. Стало быть, только вовремя Его нужно позвать.

В это я свято верил во младенчестве.

Верил в детстве и в отрочестве.

И верю теперь.

Матерь-Огонь

Огню в нашем доме поклонялись все. Огонь — это Матерь наша, а без Матери разве возможна жизнь человека? Особенно на Севере, в наших снегах и льдах? Конечно же нет. Может быть, поэтому у нее много ласковых имен — и Тувэт-Анки, и Най-Анки. Последнее значит Огонь-Матерь, Огонь-Богиня. Ведь Най переводится и как Огонь, и как Богиня, Молодая Красивая Женщина, Добрая Девушка...

К Огню очага мы относились как к Богине, живущей в нашем доме, рядом с нами. Протяни руку — и она приласкает тебя, обогреет. Она тебя и горячим чаем напоит, и вкусной подоушкой угостит, и ароматным бульоном порадует.

Мы пред ней в долгу тоже не оставались.

В день Праздника Дома перед Богиней Огня Отец ставил маленькую сосенку в платке. Платок запасали заранее, когда отец ездил в поселок. Там он покупал платки и, наверное, про себя говорил: «Это для хозяйки дома. Это для дочерей. А это для Богини дома — Огня...»

Сосенка в красивом платке стояла перед Огнем чувала. Самой сосенки не видно было. Казалось, платок держится на трепетном пламени Огня. Миг-другой — и он шагнет в пламя и взлетит в небо, унесется ввысь.

Но пока еще время не настало — платок был на месте.

Мы все поворачиваемся к Огню. И Отец медленно и торжественно произносит:

— О, домашнего Дома
Золотая Богиня Огонь-Матерь,
Этот Дом
И этого Дома утварь,
Всех Дома Богов-хранителей,
Всех детей-мальшей,
Всех взрослых и малых,
От духов-нечистей
Охраняя-защищая,
Имей!..

И мы все, стоя, кланяемся Огню.

Мама кланяется с моей младшей сестрой на руках и тихо говорит малышке:

— Смотри, у Огня-Матери тоже есть дети. Вон как бегают-резвятся. Так вот они играют...

Я перевожу взгляд со столика с пищей и кружкой чая на Огонь. И, кажется мне, вижу: не языки пламени резвятся, а дети Матери-Огня, мальчики и девочки, мои сверстники...

Отец косится на нас, потом поднимает голову и, обращаясь к Огню, добавляет:

— Если вдруг
Неразумные дети
К тебе
Придут-приползут,
Ты своею рукою
От себя
Отстрани — отведи!..

Мы кланяемся, а потом поворачиваемся по солнцу. Снова кланяемся.

Отец говорит с Огнем.

И Мама говорит с Огнем.

И я думаю об Огне.

И сестры, наверное, думают об Огне.

Когда сделали семь поворотов по солнцу, остановились. Отец сказал:

— Кажется, пора настала.

Мама сказала:

— Кажется, да.

Отец взял платок и поставил его в пламя Огня. Мы трижды негромко прокричали ритуальные слова:

— Во-о-о-во-о-во!

— Во-о-о-во-о-во!

— Во-о-о-во-о-во!..

Мать-Огонь осторожно взяла платок.

— Ну, кажется, все, — сказал Отец.

— Да, она хорошо взяла платок, — сказала Мама. — Высоко подняла. Пусть носит... Пусть нас помнит...

За ритуальный стол мы сели со светлыми лицами. Было приятно, что у нас есть такая ласковая и добрая Покровительница, к которой можешь в любую минуту обратиться. И пища, дух которой взяла Золотая Богиня Огня, показалась нам всем особенно вкусной и питательной.

Теперь я понял, почему Мама не разрешила бить по огненным головешкам, играть с Огнем, бросать в Огонь сломанные иголки и другие острые предметы. «Больно Огню-Матери», — говорила она. Или тихо просила: «Не обижай, Огонь-Мать». Я слышал боль в ее голосе, поэтому переставал хулиганить.

Бывало, Отец привозил Богине Огня отрез на сак. Тоже снаряжали сосенку или ветку другого какого-нибудь дерева. И посередине, на месте пояса, перевязывали лентой. Будто стояла сама Богиня, поддерживаемая трепетным пламенем. Стояла, слушала слова людей, а потом, сделав шаг, в золотых искорках и бликах медленно уплывала ввысь к своему небесному отцу Нум Торуму.

В нашем доме не забывали священную Покровительницу очага. Как тут забудешь, если каждый день с нее начинался, если каждый день, как говорила Мама, на нее сидишь...

После, когда не стало Матери, я подолгу сидел у чувала и молча смотрел на Огонь. И Мать-Огонь мне что-то успокоительное шептала, по-матерински ласкала и грела. Так я узнал, что Золотая Богиня Огня похожа на мою Маму. И быть может, я с великою надеждою и терпением ждал того мгновенья, когда из пламени шагнет ко мне моя преждевременно ушедшая Мама...

Золотая Богиня Дома

Когда Отец был в отъезде и мы оставались одни, то вечером, укладываясь спать, Мама говорила нам:

— Спи спокойно, с нами Огонь-Матерь...

Но Огня я не видел. Лампу на ночь тушили — берегли керосин. Гас и Огонь в чувале. И дом наш к утру довольно крепко выстывал. Бывало, в холодные ночи питьевая вода в куженьках покрывалась корочкой льда. Зная это, Мама укрывала нас с сестрами лучшими меховыми ягушками.

Вроде бы ночью Огня в доме не было. И на мой недоуменный вопрос Мама ответила:

— Ты не видишь Огонь-Матерь...

— Почему?

— Я укладываю ее, когда ты уже в постели...

— Ты Огонь укладываешь спать?

— Да. Когда Папы нет, мы спим с Огнем.

— А как это ты делаешь?

— Дождись вечера, посмотришь.

— Ладно, — согласился я.

Почему же я ни разу не видел, как Огонь укладывается спать, подумал я. Впрочем, это было немудрено. Ведь когда я засыпал, Мама еще бодрствовала. Она вечно что-то делала, никогда без работы не сидела: то шила, то выдывала шкуры, то плела нити из сухожилий оленя или лося. Утром же, просыпаясь, я видел, как она уже хлопотала по дому. Было такое впечатление, что она вообще не ложилась спать.

Вечером я сел у чувала и стал дожидаться, когда Мама управится со всеми делами по дому и уложит спать Огонь очага.

— Сейчас, уложу Огонь, — сказала наконец Мама.

Я придвинулся поближе к чувалу.

Мама взяла обугленную палку-кочергу и осторожно разгребла золу чувала, затем собрала в эту ямку-раскал огненно-красные угли и небольшие головешки с огнем и, ласково глядя на них, тихо попросила:

— О-о, милая Огонь-Матерь,
Наши души, нашу плоть
Охраняя-защищая,
Имей их!..

И медленно прикрыла золой угли с живым Огнем. Потом поправила головни у стенки чувала.

— Все, теперь мы с Огнем, — сказала Мама.

— Огонь не погаснет? — удивился я.

— Огонь в золе до утра будет жить...

— Да. А потом что?

— Утром ночевавший в золе Огонь обязательно нужно поднять.

— Почему?

— Так наши предки делали. Если Огонь уложен спать, то утром его разбудить нужно.

— Я увижу это?

— Вставай пораньше — и все увидишь...

Наверное, в этот вечер я заснул сразу же, как только добрался до постели. Ведь я был уверен, что в доме, где ночевал живой Огонь, никто не посмеет обидеть меня. Никто не посмеет тронуть меня! Хотя Отца дома нет, но зато есть Огонь-Матерь, защищающая нас от всех неведомых темных сил. Так, возможно, думали и мои сестры. Им тоже спокойно спалось в доме с живым Огнем, в доме под добрым крылом Огня-Матери. И Мама была довольна тем, что ночные духи-нечисти обходили стороной ее дом и детей.

Утром, едва открыв глаза, я вскочил и поспешил к чувалу. Мама уже хлопотала возле очага. Она раз-

гребла кочергой золу, вывернула наружу остатки вчерашних огненных углей и головешек. Только черно-серый пепел увидел я. И больше — ничего. А Мама все тихонько ворошила золу. И наконец, в самой глубине, в затаенном уголке ямки-ложа, выискала несколько огненных искорок Огня.

Жив Огонь очага.

Мы все невольно улыбнулись.

И загудело веселое пламя в чувале.

Из маленькой искорки переночевавшего в золе Огня. Сколько надежд вселяла в нас Золотая Богиня Дома!.. Сколько надежд она оправдала!..

О-о, Золотая Богиня Дома,
Наши души, нашу плоть
Охраняя-защищая,
Живи!..

Огонь лечит меня

Если у меня болела голова, Мама бодро говорила:

— Потерпи, сейчас вылечим...

Уложив меня в постель, она кончиком лучины брала из чувала Огонь. И, что-то шепча, обводила Огонь вокруг моей головы. Потом она тихо говорила:

— Огонь-Матерь взяла твою боль... Теперь немного поспи...

Перед моими глазами долго еще трепетало, словно плавало по волнам, маленькое пламя лучины. Потом пламя превращалось в красивую Богиню Огня. Она ласковым взором согревала меня, и я вскоре засыпал. Снилось мне что-то теплое, светлое, мягкое. Проснувшись, я уже напрочь забывал про головную боль. Наверное, добрая Богиня Огня и вправду забирала мою боль.

Когда я подрос и стал размышлять, спросил у Мамы:

— А что ты шепчешь маленькому Огоньку лучины?

— Разговариваю, прошу помочь тебе.

— Какими же словами это делаешь?

— А слова такие:

Милая Огонь-Матерь,
Внучонка головку
Оздорови-излечи!
Внучонка боль
Отними-возьми!
Внучонка головку
Хорошей сделай!..

— И она слышит твои слова?

— Да, конечно.

— А если боль не пройдет?

— Тогда я обведу Огонь вокруг твоей головы не три раза, а больше.

— Еще три раза?

— Нет, семь раз.

— Почему семь раз?

— Потому что семь — наше священное число.

— А-а... — говорил я и призадумывался.

Значит, три — это малое священное число, размышлял я. А семь — большое или среднее священное число? По словам Отца, самое почитаемое число — это три семерки. Правда, тогда я еще толком не знал, сколько всего будет, если одну семерку взять три раза.

Мама и сестер моих лечила Огнем, когда они жаловались на головную боль. Впрочем, случалось это не часто. Но лечение Огнем запомнилось. И однажды, почувствовав боль в животе, я сказал Матери:

— Пусть Богиня Огня мой живот полечит!
— Погоди, может, без нее обойдемся, — сказала Мама.

— Кто же вместо нее полечит меня?
— Сейчас что-нибудь придумаем, — вздохнула Мама.

Она сняла с меня малицу и положила руку свою на мой живот. Я ощутил тяжесть и тепло ее ладони. Немного погодя почувствовал, как тепло входит в меня. И боль будто стала притупляться. Потом я незаметно задремал. И приснилось, как Богиня Огня прикоснулась ко мне. Она улыбалась, и я чувствовал чудные прикосновения ее руки. После в ее облике я уловил знакомые с самого раннего детства черты моей Мама. Она на моих глазах оборачивалась моей Мамой. И у меня рождалось щемящее чувство тоски, будто я давным-давно разлучился с Мамой и не видел ее. Я страшно соскучился по ней. С этим чувством я проснулся и прибежал к Маме.

— Как твой животик, Роман? — спросила Мама.
— Хорошо моему животу.
— Нет боли?
— Нет. Боль взяла сначала Богиня Огня, а потом ты, Мама.

— Вот и хорошо, — улыбнулась Мама.

Руками лечили нас с сестрами и Мама, и Папа. Папину руку тоже помню. Руку тяжелую, мозолистую, теплую. И грела она по-другому, чем Мамина рука. Тепло отцовой ладони проникало в меня медленно, не спеша, как все, что делал он в жизни. Мне казалось, что и он, как и Мама, про себя призывал на помощь всеильную Богиню Огня.

Про Богиню Огня мы никогда не забывали.

Если ночь заставала нас в пути и мы устраивались на ночлег без шалаша, Мама, уложив меня с сестра-

ми в постели, обращалась к Огню. Начиная с самых младших, она обводила Огнем на кончике лучины наши головы и шептала:

— Милая Огонь-Матерь,
Этой твоей внученьки
Душу-плоть
Охраняя-защищая,
Имей ее!..

Когда наступал мой черед, Мама говорила:

— Милая Огонь-Матерь,
Этого твоего внука
Душу-плоть
Охраняя-защищая,
Имей ее!..

Все засыпали. Засыпал и я. И не то во сне, не то наяву слышал тихий шепот. То ли дремлющего леса шепот, то ли охраняющей-защищающей нас Бабушки-Огня шепот. Если все мы, малые, внуки ей, то, стало быть, она наша Бабушка. А Бабушка ведь не спит, она нашептывает сказки и убаюкивает.

Огонь охраняет-защищает нас в ночи.

Огонь, как Бабушка, убаюкивает нас.

Огонь лечит нас, как шаман.

Наш старший брат Галактион, возивший почту между Верхним и Нижним поселками, однажды, приехав домой, сказал:

— В старину, говорят, на больное место Огонь ставили.

— Расскажи, как Огонь ставили, — попросил я.

— Кусочек трута кладут на тело и поджигают.

— И боль уходит?

— Да, — сказал брат.

Мы сидели у чужала и смотрели на Огонь. Брат рассказал историю, которую слышал в детстве. Буд-

то бы в старину у одного старого деда очень болел живот. И он взял кусок трута с сосновую шишку и сказал людям: «Люди, поставьте мне Огонь. И крепко держите меня, сколько бы я ни кричал. Не отпускайте, пока не сгорит трут». Люди ему сказали: «Да кто же такой большой Огонь ставит?» Дед отвечал: «Я выдержу Огонь с сосновую шишку. Ставьте скорее!» Раз такое дело — поставили ему Огонь, уносящий болезни. Сколько-то времени дед терпел, а потом взмолился: «Отпустите, мочи нет!» Но поскольку он строго-настрого наказывал не отпускать, то люди держали его, чтобы избавить от боли-болезни. А трут все шаял-горел. И наконец, Огонь провалился ему в живот. Вот как закончилось это лечение. В старину и такое случалось.

— Наши предки тоже немало глупостей делали, — усмехнулся брат.

— Это чтобы мы умнее стали, — заметила Мама. Я тут же к ней с вопросом:

— Правда, Мама, что Огонь ставят?

— Правда.

— А мне почему никогда Огонь не ставила?

— У тебя нет таких болезней, чтобы Огонь ставить.

— А у кого они есть?

— У старых людей, у взрослых.

— Им ставят?

— Да, детям очень редко ставили Огонь и в старину.

— А кусок трута какой величины нужно брать?

— Совсем маленький кусочек — величиной с бисеринку.

— Ни больше, ни меньше нельзя?

— Почему же, можно. Смотрите что за человек, что за болезнь...

Мне очень хотелось увидеть, как это делается. Как Огонь бьет по боли человека. Как Огонь исцеляет человека от невидимых глазу недугов. «Не спеши, как-нибудь и на это посмотришь», — успокоила меня Мама. В те дни я почувствовал все исцеляющую силу Богини Огня, что была и ласковой Матерью, и доброй Бабушкой. Богиня, подобно сказочной фее, медленно уходила в пламя — и в доме оставался лишь Огонь. Но как только мы обращались к ней, она приходила к нам из пламени.

Мне казалось, что я всегда буду здравствовать под неустанным оком Огня-Исцелителя.

Огонь исцеляет Наси

С верховья Агана в наше селение приехал Наси. Вообще-то его полное имя Афанасий. Но в роду Камзакиных все звали его Наси. Он женат на дочери одной из ветвей нашего рода Бобра, поэтому приходится нам зятем.

На его правой щеке, недалеко от уголка рта, круглое синее пятно. Со слов взрослых я знал, что, еще когда Наси был молод, в него на охоте случайно выстрелило ружье, и он, окровавленный, кое-как добрался до дома. Добрался до дома и выжил. Хотя был еще нестарым, но голова его давно побелела. Может быть, она побелела в тот день, когда он получил синее пятно. Как-то, разговаривая с моим Отцом, он спросил:

— Тесть-старик, вы когда-нибудь ставили Огонь?

— Да, приходилось. Правда, давно, когда мой Отец еще был здоровым.

— Не поставите ли мне Огонь?

— На какую болезнь?

- Суставы в плечах у меня болят. Огонь помогает.
- Не знаю, поможет ли моя рука...
- Больше-то ставить Огонь некому.
- Так-то оно так.
- Может быть, попробуете?
- Если вы настаиваете, зять-старик, то попробую...
- Хуже не будет, попробуем, тесть-старик...

Весь этот разговор я слышал, потюкивая молотком. Мама дала мне работу — на дне большого деревянного блюда размельчать соль. Соль у нас всегда была изжелта-серая, крупнозернистая — для посолки рыбы и котла. Для других же нужд ее измельчали молотком. Этим в основном занимались дети. Но работа довольно однообразная и нудная. И сейчас, услышав разговор взрослых, я тотчас же отставил блюдо. Надо ведь посмотреть, как ставится исцеляющий Огонь!

Между тем Отец и Наси сделали из березовых гнилушек шесть заостренных коротких палочек. Затем достали трут, нарезали крошки чуть меньше бисеринки, приготовили спички. Кажется, все готово. Наси снял рубашку, показал на правое плечо.

— Сначала сюда нужно поставить Огонь, — сказал он.

- Сколько? — спросил Отец.
- Три. С Божьим ликом.
- Знаю.
- Чтобы на сухожилие не попало.
- Хорошо.
- Если на сухожилие попадет — Огонь не держится, отлетает.
- Старые-то метки есть?
- Есть, вот они. И если на большую боль-болезнь Огонь попадает — тоже не держится, отлетает.
- Ладно, посмотрим, как получится.

Над суставом, на правом плече Наси, Отец положил кусочек трута. Затем поджег заостренный конец березовой палочки-гнилушки, что тотчас же зашаяла-загорелась. Большим и указательным пальцами прижал кожу с двух сторон трута — и придавил его сверху горящим концом палочки. Кусочек трута тоже зашаял.

Вспомнив рассказ старшего брата Галактиона, я ждал, когда люди возьмутся за Наси, чтобы не дрыгался он, не дергался, пока Огонь лечит его. Но никто не прикоснулся к Наси. И я понял, что никто не собирается удерживать его. Я же подумал, что если он взбрыкнет, то все его лечение Огнем пойдет насмарку. Но он, сложив руки на коленях, спокойно сидел. А трут все шаял-горел. Раз только Наси вздрогнул всем телом. Но Отец удержал Огонь на его плече.

— Больно? — спросил кто-то.

— Да нет, — сказал Наси. — Просто Огонь бьет внутрь, в сустав.

— Так и должно быть?

— Да, это Огонь бьет боль.

— Терпеть-то можно?

— Можно, — спокойно сказал Наси.

Когда трут сгорел, Отец сделал небольшую передышку. Потом он запалил второй кусочек, а после — третий. Наси иногда вздрагивал, но Отец удерживал Огонь. Вот и дотлел последний кусочек трута. Отец сдул обуглившиеся остатки. На плече Наси осталось три коричневых пятнышка от Огня. Это Божий лик — два ока и нос.

Все, как бы разом, облегченно вздохнули.

Потом такой же Божий лик отпечатали и на левом плече. Снова остались коричневые пятнышки на теле — глаза и нос.

Огонь прибил боль в суставах Наси.

— Хорошая у вас рука, тесть-старик, — сказала Наси моему Отцу.

— А-а, — вздохнул Отец.

— Боль прибита, — говорил Наси, поглаживая плечи. — А если рука худая — Огонь не держится, боль не уходит.

— А боль насовсем уходит? — спросил кто-то из мужчин.

— Если боль вернется, опять Огонь поставим, — сказал Наси.

— Да-да, ведь Огонь рядом...

Я старался не пропустить ни одно слово, ни один жест. Мне казалось, что, когда вырасту, с помощью всеильного Огня смогу избавить от боли всех моих сородичей, всех людей, кто в этом нуждается.

V

ШАМАНЫ И СКАЗИТЕЛИ

Голос Бубна

(В поисках Истины Истин)

Впервые я услышал голос бубна в руках моего Крестного, старца Ефрема...

Бубен вошел в дом через потолочное окно. В зимнем доме моего Крестного приподняли оконную льдину: мужские руки сверху подали — мужские руки внизу бубен приняли. И водрузили его на верхней полке задней стены, под самым потолком. Пусть с холода согреется, сказал Старец.

В чувале пылал огонь.

Потрескивали дрова.

Люди в доме, ведя негромкую беседу, неспешно поужинали. После ужина женщины убрали посуду, а мужчины закурили. Посидели, поговорили. Потом спросили Старца:

— Ну, Старый Человек, та пора не настала ли?!

— Как знаете... — медленно проговорил Старец, попыхивая трубкой. — Настала так настала...

Тут мужчины заговорили между собой:

— Кто ободообразный согреет?

— Кто возьмется?

— У кого желание есть?

— Смотрите, у кого лучше получится...

— Сначала надо ободообразного снять с полки...
В разговоре обычно не пользовались словом «бубен» — «куйп». А говорили о нем иносказательно — ободообразный или ободообразное дерево.

Между тем ободообразного сняли с полки, вытащили из матерчатого чехла и поднесли к чувалу. В чувал поставили сухие сосновые поленья. Весело заклокотал огонь. И мужские руки начали греть бубен. Сейчас не помню, кто именно делал это в тот вечер. Может быть, дядя Василь. Возможно, мои троюродные братья Никита или Михаил. Возможно, кто-то другой. Но ободообразного грели. Сначала с одной стороны — внешней, потом — с внутренней. А затем, поставив на ладонь левой и вращая по кругу правой рукой, — подставляли живительному огню бока бубна.

И огонь вселялся в бубен.

И чем больше его грели — тем он звончее становился.

Бубногреющий время от времени взмахивал колотушкой — пробовал на звук, дошел бубен или еще не дошел.

А Старец молча сидел по-мужски, скрестив и подбрав к себе согнутые в коленях ноги, посреди главных нар у задней стены. Сидел и курил свою трубку. Отрешенный от всего мира, он будто не слышал и не видел того, что происходило в доме.

Мужчины снова заговорили между собой:

— Как бы кто посторонний не подъехал...

— Собаки, поди, дадут знать...

— Да, услышат, залают.

Вопросительно глянули на Старца, сказали:

— Может, Старый Человек сначала пошлет глаз вдоль нижней и вдоль верхней дороги...

— Да, хорошо бы глянуть...

Старец молча продолжал курить трубку, будто ничего не слышал.

— Посторонние-то ладно, вот как бы русские не нагрянули!

— Ну, поди, пронесет...

— Никто будто бы не собирался...

Смолкли мужчины.

Бубногреющий подошел к Старцу и сказал:

— Кажется, дошел... Кажется, вот его мера...

— Коль дошел, так дошел... — проговорил Старец и протянул руку.

Старец взял бубен левой рукой и подержал его на весу. Потом переложил бубен в правую руку, снова подержал на весу, а затем переложил в левую. И не спеша, перехватывая правой, трижды повернул бубен по солнцу. И только после, приподняв его на уровень лица, выдержав нужную паузу, взмахнул правой рукой.

— Ов-в, — сказал бубен.

— Ов-во-в, — проговорил бубен вторую фразу.

— Ов-вов-во-о-о-о-о!.. — зазвенел-заговорил бубен то ли голосом золотистым, то ли голосом серебряным.

Зазвенел-заговорил бубен после третьей фразы, после третьего прикосновения палочки-колотушки с коротким мехом.

Я слушал голос бубна.

Весь дом слушал его.

Казалось, целебный звон входил в меня. Входил в дом. Входил в сосны и снега за стенами дома. И устремлялся в бездонное небо. И возможно, доходил до звезд и Луны.

Звенел бубен.

Разговаривал бубен.

Не знаю, сколько прошло времени. Но звук становился все ниже, все глуше. Наконец бубен про-

тяжно вздохнул и замолк. Старец протянул его бубногреющему. Тот молча взял его и, поправив огонь в чувале, принялся снова подогреть у языков пламени.

После второго подогрева бубен зазвенел с новой силой.

А вскоре в помощь ободообразному запел и Старец. Начал негромко. Но, подобно бубну, песня все набирала и набирала силу. Чем дальше — тем звучнее. Чем дальше — тем напевнее и шире.

И наконец Старец слился с поющим бубном. Не разобрать: где его голос, а где голос бубна. Где его песня, а где песня бубна. Где его тень мелькает, а где тень бубна. Он стал таким же звонким, легким и стремительным, как и бубен. В такт каждому взмаху белая, как снег, голова старца откидывалась назад. Вперед-вниз-вверх-назад. Вперед-вниз. Вверх-назад. Лишь заиндевелой травянистой кочкой взвивалась его седина. Казалось, вот-вот он взлетит-взовьется со священным бубном в руках-крыльях.

Взлетит, взовьется, улетит в неведомые выси. Поднимется в небесные выси. Поднимается в божественные выси. Поднимется, воспарит за Истиной, за Удачей, за Здоровьем для меня и моих сестер, для моего Отца и Матери, для всех моих сородичей.

И он взлетел.

После третьего ли подогрева...

После четвертого ли подогрева бубна...

Он легко оторвался от сиденья.

Вышел на середину дома.

И вместе с бубном взвился до потолка.

И закружил-полетел по солнцу.

И неистово зазвенел бубен.

И яростно загрохотал бубен.

И Старец взлетал и опускался.

Взлетал и опускался.

И мужчины, и женщины в голос закричали, в такт закричали:

— Вов-в!..

— Вов-в!.. — откликнулся бубен.

— Вов-в!.. — откликнулся огонь в чувале.

— Вов-в!.. — откликнулись четыре угла дома.

— Вов-в!.. — откликнулись стены старого дома.

— Вов-в!.. — откликнулся лед потолочного окна.

— Вов-в!.. — откликнулся дом.

И я в неудержимом восторге негромко закричал:

— Вов-в!..

— Вов-в!.. — отозвались сосны в бору.

— Вов-в!.. — отозвались снега в бору.

— Вов-в!.. — отозвались звезды над домом.

— Вов-в!.. — отозвалась Луна в тучах.

— Вов-в!.. — отозвалось Небо.

— Вов-в!.. — отозвалась Земля.

А Старец все летал, все кружил по солнцу. Все летал, все кружил, не касаясь земли.

— Вов-в!..

— Вов-в-в-в!.. — отозвалась Вселенная.

Я клокотал от восторга.

Клокотало мое тело.

Клокотала моя душа.

Мой Крестный, как я узнал впоследствии, летал по неведомым и таинственным шаманским путям-дорогам. Распутывал-развязывал злым ли человеком, злым ли духом затянутые-перетянутые, путаные-перепутанные вязки-узлы, чтобы нам лучше жилось, чтобы нам легче дышалось... А кричали Старцу, чтобы он не потерял ориентир, не потерял Землю, не потерял обратную дорогу. Чтобы возвращался к людям, возвращался к нам. Душа его витала где-то далеко-далеко. Душа его витала где-то высоко-высоко.

Наконец он услышал наш зов:

— Вов-в!..

— Вов-в!..

— Вов-в!..

Движения его замедлились, голос бубна убавился. Закончив последний круг по солнцу, медленно и плавно, под негромкий говор бубна Старец опустился на свое место. А бубен, успокаиваясь, словно оленья упряжка, подъезжающая к дому, все убавлял и убавлял темп. И наконец умолк, с сожалением вздохнул.

Бубногреющий тут же подхватил его.

Пятый ли, шестой ли раз погрелся бубен.

И снова запел. Снова заговорил.

И Старец запел. И Старец заговорил.

Дом слушал. Дом внимал каждому его слову. И теперь уже никто не вспоминал о русских. Вернее, о красных. Ибо под словом «русские» прежде всего подразумевали красных. Это они строго-настрого запрещали шаманить и поклоняться богам, за что своей жизнью расплатился не один человек. Взрослые часто вспоминали, как красные «шаманов уносили». Многих уважаемых и мудрых людей Реки унесли. Унесли навсегда. И Старца, моего Крестного, тоже уносили. Пожалуй, он один выжил и вернулся. «С Божьей помощью», — говорил он с протяжным вздохом. Однако, вернувшись домой, Старец не отрекся ни от Бога, ни от шаманства. И когда люди, доведенные до отчаяния неудачами и болезнями, просили пошаманить, он никому не отказывал. Шаманил и сном, и топором, и бубном, и мухоморами. В шаманском деле был, пожалуй, мастером на все руки. Лишь два вида хантыйского шаманства не видел я в его исполнении: с помощью ютта — заклинаний-повторений определенных

слов и с помощью резания оленьих сухожилий. Разумеется, сушеных.

Видно, ни тюрьмы, ни лагеря не смогли поколебать его веру в Бога и в свою шаманскую силу. А наоборот, укрепили эту веру. Иначе, без веры, вряд ли бы Старец выжил и вернулся. И, приняв все муки земные, теперь он уже никого не боялся и на пороге столетия шаманил, просил для людей удачу и здоровье. Больше всего шаманил по двум поводам: на удачу на охоте или рыбной ловле и на выздоровление больного. И очень редко, обычно в Священном Яру, брал в руки бубен, чтобы доставить душу жертвенного оленя тому или иному Богу или Богине...

После, спустя годы, разные лекторы-пропагандисты внушали мне, что «шаман — это враг народа». Но я не верил ни одному их слову и в душе, возможно, посмеивался над ними, несчастными от своего невежества. Оказывалось, как правило, что ни один из них не встречался с живым шаманом. Ни разу, ни при каких обстоятельствах... Разве можно назвать врагом моего Крестного, если он приносит людям удачу и здоровье?! Если он ищет для народа пути к добру! Если он ищет для народа пути к Истине Истин!..

Седьмой ли, восьмой ли раз погрелся бубен.

Седьмую ли, восьмую ли песню завел старец Ефрем.

Седьмой ли, восьмой ли танец-полет начал мой Крестный.

В тот в первый раз, когда я услышал голос бубна, не помню — на удачу ли, на здоровье ли он взялся за ободообразное дерево. Не помню, на чью просьбу он тогда откликнулся. Не помню, кому нездоровилось, к кому пришла неудача. Но во мне остался голос первого бубна. Осталась первая песня, первый магиче-

ский танец-полет нашего Старца. Я был очарован его таинственным миром, куда меня неудержимо влекло, влекло, влекло. И до сих пор во мне осталась надежда, что когда-нибудь я смогу заглянуть в тот мир, где удалось побывать моему прадеду Ивану, моему деду по отцовской линии Роману, моему Крестному, старцу Ефрему, и многим другим моим родственникам и сородичам.

Сказки моего Крестного

По вечерам мы обычно собирались в доме дяди Василя, где жил мой Крестный отец, старец Ефрем. Мы приходили к нему, и друзья тыкали меня в бок и шептали:

— Сказку проси! Он твой Крестный отец!..

Я придвинулся к Старцу и громко — он стал туповат на ухо — просил:

— Крестный мой, нам сказку расскажи!

— Сказку? — медленно переспрашивал он.

— Да-да, сказку! Сказку!

— Да сказки давно покинули мою старую голову, — отвечал Старец.

Я недоверчиво косился на его белую как снег голову и лукаво тянул:

— Может, одна коротенькая осталась, а, Крестный мой?!

— Коротенькая?.. — переспрашивал он.

— Да-да, коротенькая сказочка!

— Что толку от коротенькой — ведь мало вам будет...

— Послушаем. Может, потом другая найдется.

— ... — кряхтел Крестный.

Пошушукавшись с друзьями, я подступался к Крестному с другой стороны, просил:

— Крестный мой, может, легенда найдется какая?

— И легенду разве так сразу найдешь... — отвечал Крестный.

— Мы согласны и на легенду, коль сказки нет.

— Да-а... — неопределенно тянул Старец.

Он сидел на своем обычном месте посреди главных нар, что вдоль передней стены. Провел рукой по лицу, поправил накинутую на плечи старую ягушку и, пошарив возле себя на лежанке, неторопливо проговорил:

— Вот трубка моя куда-то запропастилась...

— Сейчас поищу! — откликнулся я.

— И кисет вечно из-под рук уходит неведомо куда...

— И кисет отыщем...

Я мигом отыскивал трубку с кисетом и подавал ему.

— Вот спасибо, Крестничек мой, вот спасибо! — благодарил он.

И, помолчав, непременно добавлял свое пожелание:

— Чтобы и тебе, когда доживешь до моих лет, кто-нибудь подавал трубку и огонь!

«Это я должен дожить до ста лет!» — удивлялся я.

Он неторопливо набивал табаком трубку, неторопливо раскуривал ее и, сделав две-три затяжки, говорил, словно вслух размышлял:

— Старееет моя голова... Уходят мои сказки...

На это нам нечего было возразить.

Потом, еще несколько раз затянувшись дымом и помолчав, спрашивал:

— Может, загадку поискать?

— Загадку-загадку! — хором радовались мы. —
Загадку, дедушка! Согласны на загадку!

— Ладно, одну загадку вот в памяти разыскал, —
соглашался Старец.

Мы все разом затихали. А он, не спеша, скрипнув трубкой, выдавал:

— Загадка-Загадка моя,
посреди бора
длинный хвост
лежит-покоится.
Что это такое?

Мы все на минуту-другую замолкаем и задумываемся — что это такое? Потом начинаем отгадывать. Каждый выдает свое. Но все невпопад. Наконец кто-то кричит:

— Тропинка!

— Тропинка-тропинка! — хором подхватывают все.

— Молодцы! — кивал Старец белой головой. —
Верно, тропинка это.

Пыхнув трубкой, он загадывал новую загадку:

— Загадка-Загадка моя,
поверх мшистой валежины,
поверх травянистой валежины
две сестрицы
косятся-косятся,
а друг дружку увидеть...
не могут.
Что это такое?

Снова на мгновение замолкаем, потом кричим вразнобой, кому что взбредет в голову. Каждому хочется первым отгадать трудную загадку. Азартно блестят глаза. Слышится громкий шепот. Но Крестный молчит. Значит, еще не попали в точку, не сообразили,

что это за валежина, что это за сестрицы в загадке. Мы начинаем оглядываться на родителей — не поможет ли кто? Не подскажет ли? Вечерами возле старца Ефрема собирались и взрослые: наши отцы и матери, старшие братья и сестры, тетушки и дядюшки. Когда начиналась сказка, они замолкали и слушали с таким же интересом, как и дети.

Крестный мой молча, покуривая трубку, ждет отгадку. Кто они такие — две сестрицы, которые никак не могут друг дружку увидеть? Мне становится жаль этих неведомых сестриц: живут рядом, самые близкие родственницы — и вот такое наказание. Не могут друг на дружку глянуть. И что за валежина мешает им? Почему она мхом-травой заросла? Ну и ну.

Кажется, все перебрали, а ничего не подходит. Что же все-таки это такое?! А Крестный невозмутимо молчит, лишь трубкой попыхивает.

Наконец кто-то из взрослых показал рукой. И радостный возглас сообщил:

— Две сестрицы — это глаза!

— Верно! — соглашается Крестный.

Мы начинаем вращать глазами и убеждаемся: и вправду одним глазом другой глаз никак не увидит. Вот тебе и сестрицы! Близко, рядом, а не увидишь. Разве что зеркало поможет.

— А валежина что? — спрашивает Крестный.

— Это — нос! — кричим мы радостно. — Валежина — это нос, нос!

— Верно! — кивает Старец. — Все-таки изловили отгадку.

— Изловили!

— Молодцы, хорошо!

Нам особенно приятна похвала Старца.

Возвращаются и те ребята, которые бегали за отгадкой в соседние дома. Но, увы, опоздали. Мы по-

бедоносно поглядываем на них, перешептываемся, укладывая в памяти загадку.

Наконец замолкаем в ожидании сказки.

А Крестный, прикрыв усталые глаза, молча покуривает трубку. Потом, очнувшись от дум, тихо говорит:

— Вот тут в памяти одну небольшую сказку изловил...

И в дом неторопливо входила сказка.

Мы вплотную придвигались к сказочнику и, забыв обо всем на свете, замирали со сказкой в ушах. Она завораживала и взрослых. Если приходили соседи что-то попросить, то они говорили только шепотом, словно боялись вспугнуть сказку. А бывало, махнув рукой на свои дела, оставались «на сказку».

Слушал весь дом. Слушал, затаив дыхание, не пропуская ни одного слова...

Такова была сила сказки моего Крестного.

Впрочем, он только говорил, что «сказка небольшая». На деле же она оказывалась такой же длинной, как и его жизнь. Он не трогал сказок коротких. Наверное, знал, что мы сами выудим их у наших родителей, у тетюшек и дядюшек. Он сказывал нам древние мифы, о которых мало кто слышал. Из них я узнал, что такое Земля и как появились на ней люди, звери и птицы, травы и деревья, реки и озера. Узнал, что есть Верхний Мир, где живут Боги. Есть Средний Мир — для людей. И есть Нижний Мир, куда перебираются люди после окончания жизни в Среднем Мире. Узнал, что в давние времена Боги устраивали сражения между собой. И отзвуки тех битв остались в названиях созвездий, в названиях многих сопков, рек и озер Среднего Мира. А после и человечество Земли не раз пускалось по неразумной тропе войны...

Что такое Средний Мир, в котором мы живем? Это островок в пространстве, сообщает нам миф. Это островок Земли в пустоте.

Все, что есть в этом мире, — все объяснимо, все имеет свои истоки.

Я слушал неторопливое повествование. И мне уже казалось, что все изначальное в жизни связано с моим Крестным отцом — мудрым старцем Ефремом. Со сказкой на устах он представлялся мне центром Среднего Мира, центром Земли и Неба, центром Вселенной.

Много его сказок я выучил. И когда в нашем доме собирались мои сверстники, а сказочника не было, я пересказывал им древние мифы моего Крестного. А коль один раз повторил сказку — уже не забудешь ее до конца своих дней. Так говаривали наши старики.

После, впервые увидев в школе глобус, я поразился: мой Крестный был прав. Прав, хотя ни разу глобуса не видел. Земля — это шар в пространстве. Просто он называл ее островком... А немного позднее первый космонавт, облетевший нашу планету, еще больше утвердил меня в другой мысли моего Крестного — во Вселенной есть разумные существа. Просто мой Крестный называл их Богами... Прав он был и насчет Нижнего Мира — ведь все мы, живущие на этом свете, в конце концов уйдем в землю.

Прав мой Крестный: жизнь вечна, ибо мы просто переходим из одного физического состояния в другое. Но след наш остается. И остаются наши сказки. Как останутся и сказки моего Крестного — частица его души, частица его жизни...

Старик Месяц

Огненно-медный лик Луны медленно выплыл из-за боровых сосен. И весенние снега, и вечерние облака, и дома, и люди — все стало таким же огненно-пурпурным, как и восходящая Луна. Когда я впервые увидел огромный круглый лик Луны, то спросил у Мамы:

— Это кто?!

И Мама ответила:

— Это Старик Месяц.

— Откуда он на Небо попал?

— С земли, конечно.

— А как он попал туда?

— Это лучше спроси у своего Крестного.

— А он знает?

— Конечно. Он все знает...

— Ладно, спрошу у Крестного.

Старик Месяц. Пораженный его живым румянцем и огненной величиной, я показал на него пальцем.

Мама строго сказала мне:

— На Старика нельзя пальцем показывать.

— Почему?

— Палец этот заболит.

— Отчего заболит?

— Есть такая примета древних, — пояснила Мама и, повернувшись к Старику, добавила: — Он не любит, когда в него пальцем тыкают... Вообще, кому это понравится?..

Строгий, видно, Старик, подумал я. Надо с ним ухо держать востро. Мне вовсе не хотелось, чтобы заболел мой указательный палец. Обеспокоенный этим, спросил у Мамы, что теперь будет с моим указательным пальцем. Она сказала, что на первый раз Старик простит меня. Ведь я показал пальцем по не-

знанию, а не с умыслом оскорбить его. Впредь я этого не стану делать и с большим уважением буду относиться к небесному Старику.

После этих слов Мамы я совсем успокоился.

Оказывается, Старик похож на человека. Он понимает меня, соображал я. Совсем как у людей на земле. И это еще больше утверждало меня в мысли, что все небесное и земное — взаимосвязано, едино, цельно. Значит, и я могу жить на земле и на небе. Ведь и Месяц-Старик жил когда-то на земле. Быть может, приходится мне родственником...

Как он попал на небо?!

Это меня необыкновенно заинтересовало. И вот мой Крестный отец, старец Ефрем, рассказал древний миф о происхождении Луны.

В одном городе-селении жил Человек, сын Главы города. Пришло время — его женили. Но в первую же ночь он проснулся оттого, что жена выдавливала из его носа кровь. Во вторую ночь — то же самое повторилось. В третью — то же. И так из ночи в ночь. На сколько же хватит моей крови, подумал Человек. И что же меня ждет, когда кончится моя кровь?.. Еще какое-то время прошло. Наконец Человек сел на коня и поехал куда глаза глядят. Долго ли ехал, коротко ли — увидел город. Остановил коня возле дома, вошел в дом. Там жила женщина. Он остался в этом доме. Жил-жил и однажды спросил женщину:

«Каков твой век?»

Женщина показала на сто железных топоров в углу дома и сказала:

«Когда затупятся лезвия у этих ста топоров — тогда мой век кончится...»

После этого Человек сел на коня и поехал дальше. Долго ли ехал, коротко ли — снова увидел город. Во-

шел в дом. В доме жила женщина. Он стал жить в ее доме. Жил-жил и однажды спросил женщину:

«Каков твой век?»

Женщина показала на триста железных топоров в углу дома и сказала:

«Когда изнасятся лезвия этих трехсот топоров — тогда моему веку придет конец...»

Услышав это, Человек сел на коня и поехал дальше. Долго ли ехал, коротко ли — увидел дом. Привязал коня, вошел в дом. В доме его встретила обликом на Солнце похожая, на Луну похожая женщина. Она столик ему поставила, накормила-напоила его. Тут Человека потянуло на сон. Прилег на бок и тотчас же уснул. Проснувшись, он вспомнил про коня: ведь его нужно накормить и напоить. Солнечная Женщина, Лунная Женщина вывела Человека из дома. Но там, где он привязал своего коня, увидел лишь иструхлявшие копыта и иструхлявший череп.

«Где же мой конь?» — спросил он Женщину.

«Это все, что осталось от твоего коня», — ответила она.

«Сколько же я спал — сто ли, тысячу ли лет и зим?..»

«Это уж сам определи...» — сказала женщина.

Куда же я теперь без коня, подумал он. И вслед за Женщиной вернулся в дом. И зажил в доме. Много ли, мало ли времени утекло — и вот его с неодолимой силой потянуло в отчий дом. Женщина поняла его с полуслова. Они вышли из дома. И она пошла за дом — и, подведя к нему нового коня, сказала:

«Не знаю, сумеешь ли живым вернуться... Не знаю, сумеешь ли здоровым вернуться...»

«Да хочется след отца-матери разыскать...»

«Не знаю, сумеешь ли сохранить свое дыхание... Не знаю, сумеешь ли сберечь свое дыхание...»

«Да все же поеду...»

«Коль поедешь — что же, езжай...»

И Солнечная Женщина привязала к хвосту его коня мешочек с золой, а на все четыре ноги надела свернувшуюся свитком бересту. И Человек сел на коня и поехал. Долго ли, коротко ли ехал и наконец начал узнавать знакомые места. Но, оказывается, он так долго ездил, что город, где жили его отец и мать, уже давно сровнялся с землей, а земля заросла травой-деревьями. Только на месте отчего дома возвышался небольшой бугорок. Человек слез с коня и сталковырять носком этот бугорок. И неожиданно оттуда выскочила первая жена — та, что выдавливала кровь из его носа. С криком «Дорогой мой муженек, иди ко мне!» — кинулась к нему. Он же вскочил на коня и поскакал в сторону своего последнего дома, к Солнечной Женщине. Но женщина из потустороннего мира не отставала от всадника. Она с криком и воем неслась за ним по пятам. И когда он скакал по тому месту, где стоял в прошлом другой город, который тоже уже сровнялся с землей, из бугорка бывшего дома выскочила вторая женщина — та, чей век длился сто топоров. Теперь обе женщины с воплями мчались за всадником, звали его к себе. Затем из бугорка на месте своего дома выскочила третья женщина — та, чей век длился триста топоров. И теперь три женщины из потустороннего мира неслись за ним. И хотя он гнал коня изо всех сил и конь летел галопом, но женщины все равно настигали его и уже тянули руки к коню. Одна схватила конский хвост — но в ее руке остался мешочек с золой. Другая схватила коня за правую ногу — да в руке оказался свиток из бересты. Третья хватать коня за левую ногу — опять в руке береста. Так и хватали бересту. Тут показался родной дом. И Человек послал вперед мысль: «Милая моя, спасай меня!»

И Солнечная Женщина уловила его мысль и выскочила на улицу, схватила Человека за правую руку и ногу. Но он не успел соскочить с коня, потому что с другой стороны схватили его за руку и ногу преследовательницы. И начали женщины тянуть его в разные стороны. Никто не хотел уступать. Тянули-тянули и наконец разорвали Человека посередине. Три женщины со своей половиной тут же с радостным визгом, хохотом и воем ринулись прочь. И сгнули бесследно.

А Солнечная Женщина занесла свою половину Человека в дом, скатала из того, что ей досталось, маленького ребенка, посадила его в люльку и стала качать, лелеять, растить. Ребенок рос, вырастал, взрослел. Но взрослым пробыл всего трое суток. Затем начал убывать и вскоре превратился в неразумного младенца. Она снова принялась качать его, лелеять, растить. И он снова оставался взрослым только трое суток. Затем все началось сначала. Она качала его, лелеяла, растила днем и ночью. И наконец от усталости уже не могла поднять руки.

И тогда она сказала:

— Если бы мне досталась твоя половина с сердцем, я бы сделала из тебя Человека. Но мне досталась половина без сердца — и я ничего не могу поделать...

Она скатала шарик из того, что ей досталось, и вышла на улицу. И со словами: «Я не смогла... Так пусть тебя Небо растит и лелеет!» — бросила шарик вверх.

И шарик этот стал Луной. Сначала он растет, затем трое суток остается взрослым, а после начинает убывать. И так из месяца в месяц, из года в год, из столетия в столетие. И люди из уважения назвали его Стариком Месяцем, а он по ночам стал освещать Землю своим изумительным светом.

А Солнечная Женщина, по версии древних, не захотела жить на Земле без любимого Человека. Она ушла в Небо и стала Солнцем.

Мне было до слез жаль Человека из сказки. И, чтобы не разреветься, я долго молчал. А после потребовал у взрослых ответа:

— Почему ей досталась половина без сердца? Скажите!..

Взрослые переглянулись между собой, помолчали, потом объяснили:

— Если бы ей досталась половина с сердцем, то не было бы сказки.

— И не было бы Луны. Понимаешь?!

Но я ничего не хотел понимать. Мне не нужна была сказка. Мне нужен был живой Человек, который жил бы рядом со мной на земле. И пас бы оленей, ходил на охоту, ловил рыбу. А взрослые этого не допускали...

Я много думал о Человеке пострадавшем. И однажды понял, что женщины из мифа — это силы добра и зла. Эти силы непременно должны были столкнуться и, столкнувшись, разорвали Человека пополам. А впоследствии я понял и то, что в каждом человеке есть два начала — светлое и темное. С годами одно из них берет верх, и оставшуюся часть жизни человек живет либо на свету, либо во тьме, и все его дела и помыслы идут уже по определенному руслу. Размышляя об этом, я все чаще думаю: кому достанется мое сердце? Светлому ли, темному ли началу?..

ЛЮДИ МЕСЯЦА

Чистый и по-детски доверчивый лик Старика Месяца так мне понравился, что я смотрел не отводя глаз, как он, пугаясь в ветвях сосен, поднимается в ве-

чернее небо. Казалось, он так близко, что протяни руку — и прикоснешься к его теплому лицу.

Миф утверждал, что на Луне отпечатались лицо Человека пострадавшего. Вернее, та половина, что досталась Солнечной Женщине. Видно круглое темное пятнышко — правый глаз Человека Земли, ставшего Месяцем. Видны половина носа, половина рта. Словом, видна правая сторона его лица...

Немного позже я услышал другую версию о темных пятнах на Луне. Будто бы Старик Месяц забрал к себе еще двух людей Земли. Я отчетливо видел на правой стороне Луны очертания человеческой фигуры. Человек чуть наклонился вперед, тянет руку к сидящему слева товарищу. Внизу, между ними, круглое отверстие проруби.

Легенду о том, как эти двое попали на Луну, помню смутно. Ее рассказывала соседка, тетя Аксинья, мать моей родовой сестры Катерины и брата Андрея. Помнится, она говорила, что людей Месяца видит не всякий живущий на земле. Это зависит не от зоркости глаз. Бывает, человек даже с очень острым зрением не может разглядеть лунных людей, детей Неба. Их узреет только тот, кому судьбой предначертана на земле долгая жизнь.

Помнится, я был рад тому, что старая тетя Аксинья хорошо видит лунных людей. Стало быть, она немало лет проживет на земле. Потом с тревогой спрашивал Маму, спрашивал Отца: видят ли они лунных людей? И с замеревшим сердцем ждал ответа. Ведь теперь я знал секрет, о котором, возможно, они ничего не подозревали.

Меня же самого в ту пору совсем не волновало то, какую жизнь мне предопределила судьба — долгую ли, короткую ли, ведь существование Неба и Земли я не представлял без себя. Главное — я мог рассма-

тривать лунных людей: их фигуры, протянутые друг к другу руки, бездонную пасть холодной проруби. Я отчетливо их видел и мог с ними поговорить. Это же дети Земли, мои сверстники, попавшие на Небо. Может быть, из моего рода. Значит, мои близкие родственники.

В ГОСТЯХ У СКУПОЙ СНОХИ

После ужина я попросился на улицу, чтобы взглянуть на Старика Месяца. Он уже поднялся высоко в небо, и свет его стал густым и голубоватым. От огненной красноты не осталось и следа. Если в начале вечера только голова его была видна из-за горизонта, то сейчас он весь предстал предо мной и пред людьми Земли.

Возьми сколько хочешь лунного света!..

Мне всегда казалось, что чем дальше я стоял под Луной, тем больше лунного света уносил с собой в дом. Слово Луна насквозь просвечивала меня, и лунный свет надолго оставался во мне.

Вскоре я заметил, что с каждым вечером Старик Месяц все позже и позже стал выходить на свою небесную тропу. В начале полнолуния он появлялся чуть ли не с первыми сумерками. А теперь!.. Я заметно заскучал, ожидая его. До полуночи надо сидеть, ждать его. А меня спать отправляют. Поздно, говорят родители, ложись, не то утро проспай. А кому утро хочется проспать?

Спрашиваю Отца:

— Где же Небесный Старик?

— Задерживается, — отвечает Отец. — Он в разное время вверх поднимается.

— Где задерживается?

— В народе говорят: «зацепляться» начинает.

— За что? За подводную корягу?

Обычно, говоря слово «зацепляться», подразумевали подводную корягу, подводный зацеп, который немало хлопот доставлял рыбакам летом и зимой. Коль уцепится за невод — так нескорo выпустит.

— Не за корягу, конечно.

— А за что же?

— Да у него свои дела, — говорит Отец и переводит взгляд на Маму.

Я тут же к Маме. Она, конечно же, знает, где задерживается Небесный Старик.

— В гостях он задерживается, — говорит Мама, не откладывая шитья.

Так я узнал еще одно сказание о Старике Месяце.

У Старика три сына, говорит Мама. После полнолуния он начинает их навещать. В первый вечер идет в дом старшего сына. Гостеприимная и расторопная старшая сноха встречает гостя, быстро готовит ему угощение, кормит и поит его. И тот, не задерживаясь попусту, поднимается на небесную тропу, чтобы осветить Землю и Небо.

Второй вечер Старик проводит в доме среднего сына. Средняя сноха особым радушием и гостеприимством не отличается. Она долго размышляет, что приготовить гостю, чем его угощать, чтобы и свекра не обидеть, и себя в накладе не оставить. Сноха все прикидывает, все мешкает, а время-то идет. Вот Старик и задерживается, с опозданием выходит на свою тропу.

На следующий вечер Старик приходит в гости в дом младшего сына. Младшая Скупая Сноха, недолго думая, повесила варить в котле голову старого хора, самца оленя. Голова жилистая, твердая. Сколько времени-то варить ее надобно!.. Вот Старик и сидит, ждет, томится. На Земле уже ночь. Темнота окутала селения, леса, реки и озера. Давно наступила пора на

тропу выйти, тьму развеять, пути-дороги людские осветить. А он все котел ждет, все сидит в гостях. Ведь солидному гостю никак нельзя уходить, не дождавшись стола. Обычай не велит.

— Когда Старик Месяц начинает задерживаться за горизонтом, люди говорят: это Скупая Сноха повесила варить для свекра жилистую голову хора, — закончила Мама. — Не скоро он выйдет на небесную тропу...

Я живо представил, как Старик поглядывает на потолочное окно, покашливает, волнуется, что опаздывает на небесную тропу. Опаздывает со светом для людей. А хозяевам хоть бы что. Ладно, Скупая Сноха, а сын-то куда смотрит? Неужели не видит, что Месяц-отец торопится по своим делам?

Спросил у Мама:

— Почему сын Старика не поторопит свою жену?

— Где это видано, чтобы мужчина вмешивался в женские дела?..

— А что такого?..

— Каждый должен делать прежде всего свое главное дело...

Наверное, Мама права. Вот Отец стал бы указывать ей, что и как сварить для гостей, что и как сшить для зимы. Это выглядело бы просто смешно.

Время шло. Приходили и уходили дни и ночи.

Из вечера в вечер все дольше и дольше задерживался за горизонтом Старик Месяц. А потом наступила ночь, когда он совсем не вышел на свою небесную тропу. Стало темно. Выйдешь из дома — хоть глаз выколи, ничего не видно. Так будет до следующего полнолуния.

В те дни детства я все мечтал чем-нибудь досадить Скупой Снохе, которая задерживала лунный свет для людей Земли.

СТАРИК В ДОМЕ

Зимой вокруг Старика Месяца иногда появлялся светлый круг.

— Что это такое? — спрашивал я.

— Это Старик Месяц дом себе построил, — отвечал Отец.

— А зачем ему дом?

— Это к морозу.

— Он видит морозы?

— Да, он заранее знает, какая будет погода.

Все верно, соображал я. От большого мороза спасет только хороший дом. Вот Старик заблаговременно и начинает строить его. Знает, что нужно делать к зимним холодам.

Я не забывал воспользоваться своими новыми знаниями. Лунными вечерами если замечал на небе светлый круг, то, возвратившись в дом, солидным голосом, подражая взрослым, приносил весть:

— Старик Месяц дом построил.

Взрослые обычно также серьезно откликались:

— А-а, так скажи...

— Значит, мороз близко видит...

— Что же, холода так холода!..

Дом у Старика Месяца бывает разной величины. То большой, то средний, то маленький. Обычно по его размерам Отец определял степень и продолжительность ожидаемых морозов. Так было в полнолуние.

Но дом строил и растущий Месяц, и убывающий Месяц. Прежде всего Отец объяснил мне, что растущий Месяц смотрит влево, а убывающий — вправо. Рожки у него повернуты влево или вправо.

Месяц в росте — рожки влево.

Месяц на ущербе — рожки вправо.

Спрашиваю Отца:

— Месяц в росте построил дом — что видит?

— Буран.

— Месяц на ущербе строит дом — что видит?

— То же самое. Видит ненастье.

Все правильно, размышлял я. Где укрыться охотнику от свирепого бурана? Конечно же в доме. Какая охота в такую погоду? Какая рыбалка? Ни в мороз, ни в буран нет охоты. И на рыбалку не поедешь. Не успеешь лунку выдолбить — она льдом покрывается в жестокий холод, снегом заносится в пургу. Сиди дома, переждидай. Делай что-нибудь другое. Промысловые снасти чини, мастера ловушки и нарты. В доме всегда найдется дело для хозяйских рук.

Старик Месяц умный — сам готовится к морозам и буранам и людей предупреждает, думал я. Заботливый Старик, внимательный Старик. И еще больше зауважал я этого скромного и трудолюбивого Жителя Неба, моего сородича из далекого прошлого.

Собака Старика Месяца

Весной Месяц на небе заметно бледнел. Наверное, мягкий свет белых ночей оттеснял его с весеннего небосклона. И казалось, все жители нашего селения забывали о нем до самой осени. Ведь летом по нему ничего не определяли, и он, словно чувствуя свою ненужность, уходил на отдых. О нем вспоминали под осень, когда дни становились заметно короче, а ночи — длиннее и темнее.

Помню, как-то на вечерней заре мы возвращались с рыбалки на большом неводнике. Плыли вниз по Агану, в сторону заката. И сидевший на корме брат Галактион заметил над лесом новорожденный Месяц. Он был тонким и красно-медным, как ручка на-

шего котла. Родовой брат Андрей, работавший веслами на носу лодки, тоже повернул голову. И мы втроем долго смотрели на ломкий полукруг Месяца. Смотрели как на диковинку, как на чудо. Будто бы уже целую вечность не видели его. Потом вспомнили приметку древних: у того, кто первым заметит новорожденный Месяц, родится сын. На это брат Галактион лишь чуть заметно улыбнулся. У него уже подрастал сынишка Тихон.

Так Старик Месяц возвращался к нам. Так он начинал напоминать о себе в предосенние сумеречные вечера.

Я размышлял о том, что за зиму он очень устал и поэтому ему нужно отдохнуть летом. Зимой он много работал.

Зима...

Вечером никто не входил в дом, не взглянув на Старика Месяца.

Помню, как-то зимним вечером, вернувшись с улицы, Отец сказал неторопливо:

— Месяц-Старик очень коротко привязал свою Собаку — большие холода видит!

Я тут же встрепенулся:

— У Месяца-Старика есть собака?

— Есть, есть...

— А где она?

— Разве я тебе не показывал?

— Нет, конечно.

— Ладно, как-нибудь покажу, — пообещал Отец.

Я понял, что Отец сейчас на улицу не пойдет, не удовлетворит мое любопытство. Но меня так заинтересовала таинственная Собака Месяца-Старика, умеющая предсказывать погоду, что я тут же подсел к Маме и спросил:

— Мама, а ты знаешь Собаку Месяца-Старика?

— Да каждый ее знает.

— Покажешь мне?!

Мама перевела взгляд на огонь чувала и сказала:

— Вот пойду кормить Харко — покажу.

— Когда?

— Сварится его котел — и пойдем.

— А это... Собака Месяца не убежит, пока мы собираемся?

— Нет, никуда не убежит.

Я едва дождался котла Харко. И когда Мама встала и взялась за дужку котла, мигом вскочил, оделся и вышел на улицу вслед за ней.

Сочный свет Луны лежал на борových соснах вокруг дома, на неошкуренных жердях кораля, на рыбном сарае, на нартах и на хрустко-звонком снегу.

Мы с Мамой, выйдя из дому, попали в поток лунного света и, потеряв земное обличье, стали вдруг лунными людьми. Удивительно и ни с чем не сравнимо это ощущение! Я словно превращался в лунный свет, и его поток уносил меня сквозь настоящее и прошлое в неведомое будущее. И, оторвавшись от Луны, я уже самостоятельно витал в пространстве среди миров и был независим от времени, от Луны, от земной жизни... Быть может, это длилось всего одно мгновение. А может быть, очень долго...

Потом сквозь лунный свет я увидел звездное небо. И услышал голос Мамы:

— Найди самую ближайшую от Месяца звезду!

Я поднял голову и быстро разыскал эту звезду. Она молча смотрела на меня, и я чувствовал ее пристальный взгляд.

— Вот это и есть Собака Месяца — самая ближайшая к Старикуну звезда, — сказала Мама.

Она немного помолчала, а затем пояснила: если Старик коротко привязывает свою Собаку — это

к большим холодам, далеко — к оттепели, на среднем расстоянии — к умеренной погоде, когда не очень холодно и не очень тепло.

— Вот так Собака Месяца! — воскликнул я в восхищении. — Сколько она, наверное, знает тайн...

— Да, многое знает, — согласилась Мама. — Высоко она, далеко ей видно кругом.

Я заворуженно смотрел на удивительную звезду, неразлучную спутницу Луны. А имя-то какое придумали ей — Собака Месяца! Наверное, это имя дал ей древний охотник: ведь собака — самый верный и надежный друг человека в тайге.

Сколько же всяких тайн знает эта высокая звезда! Наверняка помнит всех моих предков, всех моих родственников, живших когда-то на Небе и на Земле...

Наверное, на моем лице появилось сожаление, поэтому Мама сказала, успокаивая меня:

— Вот подрастешь, выучишься и, как эта маленькая звездочка, узнаешь многие тайны Неба и Земли...

— Когда же я подрасту! — вздохнул я. — Так долго ждать...

Я начал разыскивать на небе знакомые созвездия. Вот Большая Медведица, или, по-нашему, Ногастый Зверь, Лось. Вот Малая Медведица. Вот Звезда Вечерней Зари. К этому времени я еще знал и Звезду Утренней Зари. Она появляется на востоке перед утренней зарей. Первый признак нового дня. И вот прибавилась к ним звезда Собака Месяца...

Вернувшись с неба на землю, я подбежал к конуре нашего большого белого пса Харко и весело спросил:

— А ты можешь предсказать погоду, как Собака Месяца?

Харко, быстро отряхнув свою снежно-белую шубу, подпрыгнул выше меня, пытаясь лизнуть в лицо,

и, широко разевая возле самого моего носа пасть с крепкими клыками, сказал радостно и важно:

— Ав-вав, ав-вав!..

Наверное, я не понял его, потому что ответил так:

— Какой глупый — ничего не знает!

На что пес не обиделсянисколько: а, подпрыгнув, радостно повторил:

— Ав-вав!.. Ав-вав!..

— Он не глупый, — сказала мне Мама. — Он знает не меньше Собаки Месяца. Только вот говорить по-человечески не может. За ним нужно наблюдать, если хочешь что-то узнать. Он многое предчувствует, многое может предсказать...

И, словно уловив смысл этих слов, Харко солидным голосом подтвердил:

— Авв-ваав!.. Авв-ваав!..

Впоследствии я убедился в этом: собака охотника знает не меньше Собаки Месяца. А может быть, и больше. Ведь собака охотника на земле, всегда рядом с хозяином — и погоду предскажет, и об опасности предупредит, и на помощь человеку придет.

Тут Мама позвала меня, и мы вернулись в дом.

— Видел? — спросил Отец.

— Видел! — так же кратко ответил я.

Засыпая, я думал о Старике Месяце и его Собаке. Старик добрый, соображал я. Когда видит мороз, притягивает к себе Собаку, маленькую звездочку. Это чтобы ей теплее было возле хозяина. А в хорошую погоду отпускает ее подальше — пусть бегаёт и резвится на воле. В непогоду же прячет ее за спину — прикрывает от холодного ветра, от бурана. Добрый Старик. С такими мыслями я и заснул. Ночью мне приснился Старик Месяц. Он поднялся из-за горизонта, чтобы отдать свой щедрый свет людям Земли, чтобы осветить их

пути-дороги, чтобы с помощью своей верной Собаки-спутницы показать им, что ожидает их в грядущем. Он был удивительно похож на моего легендарного деда Романа — ведь тот был таким же добрым и щедрым к людям Земли...

Старик Месяц что-то говорил мне и улыбался. Хорошо так улыбался. Правда, проснувшись утром, я не смог вспомнить его слова. Но улыбка его осталась во мне...

В те годы я узнал немало примет явлений природы, Солнца и Месяца, звезд и Земли. Позже, поселившись в городе, где над головой только тусклое небо и тусклые звезды, я многое растерял, многое позабыл. Но по сей день в зимний вечер я, по старой привычке, не вхожу в дом, не взглянув на доброго Старика Месяца и его верную спутницу...

VI

ЗИМЫ

Углоголовый Человек

Отец уехал в поселок. Мы остались одни. Каждое утро, просыпаясь, я спрашивал Маму:

— Папа сегодня приедет?

— Не знаю, — отвечала Мама. — Вряд ли приедет. Еще рано...

— Тогда я сделаю Углоголового Человека, — сказал я.

— Ну, делай, — не очень охотно разрешила Мама — ей не нравится, когда слишком часто беспокоят священный огонь чувала-очага.

— Я спрошу его только про Папу, — сказал я.

— Спроси-спроси, может, он что знает, — кивнула Мама.

— Углоголовый Человек все должен знать, — уверил я Маму.

И я принялся делать Углоголового Человека.

А делается он так.

Я взял сосновое полено, отщипнул от него лучину. Разломил ее посередине — получились две палочки. Одну отложил в сторону, а другую обстрогал со всех сторон, концы же заострил. Потом сделал пояс — стружки ровным кольцом оставил пониже «та-

лии». На заостренную макушку насадил уголек — это голова.

Так родился Углеголовый Человек.

Я поставил его перед огнем чувала, в песок. Теперь он стал как бы нашим домом. И от него я начал рисовать палочкой пути-дороги, ведущие во все стороны света. При этом говорил ему:

— Человек с Угольной Головой, вот это дорога вверх — туда уехал мой Папа. Вот это дорога вниз, ведет к нижнему поселку Аган. Там, в низовье, живет наша старшая сестра. Вот это дорога на болото, на Окуней Черпающую Речку. Там у нас морды стоят, Папа часто привозит оттуда окуней и шук. Вот это тропа на пастбище. Там наши олени пасутся, туда они вечером уходят. Вот это Прорубная дорога к проруби на озерке, оттуда мы воду привозим. Вот эта тропа к собакам. Там наш пес Харко в собачьем домике живет...

Вот, кажется, все тропы-дороги, что начинаются у нашего дома. О них должен знать Углеголовый Человек. И теперь я прошу его:

— Человек с Угольной Головой, свой глаз по верхней дороге пошли. Узнай, приедет ли сегодня мой Папа...

С этими словами кончиком щепочки беру огонь очага и поджигаю стружки-поясок Углеголового Человека. Пламя охватывает его с пояса до угольной головки. Сейчас он узнает, когда мой Папа вернется домой...

Когда Отец уезжал куда-то, мы всегда ждали его с нетерпением. Особенно из поселка. Ведь он привозил привет от старшей сестры Лизы, которую с осени забирали в школу-интернат. По ней мы очень скучали. Она присылала нам маленький кулечек конфет, красивые цветные бумажки или кусочки фольги и другие небольшие подарки — для наших с младши-

ми сестрами игр. Отец расскажет, как там старшенькая живет и учится, какие слова она просила нам передать. Слушая его, Мама обязательно всплакнет. Видно, она больше всех скучает по старшей дочке.

Отец привезет всем гостинцы и разные новости. Как люди живут, какого зверя-птицу добывают. Кто и с кем породнился. Кто недавно пришел на нашу Землю, а кто оставил ее...

А Человек с Угольной Головой вращает в пламени черной макушкой. Это он так шаманит, говорила Мама. Округу осматривает, глаз по всем дорогам отправляет, узнает, с какой стороны гость приедет. Ведь когда долго не бывает гостей, я делаю Углеголового Человека, рисую на песке тропы-дороги и, поджигая его, прошу:

— Посмотри, не едет ли к нам путник-гость?

Правда, он иногда указывает на собачью тропу.

Это значит — не жди в этот день путника-гостя. Разве что наш пес Харко отвяжется и прибежит домой. Но это случается очень редко. И к тому же какой он гость? Он хозяин.

А шейка Углеголового Человека малиново накалилась. И он так же водит головой, как и мой Крестный отец Ефрем, когда тот шаманит и кивает в такт бубну. Потом Углеголовый замирает. И я, затаив дыхание, замираю вместе с ним. И наконец он падает в ту сторону, куда была наклонена угольная головка. В сторону болота, в бездорожье.

Я смотрю на останки своего пророка и молчу. Мне все понятно, все ясно.

Мама, сидящая с шитьем в ближнем к чувалу углу, спрашивает:

— Ну, что тебе сказал Человек с Угольной Головой?

— Он сегодня Отца не видит, — отвечаю я.

— Может, Отец ночью будет ехать и к утру следующего дня доберется до дому, — говорит Мама, как бы успокаивая меня.

— Тогда надо сделать нового Углоголового Человека, — предложил я.

— Зачем?

— Пусть он пошлет глаз в завтра.

— Да вряд ли он увидит завтрашний день... — засомневалась Мама.

— Не дойдет его глаз до завтра?

— Пожалуй, не дойдет.

— Ладно, завтра его снова спрошу про Отца, — соглашаюсь я и отдаю огню очага то, что осталось от Углоголового.

Вечером я засыпаю с мыслью, что утром сделаю нового Человека с Угольной Головой, который упадет на дорогу, приводящую Отца в дом. Так он предскажет приезд Отца, предскажет будущее, заглянет на день вперед. Всего только на один день. И вдохнет в меня и в наш дом надежду...

Теперь мне жаль, что в моем доме нет чувала и нет живого огня. И мои дети не могут сделать Человека с Угольной Головой и спросить его о моем возвращении из дальних путей-дорог.

Развеивающий золу

Старик-Мороз надолго обложил наш дом холодами. Холода стояли неделю. Может быть, две недели. А возможно, и больше. Мне казалось, что холода стояли только вокруг нашего дома. Стояли и зорко следили, чтобы к нам оттепель не пришла. Когда они совсем надоели и стало неважно, Мама предложила:

— Золу огня надо развеять, оттепель попросить...

— А в нашем доме есть кому золу выносить? — живо откликнулся Отец.

— Поищем... — сказала Мама.

— Кто у нас в оттепель на Землю пришел?

— Кто? Старшенькая, Лиза, пришла к нам в середине зимы, в самые холода...

— Да, ей нельзя. Она оттепели не дозволится. Наоборот, могут еще большие холода прийти.

— Средняя дочка, Даша, пришла к нам в Месяц Голых Деревьев, осень была. Но тогда еще снег не выпал...

— Да к тому же она мала еще — куженечку с золой до улицы не донесет.

— Вот младшая, Оля, весной к нам пришла, снег еще лежал. Она могла бы оттепель попросить...

— Она могла бы холод укротить, — согласился Отец.

— Вырастет — оттепель нам попросит...

Мама сидела с шитьем. За кожаный ремень, вдетый в ногу, она качнула люльку со спящей моей младшей сестрой.

Отец строгал основы к новым подволокам — охотничьим лыжам, подбитым снизу шкурой. Видно, холода ему тоже порядком надоели. На охоту не пойдешь — снег слишком «шумный», к лисе или песцу не подберешься. Что ни задень — все звенит, хрустит, шумит. На рыбалку ходить тоже нет смысла — все леденеет-замерзает на ходу. Поездки по разным делам? Оленей жалко. В сильный мороз у них дыхание «короткое». К тому же в такую погоду они очень быстро «теряют мясо», то есть тощают. Их беречь надо. Мало у нас оленей — в хорошую-то погоду на полные упряжки не хватает.

Поэтому Отец никуда не ездит, занимается домашними делами. Почти каждый день он помогает Маме заготавливать дрова. Ведь огонь в чувале у нас горит теперь с утра до вечера. Огню много «пищи» нужно.

Огонь в чувале гудел ровно и басовито. Я прислушивался к его голосу. Мне казалось, что он иногда ворчал на Старика-Мороза: «Когда же ты отступишь от нашего дома? Вон, спина и бока у Чувала стали огненными, как у меня. Если ты не отступишь, они ведь скоро начнут осыпаться. Слышишь ли, видишь ли это, Старик-Мороз?..»

Но в открытую никто в доме не бранил Старика-Мороза. Все понимали, что середина зимы — это его время, теперь он хозяин. Ругай не ругай, а как считает нужным, так и делает.

Я молча слушал разговор Отца и Матери о золе и оттепели. Значит, есть способ, как убавить мороз, как вызвать оттепель. Только нужен человек, который смог бы это сделать. Раньше я ничего подобного не слышал. Оказывается, и с холодом, если он всем надоел, можно справиться, можно прогнать его. И я, конечно же, заинтересовался, предложил:

— Я могу развеять золу. Разве мне нельзя?

— Но ты же родился летом, в самый длинный день, — сказала Мама.

— Значит, мне нельзя?

— Зола должен развеять тот, кто родился в оттепель, — пояснила Мама.

— Только в оттепель? Только зимой?

— Желательно при снеге. Может, весной, может, осенью. Словом, оттепельный человек должен вызывать оттепель.

— А я, значит, летний?

— Летний.

— Значит, слишком теплый?

— Да.

Я призадумался. Стало быть, если я развею золу, то станет чересчур тепло. Может быть, даже лето наступит. Но посреди зимы вряд ли лето придет. Лето не посмеет сунуться в зиму. Тогда что же? Наступит слякотная пора? Но лучше несколько дней слякоти, чем бесконечный холод. В большой мороз меня не пускают поиграть на улице. Даже помогать Маме носить колотые дрова мне не разрешают. Говорят, двери долго открытыми держу, в дом много холода напускаю, сестер заморожу. Так что потепления я давно жду. Поэтому сказал:

— Раз некому, может, все-таки мне попробовать развеять золу?

— Можно, конечно, — согласился Отец.

— А если слишком станет тепло, то пусть сестра Лиза вынесет золу и попросит немного мороза, — придумал я уловку, чтобы оправдать свое желание.

— Ладно, — сказала Мама. — Будешь сегодня Развеивающим Зола, просителем оттепели.

Мама в небольшую куженьку набрала золу из топки чувала и отдала мне. Но одного меня не отпустили — вдруг куда в сугроб завалюсь. Пошли вместе с Мамой. Она прихватила «собачий котел», чтобы заодно покормить нашего Харко.

На улице, над нашим домом, висела удивительная тишина. Лишь скупой лучик грустного зимнего солнца тихонько звенел от холода в морозном воздухе. Да Харко, увидев нас, выскочил из конуры и загремел цепью. Как водится, он сказал «ав-вав» и лизнул меня в щеку. Потом, тряхнув белой густой шерстью, набросился на еду. Он был весел, и, казалось, только ему одному все морозы нипочем. Правда, когда пришли большие холода, я предлагал забрать его домой.

Но Мама сказала: «Какой же он пес, если с людьми начнет жить? У него свой дом есть...» Так он и живет всю зиму в своем домике на травяной подстилке.

А золу надо развеять на чистом месте, сказала Мама. И при этом, как и наши предки в старину, нужно говорить такие слова:

Мороз — прочь, прочь, прочь!
Я — оттепельный человек.
Оттепель — ко мне, ко мне, ко мне!

По тропе, ведущей на пастбище, я прошел за кораль.

И там, на чистине, начал высыпать золу с громким призывом:

Мороз — прочь, прочь, прочь!
Я — оттепельный человек,
Оттепель — ко мне, ко мне, ко мне!..

Пока сыпалась зола, я все повторял:

Мороз — прочь, прочь, прочь!
Я — оттепельный человек,
Оттепель — ко мне, ко мне, ко мне!..

Огонь нашего очага дымчатым хвостом поднимался в небо. Казалось, он согревает всю округу — и мерзлые сосны, и звонкие снега, и дальнее болото, и высокое чистое небо. И конечно, наш дом.

Возвращаясь с Мамой в дом, я видел, как над нашим чувалом висела белая струйка дыма, уходившая прямо в небо. Подобно дымчатому хвосту золы, казалось, и Чувал пытается согреть весь мир, все пространство вокруг.

Через день или два и вправду потеплело — Старик-Мороз отступил. Тогда я был уверен, что это подействовала зола нашего очага. Это она согрела всю

округу. Теперь думаю, может, просто пришло время оттепели.

После, когда не стало Мама, мы зимовали в доме дяди Василя. Там золу развеивали уже другие мои сверстники, которые были ближе к зимним оттепелям, чем я и мои сестры. Теперь же, с годами, мне кажется, я встречаю все меньше оттепельных людей, что, как в детстве, согревали бы мою душу, моих сородичей, людей Земли и весь окружающий нас мир...

Гость с Болотной Стороны

Послышался скрип полозьев и хруст снега под копытами оленей. Все в доме оживилось. Харко не лает. Значит, свой, хозяин едет.

— Отец приехал, — сказала Мама. — Иди встречай!

Я тотчас накинул на плечи ягушку и выскочил из дома-зимовья.

В свете Луны, низко висевшей за боровыми соснами, в кораль въезжала упряжка Отца. Я побежал ему навстречу, вскочил на правый полоз и проехал несколько шагов до остановки перед домом. На нарту сесть некуда. На ней поклажа, прикрытая кумышом — мужской глухой одеждой мехом наружу, что надевается поверх малицы.

— Что привез, Папа? — спросил я, когда нарта остановилась и Отец стал распрягать правого пристяжного.

Он ездил проверять морды на Болотную Сторону, на нашу Окуней Черпающую Речку. И обязательно должен что-то привезти. Но ответил он не сразу, помедлил, зубами развязывая недоуздок. Только размотав узел, неспешно проговорил:

— Рыбу привез.

— А-а, — сказал я. — А какую рыбу?

— Окуней Черпающая Речка только одну рыбу имеет...

— Окуня?

— Окуня.

— А-а, — сказал я. — И больше ничего?

Я суегился вокруг Отца, пытался помочь ему отпустить оленей. Расстегивал костяные пуговицы на сбруе, подтягивал лямки к «носам» нарты, куда олени укладывались на ночь. От меня, пожалуй, было мало толку. Но я знал, что отцовским рукам с холода расстегивать лямки труднее, чем моим рукам из теплого дома.

— Зверя привез, — ответил наконец Папа на мой последний вопрос.

— Какого зверя? — встрепнулся я.

— Болотной реки зверя.

— Где он?

Отец, как всегда, не спешил. Сложил лямки и вожжу на нос нарты, потом поднял кумыш, сказал:

— Вот он.

На амдере — шкуре, подстилаемой на сиденье, — возле мешка с окунями, поджав лапки, словно дремля, лежал зверь. Отец снял веревку, связывавшую вещи, поднял его на руки. Я несколько мгновений молча стоял и зачарованно смотрел на зверя. Шубка — сак из темного длинноволосого меха. Короткая мордочка. Хорошо помню усы — они торчали в разные стороны. «Что же это за зверь? Не ошибиться бы...» — помнится, соображал я.

— Ну, чего стоишь? Поздоровайся с гостем! — подбодрил меня Отец.

Я подошел ближе, прикоснулся рукой к темной шее зверя и чмокнул его в мордочку возле черного пятка носа.

И тут я загорелся тихой радостью. Я заулыбался. Глаза мои, наверное, заблестели, заискрились.

— Понесу? В дом я понесу? — спросил я Отца.

— Погоди, — сказал Отец. — Без одежды его нельзя в дом вносить.

— Какая одежда нужна?

— Сак или малица. Или другая какая одежда...

Я мигом слетал в дом, принес ягушку. В нее, как человека, завернул зверя. Из ворота торчала лишь мордочка.

— Ну, донесешь ли? — спросил Отец.

— Попробую, — бодро сказал я.

Я взял в охапку гостя и засеменял в дом. Но, однако, через несколько шагов почувствовал, что ноша моя сползает вниз и в руках остается пустая ягушка. Тяжеловат для меня гость. Но отец, видно, предвидел это и оказался рядом, не дал зверю прикоснуться к земле — подхватил и помог мне внести его в дом. Там положили его в большую чистую куженьку.

Мама оглядела гостя и поздоровалась с ним — тоже чмокнула в мордочку.

Обряд приветствия мне понравился. И я поманил к куженьке сестренку Дашу. Она с любопытством и опаской глянула на зверя, а вплотную подходить не стала. Тогда я притянул ее поближе и, ткнув носиком в зверя, велел:

— Поздоровайся с Гостем! Это — Гость!..

Видно, торчащие жесткие усы укололи ее, она оттолкнулась от куженьки и сказала:

— Кака... — И, опираясь ручкой о край нары, поспешила к Маме в сторону чучала.

— Он хороший, он не кака! — возразил я сестре, поглаживая его шею и спину.

Я немного испугался того, что он обидится и больше в наш дом не придет. Нужно, чтобы он хорошо думал о нас. Но Мама успокоила меня, сказала, что он на неразумных малышней не обижается.

Весь вечер я ходил вокруг Гостя с Болотной Стороны. Разговаривал с ним, поглаживал его темную шубку, поправлял лапки и усы. Вполуха слышал, как Мама с тревогой в голосе спросила Папу:

— Как ты его добыл?

— Луком. Луком-самострелом, — ответил Отец.

— А-а, — с облегчением вздохнула Мама.

Отец стал рассказывать, где и как насторожил лук-самострел, по каким лункам, какими путями-тропами ходил зверь.

Впоследствии я узнал, что одна из самых печальных примет — это выдра, пойманная мордой. Зверек попадает туда редко. Но если попался — значит, к кончине человека.

Потом настала ночь — и я уснул. Утром, проснувшись, я тотчас же вспомнил про вечернего Гостя с Болотной Стороны. Но он уже снял свою шубку. Под потолком лежал на перекладинах-вешалах, сушился в правилах.

Мама говорила мне, что у выдры очень высокая честь. Поэтому ни одна косточка зверя не должна попасть к нашему псу Харко. Все отвезут в лес, в чистое место. В доме останутся лишь его хвост и голова. По древнему обычаю, я старательно зачернил углем его макушку. Это чтобы спустя многие-многие дни он с новым мехом, с темным, как уголь, мехом еще раз навестил наш дом...

Сорока стрекочет

Сороку в остяцких селениях не любили. Поэтому зимой, когда она прилетала к нашему дому, я не прочь был запустить в нее палку или ком снега. Она, видно, знала, что ее недолюбливают, — человека близко к себе не подпускала, всегда недоверчиво косилась на меня. И я никогда не мог попасть в нее. Обычно, хохотнув надо мной, она взлетала и садилась на жердину короля. Оттуда, повертевшись немного, перескакивала на колышек, а потом снова на жердину. При этом она все посмеивалась, похохатывала надо мной, будто дразнилась:

«Иди догони, поймай меня!.. Иди догони, поймай меня!..»

А потом, как бы подводя итог, разражалась смехом-стрекотом:

«Черта с два догонишь!.. Черта с два поймаешь!..»

И взлетала на сосну или совсем улетала куда-то в бор.

Но я на нее нисколько не обижался. Наоборот, она забавляла меня своими скаками-поскоками и беззаботным ворчанием-хохотом. Особенно зимой, если мы жили одни и мне не с кем было играть на улице. Сорока, словно товарищ по игре, разговаривала со мной, развлекала меня.

Вернувшись в дом, я начинал спрашивать Маму:

— Почему сороку все недолюбливают?

— Потому что она болтлива, — отвечала Мама.

— А еще почему?

— Потому что нескромна.

— Еще почему?

— Легкомысленная — без причины хохочет.

— Ну а еще почему?

— А разве тебе этого мало? — спрашивала Мама.

Я призадумался: мало это или много? Болтлива, нескромна, легкомысленна. Может быть, и не мало. Детей, которые долго и бестолково шумели, взрослые останавливали словами:

«Не трещите, как сороки!»

Кому хочется быть сорокой? Никому.

Кому хочется быть нескромным и легкомысленным? Никому.

А в колхозные времена, когда людей вынуждали поклоняться каждой бумажке и по всякому поводу человеку велели: «Заявление пиши», старики нашей Реки перевели по созвучию «заяв-ление» как «сев-лони». «Сев» — сорока, «лони» — выемка, щербина, пустота. То, чего нет. Вот и стали говорить: «Сев лони пиши!» Получалось: «Сорочью выемку, сорочью пустоту пиши!»

Кому хочется быть сорочьей пустотой? Никому, конечно.

Поразмыслив немного, я спросил Маму:

— Значит, от сороки никакой пользы нет?

— Почему же нет?.. Кое-что она знает.

— Что именно знает?

— Может, по словам наших предков, приезд гостей предсказать.

— А как предсказывает?

— Возле дома начинает трещать-стрекотать.

— Надо посмотреть, правда ли это, — сказала я.

— Понаблюдай и узнаешь, правда ли это, — говорила Мама, не отрываясь от своего шитья.

Но дом наш стоял в стороне от Царской дороги, и гости к нам заезжали не часто. И сорока где-то носилась по своим сорочьим делам, не навязывалась к нам со своими пророчествами. Так в ту пору, помнится, мне и не удалось убедиться в том, что сорока

предсказывает приезд гостя или любого постороннего путника.

После, спустя многие годы, я поехал из города на свою родину, к Старику Отцу. В Верхнем поселке, куда прилетел на самолете, мне дали упряжку оленей, и по знакомой Царской дороге я направился в родное селение. Переехав нашу родовую реку Юхан-Ягун, в бору справа, среди редких сосен, я увидел зимний дом. Как тут мимо проедешь, коль, предупреждая хозяев, залаяла собака? И я завернул к дому.

В корале меня встретил мой троюродный брат Михаил. Тут же вышла из дома его жена Федосья, моя сноха.

— О, гость из города, — сказал брат Михаил. — Заходи в дом, нельзя тебе без чая уезжать.

Я привязал вожжу к нарте. Тем более что до отца тут оставалось совсем немного — меньше долготы одного оленя.

В доме поговорили о новостях, о житье-бытье, о том о сем.

Наливая мне чай, сноха Федосья сказала:

— О приезде дальнего гостя я узнала с самого утра. То есть о твоём приезде.

— Каким образом узнала?

— Утром я уличную печь затопила, чтобы хлеб испечь. Тут сорока прилетела. Вот весь день и стрекотала она вокруг меня. Я твоему брату сказала — гость будет. Притом дальний.

— Да, было такое дело, — подтвердил брат Михаил.

— А как узнала, что дальний? — заинтересовался я.

— Как? Да уж больно настойчиво и долго стрекотала сорока, — улыбнулась сноха. — Это же старая примета ханты...

— А ближних гостей она не предсказывает?

— Ну, к ближним гостям она вообще может к дому не прилететь. А если и прилетит, так может молча скакать по коралю. Или стрекотнет раз-два и замолчит.

— Все предсказывает, совсем как шаман, — улыбнулся я.

— Женский шаман, — пошутил брат. — Только для женщин все узнает...

— Шутишь, — сказала мне сноха. — А сорока перед самым твоим приездом порхала возле хлебной печки. Может, и сейчас еще не улетела...

И точно, когда после чая мы вышли на улицу, сорока скакала по верхней жердине коралю у хлебной печки. Сейчас она молчала, скосив озорные бусинки глаз на хозяев. Видно, была довольна, что ее предсказание сбылось.

— Она? — спросил я.

— Она-она, — подтвердила сноха Федосья.

Я попрощался с хозяевами и тронул упряжку.

Сорока проводила меня до Царской дороги. И, сверкнув блистательно-белым брюшком и иссиня-черным хвостом, исчезла в соснах. Наверное, вернулась к дому.

Я ехал и думал о сороке.

В городе в наш двор иногда прилетают сороки из ближнего леса. Я наблюдаю за ними из окна. Они скачут, подбирают крошки, садятся на крыши. Наверное, они стрекочут, переговариваются о чем-то между собой. Через стекло я не слышу их голоса: они, городские, будто немые...

Я с грустью смотрю на них.

Смотрю с грустью потому, что они не могут, как в детстве, предсказать, когда в мой дом придут желанные гости. Те, лесные, сороки были прозорливее и милее моему сердцу...

Костный жир

Вспоминалась мне Нани Нэ и зимней весной, то есть ранней весной, когда появляются ее первые признаки, подтаивает снег, задувают теплые ветры... Тогда Отец заносил в дом кости лося или оленя. С ранней осени Мама собирала в углу «рыбьего дома» кости. Если даже Отец не добывал лося, все равно кости накапливались. То соседи с Нижнего или Верхнего Домов угостят нас олениной. То родственники пришлют с попутчиком кусок лосятины с костью. То с ритуального праздника на Священном Яру Отец привезет нашу долю. Ни одну косточку не выбрасывали. И — много ли, мало ли — к весне они накапливались в углу «рыбьего дома».

Отец заносил в дом большую куженьку и уезжал по свои делам. Мама расстилала в углу мешковину и, прижав коленом черенок, устанавливала топор лезвием вверх. Потом бралась за деревянную колотушку и кости. Прежде чем приставить косточку к острию топора, Мама внимательно ее осматривала. Видно, определяла, как лучше ее расколоть. И лишь после этого ударяла колотушкой — принималась за дробление костей.

— Это что ты делаешь, Мама? — спрашивал я.

— Кости бью.

— Зачем?

— Костей жир будем делать.

— Как это?

— В котле, на малом огне.

— А зачем костей жир?

— В помощь хлебу, в помощь пище...

— А-а...

Тук-тук, стучала Мама. И измельченные косточки укладывала в куженьку поменьше, а после — в котел с водой.

— Разве тебе жира не хочется? — спрашивала Мама.

— Конечно хочется! — признавался я.

— И твоим сестрицам жир нужен, — добавляла Мама.

— Они же совсем еще маленькие!

— Ну и что?

— Зачем им жир — ведь ничего еще не понимают? Им что жир, что вода!

— Жир нужен, чтобы они здоровее росли, чтобы быстрее росли!

— Ладно, — соглашался я. — Им тоже дадим жиру.

Я смотрел в котел. Котел медленно-медленно, как бы нехотя, дразня меня, закипал. И также медленно всплывали первые жиринки, что затем разрастались в желтые лужицы. Лужицы превращались в озерца. И потом озерца тоже как бы нехотя соединялись протоками-рукавами и сливались в одно большое круглое озеро. Тогда Мама бралась за поварешку и, набрав золотистый жир, сливала его обратно в котел.

— Ну, что, готово ли? — нетерпеливо спрашивал я.

— Нет, еще не готово, — отвечала Мама.

— Скоро ли поспеет?

— Вот еще покипит немного...

— Обязательно кипятить надо?

— Да, костей жир надо хорошо проваривать.

А котел все булькал себе потихоньку, булькал — не спешил, ведь весенний день длинный. Постепенно исчезали пена и накипь — и золотистое озеро становилось прозрачным и ясным, как солнышко на небе в безоблачный полдень. Вот теперь Мама начинала выбирать жир в небольшую чашу. Потом она малень-

ким кусочком хлеба снимала пробу, после чего я получал блюдце с жиром. Мы ели жир, макая в него хлеб. Если не было хлеба, макали в него мясо.

Костный жир казался мне очень вкусным. Лишь наевшись, я чувствовал, что он с горчинкой. Но это нимало меня не смущало.

Младшие же сестры особого интереса к жиру не проявили. Сестра Даша, попробовав хлеб с жиром, сморщила носик. Было видно, что ей не по нутру вкус этого необычного лакомства.

Жир быстро замерзал. И, чуть подогрев чашу, Мама снимала его в форме твердого круга. Теперь его можно было есть как хлеб. При этом вкус изменялся, будто это не тот жир, что я ел, макая в него хлеб.

На другой день мы с Мамой захоронили вываренные кости. Их вынесли за кораль, через выход у «рыбьего дома» и там, на границе бора и болота, в укромном месте меж двух кочек, в небольшой ямке, сложили и накрыли снегом. Обратно возвращались каждый со своей пустой куженькой.

— Почему так далеко от дома мы унесли кости? — спрашивал я Маму.

— Нельзя, чтобы лосиные кости валялись везде и по ним ходили люди и хвостатые.

— Почему нельзя?

— Честь у него высокая.

— Такая же высокая, как и у Чернолицего?

— Ну... чуть поменьше, чем у Чернолицего.

Я на мгновенье задумываюсь. В нашем доме ничего так просто не выбрасывалось. Даже рыба чешуя и кишки, не говоря уже о глухарях и других зверях и птицах, замораживались в «рыбьем доме». Потом отец увозил все это в лес на приваду. И часто добывал там песцов и лис. Вспомнив об этом, я напомнил Маме:

— Отец мог бы увезти кости в лес, для приманки.
— Так ведь зима-то кончается — какие приманки?
— Да-да, время охоты кончается, — соглашаюсь я.
— И от вываренных костей проку мало.
— Какой прок нужен?
— Ни запаха у них, ни аромата.
— Ну и что?
— Любой зверь прежде всего улавливает запах...
— Да, теперь мне понятно.
Мы возвратились домой.

В доме, казалось, стало веселее. В доме был огонь, была пища, был костный жир. В доме было все, что поддерживает жизнь. Жизнь в нас.

И мне вспомнилась Нани Нэ. Если бы, думалось мне, все вышло по ней и одна сторона реки текла жиром, то отец, съездив на Аган, к нашему Летнему Селению, привез бы нам немного речного жира. Тогда бы, казалось мне, ни один народ, ни одна семья, ни один человек, у которых в запасе нет ни лосиных или оленьих костей, не испытывал бы голода, не знал бы нужды...

Порса

Вспомнилась мне Нани Нэ, когда в деревянной чаше я толок сушеные кости от копченой рыбы. Сидел и тюкал молотком — тук-тук-тук. Легко рассыпались от одного удара рыби плавники и головы, а хребтины и ребрышки были менее податливы. Сижу и — тук-тук-тук, как дятел на сушине. Работа довольно однообразная, и мне быстро наскучивало тюкать. Но знал, что, кроме меня, это делать некому. Мама целый день то еду готовит, то шьет, то стирает, то се-стер моих баюкает, кормит и обмывает. А Папа в ле-

су — то на охоте, то на рыбалке. Вот и приходилось мне волей-неволей работать молотком. Если не я, то кто же будет помогать моей Маме?! Младшие сестры еще не могут поднять молоток, а старшая в школе-интернате, в поселке.

Для разнообразия придумал что-то вроде игры: по косточкам определял, от какого вида копченой рыбы они остались.

— Это сел, — бормотал я. — Села косточка...

Сел — самый простой вид копченой рыбы, делается из мелочи, обычно чебаков и подъязков. Нужен всего один прорез над хребтиной от головы до хвоста. Потом этим прорезом рыбка вставляется в коптильную желину и коптится вниз головой. Летом я часто наблюдал, как Мама готовила рыбу к копчению. Снимала чешую, вспарывала и одним движением — острием ножа на разделочной доске — прорезала. Я же нанизывал рыбу на саженную желину. Но больше всего мне нравилось прорезать спинку, да плохо это у меня получалось. Мама охотнее доверяла мне костяной нож из лопатки оленя, которым снимали чешую. Снимать чешую — дело нехитрое, считал я. Хотелось же научиться тому, чего не умел, что не очень охотно разрешали.

Когда сел коптили, я тоже помогал Маме. Сидел у коптильни и следил за огнем, чтобы он горел ровно по всей длине и ширине навеса. Если где-то пламя поднималось высоко, я брызгал туда воду из куженьки. Когда старшая сестра Лиза была дома на каникулах, мы вместе с ней сидели у огня. Обычно поджаривали кедровые шишки и рассказывали сказки. А Мама вечно носилась между коптильней и домом. Чаще всего ее отвлекали наши младшие сестры. Но, бывало, Мама приносила чайник и мы всей семьей располагались вокруг огня. И тогда нам становилось весе-

ло. В ожидании горячей рыбы мы шутили и смеялись. Словом, с Мамой было нам хорошо.

Теперь, тюкая молотком, я вспоминал, как сел коптели. И был рад тому, что и я принимал участие в заготовке зимних припасов.

— А вот это пуоки, — бормотал я. — Рыбка-то была покрупнее.

Пуоки готовились в основном из подъязков — головы у них отсекались, а по бокам делалось много различных надрезов и насечек. После рыбки нанизывались на желину и коптились хвостами вниз.

Тут мне ничего почти не разрешали делать. Мол, надрезы нужны точные, а насечки — глубокие и ровные. Иначе пуоки невозможно будет есть — останется костлявой и непрокопченной.

— Это — пиндер, — говорил я себе. — Большая была рыба...

На пиндер шли крупные язи. Они готовились почти так же, как и пуоки. Но бока пиндера покрывались самыми витиеватыми украшениями, словно подол девичьей ягушки-шубы. Тут было множество таинственных знаков, магических рисунков и орнаментов, сотворенных рукой нашей Матери. Быть может, поэтому за столом моя рука в первую очередь тянулась к пиндеру. И возможно, творя эти знаки, Мама вкладывала в них свои молитвы-пожелания, чтобы мы все, принимающие эту пищу, были здоровы, счастливы, веселы. Чтобы всех нас, принимающих эту пищу, обходили стороной болезни, несчастья, печали. И наконец, чтобы все мы, принимающие эту пищу, были сыты и довольны...

Сижу и — тук-тук-тук молотком.

Копченую рыбу укладывали в берестяные короба и уносили в лабаз для продуктов, находившийся недалеко от Летнего Селения. Это хранилище имело

свое имя — «Протоки Бока Лабаз». Он стоял под большим кедром на берегу узенькой протоки, по которой бежали к Агану воды Древесного Урия и Древесной реки. Зимой Папа на оленях привозил оттуда коробка. Мы с ними довольно быстро расправлялись. Как я заметил, сел и пиндер любили все: и люди, и олени, и наш пес Харко. Оленям, правда, доставались кости. Для Харко, если ему не было другой еды, тоже варили кости в специальном «собачьем котле».

Часть костей Мама приберегала на дне коробов. И вот я сижу, тюкая молотком эти кости. Получается темно-коричневый порошок — мы называем его «порса».

— Кто придумал порсу? — спрашиваю Маму.

— Наши древние придумали, — отвечает Мама.

— Зачем?

— Когда наступал голод — ели порсу.

— И часто голод приходил?

— Часто ли, нечасто ли, но старики рассказывают про такие времена...

— Это когда война бывает?

— И когда война приходит, и когда неурожайный на зверя-птицу год приходит, и когда болезни приходят...

Я все тюкаю потихоньку по дну деревянной чаши. Между делом расспрашиваю Маму:

— А сейчас нам зачем порса?

— В пару к хлебу, в пару к пище, — говорит Мама.

— Война давно закончилась, да?

— Нельзя сказать чтобы давно...

— Сейчас ведь не время голода?

— Но и не время удачи...

— А какое время?

— Трудное... Еще совсем недавно была норма на хлеб...

Мы немного помолчали. Потом снова заговорили.

— Ладно, — решил я. — Помогу хлебу!.. Сделаю ему пару!..

Улыбнулась Мама.

— Если устал, — сказала она, — поиграй, отдохни...

— А завтра что?

— Завтра, если будет у тебя сила, еще порсу побьешь...

Сначала я охотно макал хлеб в порсу и ел. Все-таки новое блюдо. Но вскоре она приелась, видно. Да и на вкус показалась мне горьковатой. Но Отец, вернувшись вечером с охоты или рыбалки, подвинул к себе миску с порсой и макнул в нее хлеб.

— Это Роман столько порсы набил сегодня, — сказала Мама.

— У него более удачливый день, чем у меня, — улыбнулся Отец.

— Да? — удивилась Мама.

— Я за весь день ничего не добыл, а Роман — вон сколько!..

— Верно, — заулыбалась Мама. — У него — удачливый день!..

Был я рад, что накормил дом. Был рад тому, что Мама с Папой говорили обо мне как о взрослом. После этого я еще более старательно крошил порсу — тук-тук-тук. Совсем как дятел на кремнистой сухаре. Вспоминалась и Нани Нэ. Если бы слова щедрой Лесной Феи брали верх в жизни, думалось мне, тогда разве пришлось бы мне стучать молотком?!

Все сижу и — тук-тук-тук.

Прислушиваюсь к стуку. И улавливаю тихий говор многолетней деревянной чаши и старика-молотка о Лесной Фее Нани Нэ, обо мне и моих близких, о жизни нашего рода и людей Земли.

Чем внимательнее слушаешь — тем больше узнаешь...

Бобра хлеб

Помню, когда сестры особенно канючили, Мама извлекала из самого потаенного уголка баранку или кусочек сахара, сладкий пряник или печенюшку. И все делила между нами троими: мной или моими младшими сестрами. Я, конечно, раньше всех съедал свою долю. А потом лисой вился вокруг сестер, просил дать откусить разок. Если малыши не соглашались, я шел на хитрость.

Обычно подсаживался к сестре Даше, делая удивленные глаза, показывал рукой на потолок или куда-нибудь в угол и говорил:

— Даша, посмотри, что там такое?!

— Где-где? — спрашивала она.

— Там-там — посмотри! — тыкал я пальцем в потолок или в угол.

Малышка поднимала глаза. Но ни на потолке, ни в углу ничего, конечно, не было — ни жучка, ни паука, ни птички. Я же, улучив момент, откусывал у сестры кусочек пряника или печенюшки.

— Там нету ничего, — разочарованно говорила сестрица.

— Там что-то было, — уверял я.

— А где же оно?

— Наверное, убежало. Или улетело. Ты лучше посмотри!..

Но сестрица смотрела на меня уже с недоверием.

К младшей сестрице Оле я подбирался по-другому. Она обычно сидела в дневной люльке, запеленатая до пояса. Руки у нее были свободны — и она играла, а в правой руке держала пряник или баранку. Я садился возле люльки и начинал с ней играть. Бренчал цепочками, бубенчиками, колокольчиками. Потом находил какую-нибудь игрушку, которую она не виде-

ла или давно забыла. Я поднимал над ней новую игрушку и говорил:

— Оленька, посмотри, какую игрушку я нашел! — И бренчал игрушкой, чтобы привлечь ее внимание.

Сестрица поднимала глазенки. Я в это время раз — и откусывал у нее кусочек пряника или баранки. А потом давал ей игрушку в руку — дело сделано, пусть теперь играет.

Так я отвлекал внимание сестер и охотился за чем-нибудь вкусным в их руках.

Бывало, малыши ничего не замечали — и такие проделки мне сходили с рук. Но иногда я попадался, и они поднимали вопль — тогда я мигом отскакивал от них. И делал вид, что я здесь ни при чем. Мама в таких случаях очень сердилась на меня. Разве можно обижать малышей, спрашивала Мама.

— А что они так медленно едят? — ворчал я.

— Они же маленькие, — говорила Мама.

— Может быть, они не очень хотят есть, — предполагал я.

— Они так же хотят есть, как и ты, — сердилась Мама. — Посмотри, сколько у тебя зубов?

Я тянул руку ко рту, шевелил языком. Зубов — полный рот.

— Много... — отвечал я.

— А сколько зубов у младшей сестрицы?

— Не знаю...

— У нее только четыре зубика.

— Четыре так четыре...

— Разве она может догнать тебя с четырьмя зубиками?

— Нет, конечно, — соглашался я.

— Поэтому не обижай их, младшеньких...

Впрочем, младшая сестрица Оля с четырьмя зубиками лакомилась чем-либо чисто символически. От-

грызала от баранки маленькие крошечки, как белочка. Вернее, белочка и то больше добывала себе пищи. И когда Мама усыпляла младшую, все равно ее доля доставалась нам с сестрой Дашей.

При этом Мама говорила нам:

— Вот вырастут у младшей сестрицы зубики — тогда поделитесь с ней тем, что у вас будет!..

Мы согласно кивали.

Отец изредка ездил в поселок и привозил нам гостинцы. Больше всего, пожалуй, мы радовались маленькому хлебу — круглому, сладкому, мягкому. Называли его «махи нянь» — «бобра хлеб». Как я позже узнал, по-русски он называется пряником. Но в те времена пряники были для нас необыкновенными бобра хлебами. Ведь Бобр — родоначальник нашего рода. Может быть, поэтому его хлеб нам казался таким вкусным и питательным.

— Почему бобра хлебом его называли? — спрашиваю Маму, показывая на пряник.

— Не знаю, — отвечает Мама. — Давно, наверное, так называли его.

— А где Папа берет бобра хлеб?

— В лапке.

Лапкой, или лавкой, называли и поселок, и магазин. То есть это место, где находится лавка или магазин. Наверное, еще во времена Белого Царя ханты взяли это слово у русских и сохранили до сего дня.

— А кто выпекает бобра хлеб?

— Русские.

— А почему не бобры?

— Хм-м!..

Мама озадаченно замолкает.

— Может быть, в древние-задревние времена наш родоначальник Бобр первым выпек этот хлеб?! — спрашиваю я.

— Возможно, да. В сказочные времена, когда только зарождалась жизнь на Земле...

— В сказочные времена?

— Да, в сказочные.

Я рад тому, что наш родоначальник Бобр все-таки имеет отношение к махи нянь, бобра хлебу.

Бобра хлеб привозила нам сестра Лиза, когда приезжала на каникулы из Верхнего поселка, из Верхней Лавки, где она училась в школе-интернате. Хлеб бобра привозил и старший брат Галактион, доставлявший почту от Верхней Лавки к Нижней, в поселок Аган.

Мы всегда радовались бобра хлебу. И Мама, разделяя между нами лакомства, всегда говорила:

— Не обижайте самых младших! У них меньше всех зубиков!..

И когда Мама покинула нас и ушла из нашего Среднего Мира, и когда мои младшие сестрицы Даша и Оля плакали особенно горько и безутешно по Маме, я, вспомнив Маму, гладил их по головкам, как это делала Мама, вытаскивал из потаенного угла запрятанный на черный день бобра хлеб и уговаривал сестриц:

— Дашенька, откуси от моего бобра хлеба кусочек — только не плачь! Только не плачь!..

— Оленька, откуси от моего бобра хлеба кусочек — только не плачь! Только не плачь!..

Я уговаривал моих сестер не плакать. А в моих глазах стояли слезы — и я старался не выпустить их на щеки, чтобы мои сестрицы не видели их и не плакали...

VII

БОЛИ

Белый Вожак

Весной, когда дорожные колеи потемнели под солнцем и осели, мы покинули зимнюю избушку. Но, не доезжая Осеннего Селения, где обычно все люди нашего рода встречали лето, Отец завернул свою упряжку влево. И на весновку мы остановились на Гриве Малого Яра. Это был пологий склон Домашнего Бора, смотревший прямо на полдень. Поэтому снег на Гриве давно сошел, и земля быстро прогревалась, и на проталинах заблестели плотные зеленые листочки брусники. А внизу, под горой, длинное кочкастое болото-сор с редкими сосенками. Болото, насколько хватал глаз, уводило «вверх» и «вниз», то есть на восток и запад — так считали по течению Агана, нашей большой реки.

На болоте к нашему приезду только высокие кочки сняли свои снежные шапки, а в низинах еще белел снег.

Вслед за нами приехали мой Крестный отец, старец Ефрем, и мой троюродный брат Никита с женой. Видно, Отец заранее договорился с ними о совместной весновке на этой Гриве.

Я очень обрадовался новым людям и новому месту. Но особенно был рад Крестному — тут теперь на целую весну хватит сказок.

Когда показалась упряжка, которой правил седой старец с откинутым за спину капюшоном малицы, Отец сказал мне:

— Твой Крестный едет...

И я сразу же побежал к старику...

— А-а, здравствуй, мой крестничек! — сказал он, завязывая поводок на первый копыл нарты. — Ну, пойдй, мне свое лицо поднеси...

Я подошел, и он, обдав меня крепким запахом табака, кольнул жесткой щетиной в щеку.

— Ох-а, ты уже совсем большой стал, — проговорил он, оглядывая меня. — Наверное, уже зверя-рыбу искать ходишь?

Я помолчал немного, а потом неохотно признался:

— Нет, еще не хожу. Папа не хочет брать меня с собой...

— Это почему же не берет?

— Говорит, мал еще. Подрасти надо немного.

— Ох уж, эти взрослые, — вздохнул Крестный. — Вечно что-нибудь придумают...

— Да, да, — кивнул я. — То говорят: холодно, дома сиди. То говорят: слякоть, дома сиди. А летом говорят: комары...

— Ладно, не расстраивайся, — успокоил меня Крестный. — В твоём возрасте время быстро идет. Расти большой!..

После паузы он поинтересовался:

— А лук и стрелы у тебя есть, Роман?

— Есть, — ответил я. — И лук, и стрелы есть.

— Лук и стрелы — это хорошо, — сказал он. — Это совсем хорошо. Значит, вырастешь хорошим охотником...

Потом он достал кисет и начал раскуривать трубку. А я стал осматривать упряжку. Мое внимание сразу же привлек вожак — среднего оленьего роста белый бык. Но чисто-белым назвать его, пожалуй, было нельзя. Быка словно окунули в болотную трясиину, а потом забыли хорошо помыть. И на его белой шубе остались бурые разводы — и на боках, и на спине, и на ногах. И даже на голове и ушах виднелись следы бурой болотной воды.

— Как его зовут? — спросил я.

Крестный взглянул на вожака, пыхнул трубкой, потом неторопливо ответил:

— У него два имени. Одно — Белый. Другое — Вожак.

— Белый Вожак!

— Можно и так, — согласился старик и грустно добавил: — Это мой последний олень...

Тут я показал на среднего и правого пристяжного упряжки и недоверчиво спросил:

— А это чьи олени?

— Это олени моего внука и твоего брата...

Речь шла о моем троюродном брате Никите, в доме которого зимовал Крестный.

По рассказам взрослых я знал, что у моего Крестного когда-то было на пастбище немало оленей. Его семья могла жить безбедно и каслать большим аргишем — кочевать большой группой упряжек — с одного места на другое. Вспомнив это, я спросил его:

— А где твои остальные олени?

— Ушли, — медленно сказал он.

— Куда ушли?

— Куда ушли... — эхом откликнулся он и замолк. Я понял, что ему не хочется говорить об этом.

Он молча выкурил трубку и принялся распрягать оленей. Чтобы они не разбредались далеко по весен-

нему насту и первым проталинам, их выпускали с деревянными колодками на передних ногах. Мне хотелось помочь Крестному, и я суетился возле его нарты, разыскал деревянный молоток, подавал колодки, прибирал упряжные ремни.

Но когда я принес колодку для Вожака, Крестный без всяких раздумий отложил ее в сторону. Поймав мой вопросительный взгляд, он пояснил:

— Этот старикан и так никуда не уйдет. От оленей и людей...

И он отпустил Вожака без колодки.

Тот и вправду далеко не уходил, постоянно был на пастбище, вблизи дома. Вместе с другими оленями приходил к чуму и, пережевывая жвачку, дремал на теплой проталине возле хозяина. А хозяин, мой Крестный, сидел на своем излюбленном «мастеровом» месте, и руки его непрерывно работали. Он строгал жильник для весеннего запора, плел рыболовные морды, мастерил нарты. И вокруг него вырастала гора вкусно пахнувших стружек. Мне нравилось говорить с Крестным, валяться на свежих стружках, вдыхать их смолистый дух. Белому Вожаку, наверное, тоже нравился запах свежей древесины.

— Два старых опять рядом, — сказала Мама.

— Вдвоем-то веселее, — откликнулась тетя Федосья, жена брата Никиты.

— О чем-то говорят, что-то вспоминают, наверное, — улыбнулся брат Никита.

— Да, им есть что вспомнить, о чем поговорить, — промолвил Отец.

Они и в самом деле, словно два старых добрых друга, мирно беседовали.

— Устал за зиму, наверное, да? — спрашивал-размышлял человек-старик.

Олень-старик, жуя жвачку, согласно кивал головой.

— Тепло вот пришло, — продолжал человек-старик. — Теперь легче тебе жить. По Гриве ходи, где снега нет. Ягель-то из-под снега вытаял. Вот тебе и пища. По Гриве ходи да ешь...

Старик олень, прикрыв выразительные большие глаза, все кивал головой.

— Рога свои побыстрее делай, — говорил человек-старик. — В том году у тебя хорошие рога были. Такие же большие и красивые делай в это лето, чтобы я осенью без труда мог накинуть аркан на твои рога...

«Ох, хозяин-старик, лукавишь ведь, — размышлял, наверное, олень-старик. — По осени-то за оленями молодые бегают, твои внуки и правнуки. Ноги у них быстрые, руки ловкие — за десять шагов аркан набрасывают. Тут не только рогатого, но и безрогатого поймают. Оглянуться не успеешь. Знаю я твоих внуков и правнуков. А если хвостатых пустят — так и во все никуда не убежишь. Со всех концов пастбища, куда ни направишь копыта, — назад заворачивают. С таким противным визгом-лаем носятся эти хвостатые — уши бы мои не слышали!»

— И глаза мои плоховаты стали, — говорил хозяин-старик. — Считаю, скоро все на ощупь начну делать. Вот еще строгаю, разные вещи мастерю. Это все по старой привычке. Руки, считай, многое помнят. Можно сказать, все помнят. Правда, пальцы не такие ловкие, как в молодости. Ноги в суставах плохо гнутся и часто ноют. Особенно по ночам.

«Да, верно, глаза твои совсем постарели, — соглашался олень-старик. — Это я знаю. Когда ехали сюда, ты вожжу отпустил и сказал: „Ну, Вожак-старик, меня вези. Ты дорогу знаешь. Глаза твои лучше моих. Потому как ты намного моложе меня“. Эти твои слова я помню».

— Рога расти, шерсть расти, — просил человек-старик. — Лето длинное. Пастбище старинное, родовое. Тут все олени беговые тропы твои предки проложили. Это пастбище тебя вскормило, на ноги поставило. На этой Гриве вот в такой же весенний день ты в этот мир пришел.

«Давно ль это было?»

— Да, считай, весен семь-восемь назад.

«Да, немало снегов с тех пор ушло... Мы оба с тобой уже старики. А тебе сколько же?»

— Я, считай, уже девять десятков весен-лет хожу по этой земле.

«Девять десятков?..»

— У тебя олений век, а у меня — человеческий. Ты так же стар, как и я. И поэтому твои весны равняются моим девяти десяткам.

«Выходит, мы с тобой ровесники?»

— Да, ровесники.

Так подолгу они обменивались мыслями-думами на «мастеровом» месте, на теплой проталине Гривы Малого Яра. В это время мы старались не беспокоить их. Пусть рождаются, говорили взрослые. Пусть свои разговоры ведут.

По вечерам Крестный охотно рассказывал сказки. Мне казалось, что в его голове лежали, смотанные в аккуратные клубки, сотни сказок и сотни песен Медвежьего Праздника. И он потихоньку разматывал их. Я же в свою очередь старался, слушая, сматывать их в клубки и укладывать в голове.

Песни Медвежьего Праздника он исполнял обычно днем, когда сидел за работой. А сказки — только вечером. Если я просил сказку днем, он всегда отказывался:

— Днем нельзя сказки рассказывать.

— Почему нельзя?

— Кто днем за сказку возьмется — тот облысеет, — улыбался Крестный. — Разве ты хочешь быть лысым?

— Не хочу, — быстро отвечал я.

— И я не хочу, — говорил он и встряхивал своей сединой.

Его довод мне казался убедительным, и я замолкал. Мне вовсе не хотелось, чтобы мой Крестный облысел.

Дни стояли ясные, солнечные — и снег уходил незаметно.

На Гриве, на тропе, песок так прогревался к полудню, что можно было бегать босиком. В бору появлялись похожие на невиданных зверей и птиц причудливые проталины, на которых охотно паслись олени. Днем они приходили домой, и отец или брат Никита счищали налипший на колодки снег. А потом, поразмыслив, меняли колодки — что потяжелее, доставались беспокойным, «ходячим» оленям, что полегче — смирным. Только Белому Вожаку моего Крестного ничего на ногу не надевали — доверяли...

Но однажды Белый Вожак не пришел домой со всеми оленями — куда-то исчез. Брат Никита обошел пастбище — и не разыскал его. На другой день мой Отец ходил на поиски — и он вернулся ни с чем. Вожак как сквозь землю провалился.

— По черной земле где его искать? — говорил Отец. — Это по снегу просто — по следу бы отыскивали.

К тому времени проталин стало больше, чем снега.

— Куда же он исчез? — размышляла Мама.

— Может, Чернолицему попался, — предположила тетя Федосья, имея в виду медведя.

— Появись Чернолицый — так он бы всех оленей погонял! — возразил брат Никита. — Без разбора! Он такой!..

— Это так, — сказал отец. — На пастбище он бы быстро наследил.

— Наверное, заболел Вожак и до дома не может прийти, — проговорила Мама.

— Да, похоже, заболел мой старикан, — согласился Крестный.

— Поди, где-нибудь на проталине свалился, — вздохнула тетя Федосья. — Лежит бедненький!..

— Надо еще раз пастбище обойти, — предложил Отец.

И они с братом Никитой еще раз по всем направлениям прочесали сосновый бор — основной ягельник домашних оленей. Но нет Вожака. Ни следа, ни тропы. «Вниз взяли, вверх взяли!» — говорят в таких случаях охотники.

Мне казалось, что меньше всех волновался сам хозяин оленя — мой Крестный. Его лицо с крупными и резкими чертами по-прежнему было невозмутимо. После утреннего чая, как всегда, он садился на свое место, выкуривал трубку и брался за нож или рубанок. Будто показывал, что все в жизни идет своим чередом...

На третий или четвертый день, под вечер, два ворона, хватая друг друга клювами, полетели за болото-сор, к кромке припроточного леса. Летели они не высоко и не низко.

— Они что-то видят, — сказал Отец. — И утром в ту же сторону летели.

— Может, они Вожака нашего деда нашли? — отозвался брат Никита.

— Похоже — да.

— Сходить, что ли, посмотреть?

— Сходи.

Они помолчали, вглядываясь через верхушки соловых сосенок в дымчатую даль, где виднелась кромка большого леса.

— На сору вода... дай мне сапоги, — попросил брат Никита.

— Возьми, — сказал Отец.

Брат Никита надел латаные-перелатаные резиновые сапоги моего Отца — такой роскоши в ту пору в селении ни у кого больше не было — и, забавно перескакивая с одной кочки на другую, как тетерев на весеннем току, пустился через сор к припроточному лесу. Видно, сапоги все-таки изрядно пропускали талую воду, что скапливалась в обледеневших выбоинах между кочек.

Я долго наблюдал за смешно скачущим братом, с нетерпением ожидая, какую же весть он принесет. Слонялся по Гриве, поскольку делать ничего не хотелось. Всех, казалось, мучило одно — жив ли Белый Вожак?

Вскоре брат вернулся. И мы узнали, что Белый Вожак Крестного погиб. Лежит за сором, на опушке припроточного леса.

Мама и тетя Федосья тяжело вздохнули. Отец с братом стали собираться за сор. Крестный молча раскурил трубку, посидел в раздумье, потом сказал:

— Значит, его время пришло... Хороший Вожак был...

Помолчал, подымил трубкой, затем добавил:

— Увел мой аргиш в ту сторону, откуда нет возврата... Увел...

Я вглядывался в его обветренное, изрубленное морщинами красивое лицо. Как и прежде, оно оста-

валось непроницаемым, будто ничего не случилось. Только не пел Крестный песни и не рассказывал сказки. И теперь дольше обычного, прикрыв грусть в глазах, сидел на «мастеровом» месте, посасывая потухшую трубку. Быть может, он размышлял о тех днях, что предстоит прожить без Вожака, без Белого Вожака уходящего аргиша...

А это без малого десять лет...

Когда снег полностью сошел, оставшихся оленей отвели в Осеннее Селение, где в оленьем доме под присмотром дяди Василя они должны пережить тяжкое комариное время. А мы перебирались в наше Весеннее Селение на Древесном Урии, оставляли на зиму лодки, обласа и другие летние вещи.

Шли пешком, каждый со своей поклажей. Сначала вышли на тропу брат Никита с женой и с моим Крестным. За ними пустились и мы. Мама несла за спиной в люльке мою младшую сестру Олю, родившуюся на Гриве в эту весну. Отец взял на руки мою среднюю сестру Дашу и сказал мне:

— А ты, Роман, на своих двоих пойдешь. Рук на тебя нет...

И я в первый раз в жизни пустился в такой дальний путь на своих ногах.

Как я узнал впоследствии, то было в девятую послевоенную весну.

Плач гагар

В детстве, на наших болотных озерах, я слышал плач гагар. Вернее, тогда это называли не плачем, а стоном. Я стоял на берегу огромного, как море, озера. Может быть, это было родовое озеро нашего деда Романа — Светлой Воды Озеро. Возможно, то был бе-

рег соседних озер. То ли Холодной Воды Озера, то ли Бубна Озера, то ли Большого Вирсани или Малого Вирсани Озер.

Я услышал странные звуки, скользившие по озерной воде. Долго прислушивался к ним, пытаюсь понять, что это такое. Потом, так ничего и не поняв, спросил у Мама:

— Мама, что это такое?

— Это гагара стонет, — ответила Мама.

— А почему она стонет — ей плохо?

— Гагара стонет к непогоде, — объяснила Мама. — Ненастье видит.

Стоял безоблачный, солнечный день. Ничего, как мне показалось, не предвещало плохой погоды.

Поэтому у меня возник новый вопрос:

— А как же гагара узнала о непогоде?

— Просто чувствует.

— Значит, ей плохо становится, да?

Мама немного подумала, помолчала.

— Может, ей и не очень плохо, — сказала Мама наконец.

— Зачем же тогда стонет?

— Она хочет предупредить тебя, человека, о надвигающемся ненастье. Ты же сейчас ничего не подозреваешь о плохой погоде, которая идет к нам.

— Ничего не знаю, — согласился я. — Ведь сейчас погода хорошая.

Возможно, тогда я впервые задумался о том, что связывает мой Бобровый род с родом Гагар.

А Мама рассказала, что мы слышим стон малой озерной гагары. Перед ненастьем она переворачивается в воде на спину, вытягивает шею и начинает стонать, словно перевернувшийся на обласе человек, взывающий о помощи.

Однажды мы плыли по озеру под вечер, в первых сумерках. И неожиданно, совсем недалеко от нашей лодки, перевернувшись, застонала гагара. Мой старший брат Галактион крикнул:

— Не стони, не зови ненастье!

На что гагара ответила легким бульком — нырнула. Затем вынырнула подальше от лодки и снова застонала. Она будто бы оправдывалась: что я могу поделаться — коль ненастье надвигается, коль непогоду вижу.

Отец рассказал легенду о гагаре. Когда-то она была человеком, имевшим большое стадо оленей. И он очень гордился и хвастался своим богатством. Бегал за своим стадом и кричал:

— Ох, какой я богатый! Мои олени, мои олени!.. Ох, какой я богатый!..

Долго ли, коротко ли так бегал и кричал — никто не знает. Но однажды стадо оленей, напуганное хищником, развернулось и налетело на человека. Он упал — и олени пробежали по нему, втоптали его в землю, в яму меж болотными кочками. Весь он стал плоским — спина вдавилась в грудную клетку, ноги сплющились, а копчик вывернуло. По земле теперь человек ходить не может, а кое-как ползает на брюхе. Только в воде стало ему удобно нырять и плавать. С той поры он в озера ушел, гагарой обернулся. Вот вам и богатство, огромное стадо оленей!..

Но тем не менее к гагаре относились, как и ко всему живому, с уважением. Нельзя гагару обижать. В гневе она безрассудна и страшна. Захочет и посреди большого озера путнику облас проткнет своим острым клювом. Попробуй доберись до берега! Она делает вид, что ныряет в сторону, а сама подплывает подо дно или к борту обласа и наносит удар. Мои ро-

дители иногда вспоминали не то легенду, не то быль о том, как некто пострадал от мести гагары. Чем-то человек обидел ее, и она проткнула ему легкую долбленку из кедра.

Вспоминали и другую историю. Будто бы в стари-ну, очень давно, одна пожилая хозяйка дома привязала к концу длинной жердочки клюв гагары. И этим клювом, сидя за шитьем, подгоняла ленивых и страшала слишком озорных ребят. Видно, припомнив это, взрослые иногда говорят нерадивым детям:

«Нет на тебя гагары клюва!»

Весной Отец привозил гагар, попавших в сети. Видно, они ловят рыбу там же, где и рыбаки. Из шкур гагар шили женские сахи-шубы, а из двух крыльев, сплетя корнем, делали красивое опахало-веер. Летом такими веерами мы раздували дымокур и обмахивались в жару и от комаров.

В пору моего детства гагара стонала только пред ненастьем, чтобы предупредить людей о надвигающихся бурях-грозах. Не помню точно, сколько птиц собиралось вместе, но не больше двух-трех. А позднее у Сотворенной Реки Человека я увижу семь гагар. Семь гагар в кругу черных нефтешек, на черной воде, задрав к небу долгие шеи, заплачут...

Семь стонов.

Семь клювов.

Семь голов.

Семь шей.

Семь тел.

Семь молитв.

Семь плачей.

Семь гагар.

В кругу.

В кругу черном.

В кругу нефтяном.
В кругу заколдованном.
В кругу заколдованном нефтевышек.
Есть ли выход из круга?!
Есть ли?!

Мне давно не попадалась живая гагара. Живая.
С песней.
Со свистом.
Со стоном.
С клювом.
С красивыми крыльями.

Мне давно не попадалась гагара. И я не знаю, что с ней сейчас происходит. И у Отца своего, сидящего в опустевшем родовом селении на среднем течении Агана, не спрашивал, что делается с гагарой на наших болотных озерах-морях. Возможно, если бы спросил, как и о Глухаре, он бы ответил:

«Гагары род кончился».
Я не спрашивал и ответа не знаю.
А нефтевышка безмолвна.
Нефтевышка глуха.
Нефтевышка тяжка.
И дух ее тяжек.

Мне давно не встречалась гагара. Может быть, поэтому я так отчетливо слышу семь молитв, семь плачей семи гагар Сотворенной Реки Человека.
Семь плачей перед семью ненастями.
Семь плачей перед семью бедами.
Слышите ли вы, люди?..

Древняя птица Глухарь

Глухарь.
Глухарь над бором.
Глухарь над зеленым бором.
Глухарь над синим бором.
Глухарь над золотым бором.
Глухарь над оранжевым бором.
Глухарь над малиновым бором.
Глухарь над красным бором.

Что это? Глухарь на утренней заре?
Глухарь в синий полдень?
Глухарь на закате дня?
Или, быть может, Глухарь в крови?..
Красный, кровавый, окровавленный.
Раненый Глухарь над раненым бором?
Глухарь на излете?
Последний взмах.
Последнее движенье.
Последний вздох.
Величественная птица Глухарь.
Древняя, как ханты.
Мудрая, как манси.
Вечная, как...
Вечная ли?..
Пролетят годы.
Утекут Весны.

...На среднем течении Агана, в нашем родовом селении, сидит мой Отец. Сидит мой Отец, обложенный со всех сторон железными и бетонными дорогами, нефте- и газопроводами, нефтяными вышками и нефтяными поселками-городами. Его лучшие ягельные боры вырублены. На его лучшие реки-воды пущена жирная пленка черной нефти.

Сидит мой Отец в опустевшем родовом селении, и по ночам скачут по его лицу отблески факелов Самотлора с полуденной стороны.

Сидит мой Отец и молчит.

Сидит мой Отец и думу думает свою.

В прошлую осень, в самое глухариное время, я приехал к нему и спросил:

— Сколько глухарей добыл, Отец?

Он помолчал и, не отводя взгляда с полуденной стороны, глухо сказал:

— Глухарь кончился.

Усохнут Лета.

Потом он припомнил, как в первые годы, когда проложили геологи и нефтяники дороги через кедровые урманы и сосновые боры, машины нещадно побили глухариный род. (Отец ни разу не употребил слово «люди», а именно «машины».) Машины побили. Глухарь птица умная, а тут совсем оглупел от нефти — садится на дорогу и прямо из-под колес подбирает гальку. Сами же машины похвалялись, что за одну поездку набивали полный кузов.

Так кончился глухариный род.

Может быть, теперь нужна другая картина?

Глухарь над черным бором.

Возможно, к кому-то придет мысль, что это Глухарь в ночи, Глухарь над ночным бором. А возможно, нужен перевертыш. Это будет точнее. Картина-перевертыш. Сверху черный бор, а под ним — Черный Глухарь.

Глухарь на крестовине.

Что это?

Может быть, Глухарь со своим крестом? Не с чужим же крестом он взбирается в небо или уходит в землю...

Захлебнулся жидкой грязью Осени.

А мой Отец все сидит в нашем некогда многолюдном родовом селении лицом на полуденную сторону. Сидит, и его мысли-думы ходят вперед и назад во

времени, вверх и вниз по течению нашей реки. Ходят-бродят его думы-мысли и опять возвращаются к нему, так и не найдя, не зацепив ни одного своего ровесника-сородича ни вниз до устья, ни вверх до истока Аган-реки.

Сидит, как ханты говорили, с высохшей головой.

Сидит с высохшей бородой.

Сидит один-одинешенек.

И никуда-то он не хочет уезжать, хотя со всех сторон нефтьвышки подступают все ближе и ближе, и глаза плохо стали распутывать следы лесных зверей.

О чем он думает? Может быть, о Земле?

Разве покинешь родную Землю в беде?!

Разве покинешь вскормившую тебя Землю в горе?!

Разве покинешь Землю, которую любишь?!

Может быть, он думает о себе и о Реке.

Он — хозяин Реки.

Он — старейшина Реки.

И он спасет и Реку, и Землю, и Глухариный Род.

Глухари.

Роды.

Между тем окоченеют Зимы...

Глухарь о двух головах.

Что это? Загадка Сотворенной Реки Человека?

Возможно — да.

Возможно — нет.

Весной, когда сходил последний снег, Мама вздыхала:

— Ах, до следующего снега бы дожить!

Осенью, когда земля надевала белую шубу, а реки покрывались льдом, Мама говорила со вздохом:

— Ах, до следующего лета бы дожить!

А однажды она бодро сказала:

— Как глухари, считать надо: до следующего лета доживем...

Я это услышал впервые, поэтому спросил:

— Глухари считать умеют?

— Да, — сказала Мама.

— А как они считают?

— Очень просто...

И она рассказала, как Глухарь попал в слопец-ловушку. Лежит Глухарь в ловушке, под бревнами, а голова снаружи осталась. Увидел он сосну с пышной хвоей и думает: «Ох, какая прекрасная хвоя на этом дереве — вот в будущем году-то поклюю, вот мне пища будет».

Как я понял позже, спустя годы, у Глухаря, даже в ловушке, под бревном, оставалась хотя бы надежда. Великая надежда на жизнь.

А ведь у Глухаря могло быть две головы. Одна в ловушке, а другая снаружи, на свободе, на воле. Живи, дыши. Смотри на сосны, на хвою. И машинам, чтобы изничтожить глухариный род, пришлось бы сворачивать каждый раз не одну, а две шеи. Вдвое больше. Тогда, может быть, машины замаялись бы и бросили свое гнусное дело...

Надежда.

У Мамаы тоже была надежда. Она надеялась на жизнь.

Но время было тяжкое.

Время.

Послевоенное.

Голодное.

Холодное.

Колхозное.

Советское.

Социалистическое.

Предкоммунистическое.

Энкавэдэшное.

Противошаманное.

Противобожье.

Противочеловечье...

И уйдут шаманы и сказители...

И осиротеют Боги и Богини...

А у Мамаы была надежда. Но сама она не выжила, не выбралась из того времени. Как теперь я понимаю, она сгорела. Она сгорела от любви к нам, как выражались наши старики, к своему выводку. И мы все, согретые ее любовью, выбрались из того времени, выжили. Но какой ценой?..

Может быть, и сегодня нужно иметь две головы. Одну для ловушки, другую — для воли. Одну для машин, другую — для надежды. Без надежды какая жизнь?!

А Отец мой все сидит в своем опустевшем родовом селении, сидит и думы думает свои. О чем? Может быть, о вечности бытия. О том, что уходит и что остается. И с чем остается человек?..

А величественная птица Глухарь в скором будущем останется, наверное, лишь на полотнах Творца.

Промчатся дни и годы.

Утекут Весны...

Усохнут Лета...

Захлебнутся жидкой грязью Осени...

Окоченеют Зимы...

Уйдут из Среднего Мира шаманы и сказители.

Уйдут навсегда.

За ними уйдут люди.

Уйдут народы...

Осиротеют Боги и Богини...

И останутся лишь одни Боли...

Боль Земли

Когда Мама случайно задевала землю острием топора, она быстро ровняла порез, закрывала его щепками и хвоей. Я вспомнил: то же самое делал и Отец, если его топор нечаянно соскальзывал с дерева.

Я спросил у Мама:

— Что все это значит?

— Это рана на теле Земли, — сказала Мама.

— Рана?

— Да, ни в коем случае нельзя оставлять раны.

— Почему?

— Больно Ей...

— Больно? — удивился я.

— Да. Если случайно поранишь Землю — Сидящую Матерь, нужно сразу же полечить рану.

— Как же полечить?

— Нужно заровнять порез, чтобы побыстрее заживал.

— Ты мне раньше этого не говорила, Мама.

— Я тебе еще о многом-многом не говорила, Роман.

— Расскажешь?

— Конечно же — будет время, многое узнаешь.

Я уже знал, что нельзя часто повторять священное имя Той, что держит нас: Земля!.. Только в особо значительных случаях, на больших торжествах-праздниках, а также в критическую минуту, когда взывают о помощи, — вот тогда называют Ее этим высоким именем — Земля! А в повседневной жизни зовут просто Сидящей. Наверное, от частого употребления изнашивается имя, тускнеет, соображал я. Поэтому детям и не разрешают попусту повторять его. И сама Она, коль услышит, возможно, бывает недовольна этим...

Я вспомнил слова Матери о том, что у всего живого есть душа. Есть душа у человека. Есть душа у дерева. Есть душа у травиночки и цветка. Есть душа у Земли. А все, у кого есть душа, чувствуют боль.

Сейчас меня интересовала Земля. Поэтому спросил у Мама:

— Ей очень больно?

— Конечно. Помнишь, ты палец себе порезал?

— Помню.

— Помнишь боль?

— Да, помню.

— Вот и Сидящей так же больно, — грустно проговорила Мама. — Только мы не чувствуем Ее боли...

Я живо представил себе Сидящую: вот Она, величественная Женщина-Красавица, а мы, люди, живем и бегаем по Ее плечам. И, по неразумности своей, иногда причиняем Ей боль, приносим страдания. Но Она — казавшаяся мне одновременно и человеком, и Богиней — прощает нам многие обиды. Ведь Она такая же добрая и справедливая, как и моя Мама. И понимает, что дети могут и пошалить. Недаром называют Ее Сидящей Матерью. Стало быть, все люди Земли — Ее дети...

Я взглянул на свою Маму. И мне пришла мысль: моя Мама чувствует боль Сидящей Матери, боль Земли. Если и не до каждого человека доходит эта боль, то моя Мама наверняка чувствует ее. Когда она острием топора задевала Землю, я видел на лице Мама боль. И поэтому спросил тихо:

— Мама, а ты чувствуешь боль Сидящей?

Она внимательно посмотрела на меня, помолчала немного, затем тихо и задумчиво сказала:

— Может быть, иногда и чувствую...

Тогда мне еще неведома была чужая боль. Позже, размышляя об этом, я понял, что корень всех корней жизни находится в Земле. Корень дерева, само дерево, плоды дерева, жучки-паучки, звери и птицы, человек... Все взаимосвязано, все держится на одном корне, и корень этот уходит в Землю. И поранивший Землю поранит и корень всех корней. И замахнувшийся на корень прежде всего замахивается на себя и на человечество. Но боль изначальную чувствуют немногие, а конечную — почти все. Ибо каждый замах потом обязательно откликнется...

Я слушал Маму. Потом в мою голову пришла другая мысль. И я спросил:

— Мама, а разве лопатой мы не причиняем Ей боль?

— Нет.

— Отчего так — ведь лопата острая?

— Когда для нужного дела мы копаем или строим — Земля только рада этому.

— За это Она не сердится на человека?

— Нет, не сердится.

— Она умная?

— Да, Она знает, если человек задумал разумное дело... Она все знает, все понимает!..

И я стал думать о разумном и неразумном в жизни Земли.

А Мама стала мне объяснять, почему нельзя делать больно нашей Земле. Все люди-народы, все звери и птицы, деревья и травы на Земле живут. Всех Земля держит. Всем дает жизнь Священная Земля... А если поранишь Ее и Она обидится насовсем — тогда где жить?! Как жить?! Не станет Земли — не станет жизни... Вот поэтому и нужно беречь Землю. Вот

поэтому и нужно думать о Ней ежедневно, помнить о Ней до последнего мгновения.

А вскоре пришло это последнее мгновение — и Мама ушла в Землю...

После я с завистью смотрел на тех, у кого были мамы. Мне казалось, что в них не было того священного трепета, с каким нужно подходить к матери. Ибо они не знали, не представляли, каково это остаться без матери в детстве. Растить без матери. Жить без матери...

При Маме мир был одним, а без Мамы стал совсем другим...

Мама ушла в Землю.

Мужчины нашего рода с черными лицами рубили Землю. Рубили оледеневшую январскую Землю топорами. Рубили Землю молча. Мы со старшей сестрой Лизой сидели у костра и смотрели на них без слез. Мы давно выплакали все слезы. Мы сидели одни. Младших сестер не взяли, ибо самой младшей было семь месяцев от роду, и ее кормили жвачкой. Она сидела в люльке, а обычай строго-настрого запрещал приводить сюда детей в люльке. Мы сидели у костра. А мужчины рубили Землю. И мы видели, как мерзлые комья падали на черный снег. Рубили ту Землю, которую так любила наша Мама и в которую она уходила преждевременно. Ее не стало утром, после восхода солнца. По примете ханты, смерть после восхода — это преждевременная смерть.

Рубили Землю нашей Мамы. И нам было больно. И во мне до сих пор жива эта боль...

В ОЖИДАНИИ ПЕРВОГО СНЕГА

Повесть

Когда Луна прилетела гусей и уток «растаяла» и под неумолчную песнь талых вод подкралась к тайге Белая Ночь, когда охотники, пряча в лабазы старенькие дробовики, еще бредили весенней охотой — таежное селение Ингу-Ягун всколыхнула нежданная весть. И хотя жители селения давно перестали удивляться всему, что творилось вокруг, эта новость все же нарушила их покой. Такого в селении еще не случалось.

Когда лет десять тому назад здесь впервые приземлилась железная птица — зовут ее самолетом, — охотники помоложе осмотрели ее со всех сторон, потрогали руками, но отозвались сдержанно: «Неплохая, наверное, птица — тайгу с нее хорошо видно». А старики решили: «Верховный бог ханты Нум Торум не против этой железной птицы, иначе как она ввысь поднялась?» И даже разрешили молодым охотникам летать на ней в город.

А в позапрошлом году тут новая «птиция» появилась. По-русски она называлась длинно и непонятно: экс-пе-ди-ци-я... Старики дали свое название. Птиция эта землю дырявит, черную горячую воду ищет, имя

которой — Нефть. Люди новый поселок построили. От Ингу-Ягуна на оленях езды — одна трубка мерка!¹

Таежные жители гостеприимны. Не отворачиваются от тех, кто селится рядом: живите, устраивайтесь — тайга большая, зверь-птица есть, рыбы в озерах-реках всем хватит. Мы вам не мешаем — вы нам не мешайте. Пусть злые ветры-метели не заметают тропу между нашими селениями, поживем да начнем ездить друг к другу чай пить.

Но на третье лето из дома в дом быстрой белкой поскакала, проворным горностаем шмыгнула весть: молодой охотник Микуль Сигильетов, внук знаменитого медвежатника Кавахн-ики, от древнего промысла отрекся, свой охотничий инструмент бросил, землю предков — священную землю — дырывать станет. В птицию, говорят, ушел, помощником землебурителя сделался! Где это видано, чтобы охотник землю буровил?!

Селение Ингу-Ягун небольшое, всего три родовых фамилии ханты: Сигильетовы, Казамкины да Сардаковы, да ненцы Айваседы. Все с рождения знают друг друга. И каждый считает своим долгом принять участие в судьбе другого: козь не делом, так словом.

— Микуль, видно, слишком глазастым стал, — ворчали старухи, выдывая шкуры. — Ученье виновато. Целых восемь классов окончил. Вот и пошел искать такое, на что бы глаза пялить, а ведь и глядеть-то не на что: на железо, что ли, с дурным духом?! Одна лишь вонь от него. И сгнуть-то толком не может, одна ржа: ни человеку, ни божьей твари какой... Опять же семью бросил — бабка полуслепая, мать да три сестренки. Главным кормильцем после смерти отца

¹ Обычно через каждые двенадцать — восемнадцать километров делается остановка, чтобы олени отдышались и поглотали снег, а каюр раскуривает трубку.

был, потому и в армию не забрали, отсрочку дали. Кто теперь семью кормить будет? Вот нынче молодые какие, раньше такого не было, нет.

Так и эдак судили ингу-ягунцы. Не знали, как быть.

Ворчали старухи. Вздыхали седобородые старики.

— Ох, разгневаётся всемогущий Нум Торум, накажет ингу-ягунцев! Ох-хо-хо! Накажет. Большой водой! Большим дождем! Ветром свирепым! Громом, огнем накажет! Мор падет на рыб и зверей. Голодать будем... Ох-хо-хо, не миновать беды!..

Пошли старики к деду Кирилле Казамкину, самому мудрому в селении старцу. Это он в тридцатых годах организовал в Ингу-Ягуне колхоз и много лет был его председателем. Он и сейчас, хоть и стар совсем, промышлял зверя и птицу капканами да силками. Сам управляющий промохототделением Иван Филатыч Троянов ходил к нему за советом: на каких угодиях лучше начать промысел рыбы и зверя, какой ожидается год — урожайный или неурожайный, какая будет вода — большая или малая. Много знал и помнил дед Кирилла, умудренный долгими годами жизни...

Пришли старики, задымили трубками, сокрушаются, головами качают:

— Слышишь, Кирилла, скоро род охотников совсем кончится: старики помрут, молодые в птицию сбегут. Тропы охотничьи зарастут травой-кустами. Что такое тайга без охотника?! Уж и грех сказать, что такое! А человек без тайги, а?! Как быть, Кирилла?

Дед Кирилла поперхнулся дымом, тряхнул белой, как перо халея², головой, откашлялся и снова затыкнулся — так ничего и не сказал.

Вошел Иван Филатыч. Старики накинулись на него, будто нашли виноватого:

² Халей — речная чайка.

— Ты зачем отпустил его на железную работу, Иван Филатыч?!

Тот тяжело, по-стариковски вздохнул, почесал блестящую лысину, сказал:

— Не надо было отпускать — он мне план давал! Но верно мыслит стервец: ежели соседи отыщут нефть, нам туго придется. Такое тут начнется — звериного духа ни одна лайка не учует. Тогда надобно бросать промысловое дело, всем в нефтяники подаваться. А у нас там уже свой человек! — и управляющий хитро сощурился.

— Ну, это еще когда будет! Может, этой черной воды тут и вовсе нет — откуда ты знаешь?! Зверя надо в тайге выслеживать, рыбу ловить. А черную воду где промышлять надо — кто знает? В каком месте землю сверлить — кто знает? Наши мудрые предки ведавать не ведали, кто живет в Нижнем царстве, кроме умерших. По сей день ни один охотник не видел ее, черную воду, а слухов пошло шибко много. Напрасно ты, Иван Филатыч, парня не удержал, напрасно!

— Силой разве удержишь! — заговорил Иван Филатыч. — Все одно — время летнее, не сезон. Пусть поработает. Осенью-то, по первозимью, так и так вернется, не устоит. Как устоять? Охотник... — Иван Филатыч покосился на стариков, подумал — кажется, последние слова весомо прозвучали, верят таежники в первозимье. Чуть помедлил и, усмехнувшись, добавил: — Вот вернется Микуль и скажет, есть ли нефть в Нижнем царстве или нету. Коли есть — так своими глазами увидит, коли нет — так и разговоров не будет.

Закряхтели старики, засомневались, а вдруг нефть заколдует, заморозит парня — кто знает, какими чарами она обладает!

— Разве у тайги, у троп охотничьих, у первозимья слабее чары? — возразил Иван Филатыч. — Пройдешь

один раз по первой пороше, на всю жизнь запомнишь! На веки вечные приворожит! Я вот сколько помню, из молодых кто хоть год поохотился, потом уж не уходил никуда. Если сразу после школы в город не подался, в тайге оседет, не уйдет. Так и Микуль... Пусть куда побегаёт.

— Это верно, — согласились старики. — Большая у тайги сила!

А дед Кирилла слушал, дымил трубкой. Молчал.

— Ты-то что думаешь, Кирилла? Что-то твоего слова не слышать? — говорят старики.

Дед не спеша вытащил изо рта трубку, повертел ее в руке, сказал:

— Что я-то думаю?.. Прав, думаю, Иван Филатыч: пусть парень поработает. Доживем до первого снега, там видно будет. Так я думаю!

Подивились старики его словам, но перечить не стали: ум деда Кириллы ходил верными тропами, никогда не блуждал.

Вечером к тетке Анне, матери Микуля, нагрязнули гости. Опять о Микуле разговор был.

— Что я могла сделать?! Не маленький ведь... Своя голова — свои думы, сам себе хозяин... — оправдывалась перед ними Анна.

...Народилась над тайгою Белая Ночь. Тишина и покой на земле. В эту пору никто не тревожит птичьих гнездовий, не пугает зверей, кормящих детенышей...

«Когда человек приходит в Белую Ночь — большая радость, — говорят в народе, — а когда уходит...»

2

Люди отвоевали у древнего бора клочок земли, где столпились, как отбившиеся от стада олени, железные домики — два оранжевых, три голубых и один на от-

шибе — деревянный, некрашенный. Напоминают они парт авыл, нарту-ларь для продуктов, только вместо полозьев два толстых бревна, и на них, чуть выше человеческого роста, жилой домик с окошечками и обрубком трубы на крыше. В сторонке навес, крытый не берестой, как у рыбаков, а черной смоленой бумагой — толем. Оттуда идет запах вареного мяса — наверное, там готовят еду. Дальше — большая, в два человеческих роста, белая бочка с круглой крышкой наверху, куда тянется затоптанная лесенка. За ней, Микуль сразу узнал по картинкам в журналах, — грязно-серая громадина буровой вышки. Таежные сосны по пояс ей. Стоит словно исполинский истукан, опутанный железными прутьями-кандалами, чтобы не убежал от людей. Ворчит и чихает сизым дымком дизелей, притаившихся над навесом. Там, видно, сердце буровой. За вышкой речушка с темной водой и светлыми бережками. И березовая рощица, бегущая к буровой.

Возле вертолетной площадки болотце с чахлыми сосенками. За ним большое озеро с лесистыми островами. Между речушкой и озером — сосновый бор с плешинной в пятачок, где неожиданно взметнулась к небу вышка.

«Хорошее место, — отметил Микуль, будто, выбирая место для буровой, геологи думали больше о рыбалке или охоте. — Бор, река и озеро — все под рукой». К нему бросилась свора разномастных собак, они словно учуяли в нем охотника: не рычали, а ластились, норовили лизнуть лицо.

— Где тут начальник живет, покажи? — спросил Микуль у молодого высокого рабочего в замасленном комбинезоне.

— Начальник?! — парень внимательно оглядел Микуля, неопределенным жестом показал за спину, на восток. — Ты что, оттуда?

В том направлении, куда указал парень, находилось родное селение, и Микуль утвердительно кивнул:

— Оттуда, оттуда... Из Ингу-Ягуна.

Парень неожиданно громко рассмеялся, захолопал себя по животу:

— Ну, чудака, ну насмешил: «Начальник!» Видно, что оттуда. Главного тут называют не начальником, а мастером! Понял — мастер! Вон в том балке живет наш Кузьмич, топай туда прямым курсом!.. Стой, стой! — вдруг закричал парень, протягивая руку. — На работу, да? Будем знакомы — помощник дизелиста Верезовский!

«Веселый тут народ, железный, — подумал Микуль, ощутив крепкое пожатие рабочей руки. — Так от него машиной и тянет. Вот только смеялся чему — ничему, ничего смешного нет. Просто любит посмеяться?.. А домики эти, значит, и здесь, на буровой, балками зовут. Нет, «дом» лучше звучит, теплее, уютнее, а что такое «балок», от «балки», что ли? А вот «мастер» — хорошо! И на хантыйском языке есть такое слово — это человек талантливый, особенный: нарту делает красивую и удобную, обласок выдолбит легкий, изящный, при нужде сошьет себе малицу и кисы, а зверя выследит в таком урмане, где охотник «немастер» нипочем не отыщет следа... Посмотрим, какой у них Кузьмич — мастер, наверное, все может — и вышка сердитая слушается его».

Микуль поднялся на высокое крыльцо.

Человек, сидевший среди балка на корточках, резко повернул на скрип двери по-детски румяное лицо с пухлыми щеками и ровным бархатным голосом спросил:

— Новенький, что ли?!

— Да. А вы... мастер? — с сомнением поинтересовался Микуль — уж больно молодо выглядит!

— Ну... Вот иглу выронил, рукав зашить надо, — проговорил тот, продолжая шарить рукой по полу.

— Да вот же игла! — помог Микуль, а про себя отметил: «Наверно, стесняется носить очки, а видит неважно».

— А ты глазастый, оказывается! — одобрительно улыбнулся мастер. — Глазастые нам нужны — давай направление. Не работал на буровой?

— Нет... я охотник.

— Нет — научим, будешь нефть искать. Я, брат, тоже люблю охоту. Так вот... сначала будешь помогать такелажнику. Нужно с вертолетной площадки мешки с глиной перевезти к вышке. Иначе пойдет дождь — и все размокнет.

«Кто такой такелажник? — думал Микуль. — Ведь я в этом такелажнике ничего не понимаю».

— А потом день-другой будешь помогать плотнику. Видел, у нас вместо столовой просто навес. Вот его надо обшить тесом, а то комары не дадут житья, в прошлое лето чуть не загрызли, поесть негде будет.

— Я ведь не такелажник! Как же так — я хочу бурить! — заволновался Микуль, и тут он немного схирился, добавив: — И не плотник я, не мастер!

Он всматривался в лицо собеседника и думал, что глаза у него вроде честные, бесхитростные, а сам будто бы хитрит — не хочет допустить новичка до «железной работы», боится, наверное, как бы охотник не натворил чего-нибудь.

— Ты хоть выслушай до конца! — перебил мастер. — На буровой ведь не работал — так осмотреться должен. Сходи на вышку, посмотри, что к чему, вникай в суть дела. А потом я тебя в лучшую вахту запишу, и не по третьему разряду, а по четвертому — верховым будешь. Обстоятельства так складываются, место освобождается, так-то! Пойдем, покажу, где жить будешь.

«Не шибко на мастера-то смахивает! — подумал Микуль, выходя из домика. — Сколько годов нужно, чтобы все «железное дело» узнать?»

— Голубые и оранжевые — это мужские балки, — показывал по дороге Кузьмич. — Деревянный — женский, там лаборантки и тетя Вера, наша «комендантша». Мужчинам туда вход заказан. Тетя Вера у нас строгая.

Кузьмич открыл дверь крайнего домика. В полутемном тамбуре железная печка. Вокруг нее сапоги, ботинки и домашние тапочки. На гвоздях грубая брезентовая одежда и оранжевые гладкие шапки, вроде чугунных котелков, в которых жены охотников любят варить мясо — быстро вскипает вода. Двери слева и справа. Кузьмич толкнул левую.

В небольшой комнатке две полки внизу и две наверху.

— Занимай вон верхнюю полку, — сказал мастер. — Внизу тут наш шеф-повар спит, Жора. А на тех дизелист Ракович и помощник его Вerezовский... Да, что надо будет — приходи, сейчас тетя Вера белье принесет, зайду к ней.

С постельным бельем пришла женщина лет сорока пяти. Светлые вьющиеся волосы собраны пучком на затылке. Черты лица жесткие, суровые. На лбу и вокруг полинявшей голубизны глаз прочно угнездились морщины. Вся ее фигура сухонькая и подвижная, подевочки легкая. Голос ее звучал в маленькой комнатке неожиданно резко и властно:

— Чтоб не лез в комнату в грязной спецовке, чтоб окурки и спички не бросал на пол. Белье меняю ровно через две недели... как всем. В чью вахту записали?

— Пока никуда...

— Значит, к Алексею Ивановичу, раз сюда поселили, повезло — добрый бурильщик! — при этом лицо ее посветлело.

На Микуля посыпались вопросы: кто? откуда? женат ли? Кто родители? Потом, как бы извиняясь за излишнее любопытство, тетя Вера пояснила:

— Я, считай, тоже местная, жила в Ингу-Ягуне.

— Всех я там знаю, но вас не помню — где вы работали? — заинтересовался Микуль.

Лицо тети Веры стало опять строгим и жестким, помолчав, она нехотя ответила:

— При колхозе... Кассиром. Тебя еще не было, давно это было, давно... — и медленно, словно с тяжелой ношей, вышла на улицу.

«Что-то я много болтаю, — подумал Микуль. — Обидел человека — это плохое начало. В тайге удачливей начинал всякий сезон...»

Но, выйдя на улицу, он забыл про свою досаду, так ему не терпелось после стольких рассказов увидеть все самому. Недаром в родном селении его называли Глазастым. Осторожно поднялся на скользкий от глинистого раствора «пол» вышки — мостками называют. В уши ударил недовольный рокот дизелей: они будто злились на новичка. Никогда не слышал охотник такого неприятного шума.

Вышка четырьмя железными ногами, уходящими под деревянный «пол», вросла в землю. Здесь, когда стоишь на полу, вышка напоминает очень высокий охотничий чум, только основание не круглое, а квадратное. На середине, где должен быть таганок, — металлическое возвышение — ротор с дырой в центре, где стальные длинные зубы зажали трубу. Сверху на толстых проволочных веревках опустилась небольшая железная загогулина с выемкой и болтающейся на шарнире «челюстью».

Подскочил паренек, завел элеватор-загогулину чуть ниже утолщения на конце трубы и резко захлопнул челюсть-крышку. Стоявший у столика с разными

рычажками усатый бурильщик, еще не старый, но, кажется, самый главный в смене, нажал на педаль под столиком — «зубы» тотчас же разжались. Затем он надавил на длинную железную рукоятку — барабан, в два или три человеческих обхвата, стоявший между двумя ногами, выплевывая искры, стал наматывать на себя проволочную веревку. Взревели дизели, вздрогнул пол — и элеватор-загогулина, все увеличивая скорость, потянул трубу вверх. Когда она остановилась, бурильщик, словно волшебник, нажал на какую-то кнопку, — сердито фыркнув, выскочили замасленные «клещи», крепко обхватили трубу и, вращая, отвинтили ее. Снова подскочил паренек с длинным металлическим крючком, зацепил трубу и оттянул ее свободный конец в угол. Наверху кто-то невидимый освободил ее от элеватора, и она замерла внутри «чума», будто поставили ее отдыхать. Пошла следующая труба.

Все это Микуль уловил в несколько мгновений: у охотников развита зрительная память, нет у них ни записных книжек, ни карт — все, что увидел и услышал, надо запомнить.

«Ловко работают!» — только успел подумать Микуль, как к нему подбежал молодой рабочий с озабоченным загорелым лицом и закричал в самое ухо:

— Уйди! Зашибет!

На Микуля ползла бледно-рыжая труба. Он быстро отскочил в сторону и огляделся: хотелось узнать, зачем она приползла сюда. От «пола» вышки до земли пологий бревенчатый помост, по нему маленькая лебедка тросом и подтянула сюда эту трубу. Теперь возле нее остановился другой рабочий и начал старательно измерять ее рулеткой — Микуль молча взял конец ленты с нулевой отметкой, чтобы помочь парню. Тот между тем выгащил блокнотик и что-то записал там коротеньким карандашиком, — наверное, длину трубы.

Микуль не стал его отвлекать расспросами, незачем мешать человеку делать свое дело. И так понятно, трубу приготовили для того, чтобы нарастить ее на другие трубы, когда начнут их опускать.

Но тут усатый бурильщик стал делать Микулю какие-то знаки. Оглянулся: в белом, как запорошенная лунка на льду, круге беспокойно пританцовывала черная, с острым наконечником, стрела. Луки с такими стрелами настораживают на выдр. Здесь она что-то говорит бурильщику, а он, Микуль, закрыл ее своей головой. Потом еще кто-то попросил посторониться. Куда ни сунься — всюду не на месте.

В этом царстве ревущих машин, труб, стальных канатов, в бесконечном звоне и скрежете железа привычно, по-хозяйски сновали чумазые парни в перепачканных робах и резиновых сапогах.

И тут появилась мысль: «В тайге-то лучше: чисто, спокойно и тихо. Ни грязи тебе, ни мазута, ни грохота. Куда я попал?»

Три года назад, шестнадцатилетним мальчишкой, Микуль начал промышлять зверя. Год был суровый, неурожайный на зверя-птицу. Тогда он преследовал лису с капканом. Жгучий ветер выжигал слезу. Казалось, за тем кустиком или бугорком покажется обессилевшая лиса, но ее все не было. Хотелось вот так же плюнуть на все и убежать домой. Но там уже нет отца, его, Микуля, ждут с добычей. Глотая слезы, он шел по следу.

«Тогда, — думал Микуль, — я не повернул назад, не отступил, а ведь было всего шестнадцать. Конечно, начало всегда нелегкое. Вот и сейчас: идешь по этим скользким грязным мосткам буровой, и мир вокруг кажется таким же скользко-зыбким и неустойчивым, как эти мостки, вот-вот свалишься». Но падать Микуль не привык — он охотник из старинного промыслового рода.

Как и в ту самую трудную первую охотничью зиму, по шатким деревянным ступенькам полез на вышку.

«Прав Кузьмич, с наскоку этого истукана не возьмешь, наверху мешать некому, надо сначала осмотреться как следует».

На середине вышки на площадке, обшитой со всех сторон тесом, помбур отмыкал челюсть загогулины и ставил трубу в угол. Микулю понравилось, как он ловко, будто играючи, управлялся с тяжелыми трубами, они покорно, одна к одной, становились на отдых. Отсюда ничего не видно, кроме «пола» вышки.

Чем выше он поднимался, тем невесомее, казалось, становилось тело. Одинаково он любил небо и тайгу. Если бы он пошел в армию, то попросился бы в летную часть. Но и тайга была для него родной матерью. Мог ли он ее не любить? И вот он, Микуль, сын Неба и Тайги, уже на «седьмом небе». Ему сказали, что так называется самая верхняя площадка буровой.

Хотя высота не ахти какая, сорок метров, но тайга как на ладони.

В углу, облокотившись на перила, стояла девушка — такое у нее милое и вместе с тем строгое лицо! Ветер играл ее темными волосами, как озерной водой. Невысокая, стройная, она похожа на хантыйскую девушку, только глаза огромные и голубые. В них тайга, залитая плавленным золотом солнца и небесной синевой. Одинокие сопки, с горделиво взметнувшимися ввысь пиками елей и кедров. Светло-синие чаши озер, где разбредшимся стадом белых оленей паслись березки. Ярко-рыжие болота, пугливыми лисами убегающие от буровой. На горизонте все терялось в голубом легком мареве.

В ее глазах было все. В них не было только его, нового помбура. Она не замечала его. От этого Микуль еще

больше растерялся, не зная, что делать — то ли уйти, то ли остаться.

Тут она отвела со лба невесомую прядь волос, удивленно вскинула длинные черные брови, спросила без всякого интереса:

— Новенький?

— Но-венький, — выдавил Микуль и не узнал своего голоса.

— На заработки? — она в упор посмотрела на него и, насмешливо сощурившись, ждала, соврет или нет.

— И на заработки, — пробормотал Микуль. — Заработать тоже надо...

— Через месяц-другой сбежишь! — все тем же равнодушным голосом вынесла она свой приговор. — Комары заедят, потом холода пойдут. Всякие тут бывали...

— Комары? Мороз? — Микуль улыбнулся, и робость его прошла. — А домики ваши, как их называете, балки, для чего? На охоте, бывало, под кустом спишь — и то как дома...

— Охотник?

— И охотник, раз в тайге родился. А теперь вот с вами...

— Значит, первый? Настоящий ханты-охотник! — девушка внимательно взглянула на неуклюжего конопатого парня с темным обветренным лицом.

Но Микуль пошел было вниз: к чему пустые разговоры? На охоте целыми сутками не разговариваешь, привыкаешь к молчанию. Однако надо было еще познакомиться — девушку звали Надей.

Внизу слазил под мостки, осмотрел зацементированное устье скважины. Основание вышки добротное, крепкое, словно эта махина пустила корни в таежную землю на сотни лет и рычит дизелями дни и ночи, как настоящий хозяин.

Заинтересовался мутной буровой водой: откуда и куда бежит по желобкам?

Тут на помощь пришла Надя, которая как раз пробежала мимо. Она объяснила, что раствор выгаскивает из скважины измельченную долотом породу. А она, лаборантка, во время бурения следит за раствором: с помощью специальных приборов определяет удельный вес, водоотдачу, вязкость. Без раствора невозможно бурить. Все она рассказала толково и просто. Микуль уже смотрел на нее с уважением, думал: «Хоть и женщина, а понимает... Раствор, значит, — это кровь буровой, не может она жить без крови». После встречи с Надей он убедился, что буровую просто так не оставишь. Надя, сама не ведая того, своим презрительным «сбежишь» отрезала путь к отступлению. «Посмотрим, кто первый уедет!» — бормотал Микуль.

— Ты, Сигильетов, как ревизор, — добродушно ворчал мастер Кузьмич. — Сразу все хочешь узнать.

— А почему я был удачливым охотником, знаешь? — отозвался Микуль. — Потому, что тайгу хорошо знал.

— Учиться тебе надо, в нефтяной бы техникум — тайга никуда не уйдет от тебя.

Микуль решил пообедать. В столовой под брезентовым навесом, где стояли длинный стол без скатерти и плита, каморка-склад для продуктов и холодильник, хозяйничал парень лет двадцати пяти, по-южному смуглый, со смолисто-черной шевелюрой, проволочно-жесткой и неопрятной. Во всем облике его одновременно и кроткая почтительность, и надменное высокомерие, и равнодушие ко всему окружающему.

— Что будем есть? — спросил повар, едва кивнув. — Накормлю, как в лучших ресторанах. Бывал в ресторанах-то? Нет? А я когда-то работал...

Под навесом никого не было, Жора явно скучал. И теперь был рад случаю поболтать с новеньким.

— Зачем же бросил? — машинально спросил Микуль, думая о своем.

— Зачем все бросили, зачем сюда приехали, знаешь? Вот за тем и я приехал! И ты, и я. Все!

— Строить приехали все, нефть искать, — просто душно объяснил Микуль, вспомнив уроки ингу-ягунского учителя Александра Анатольевича. — Я знаю в лесу всех зверей и птиц, а вот нефти ни разу не видел! Всякому охотнику интересно узнать, какой такой зверь есть — нефть!

— «Строить», «нефть»! — презрительно протянул Жора. — Я приехал — тут совсем не выгодно, одни комары! Думаешь, я строил, нефть искал?! Я с комаром воевал прошлое лето! Вот погоди — скоро их совсем много будет, в уборную не дает сходить! Разве жизнь это, а?!

— Комары здесь недолго, самое большое, месяц, потом их мало будет, — сказал Микуль. — Тут как болота просохнут — и комару конец. Это на больших реках, где нет болот, они долго живут, рано появляются и поздно исчезают. В старину в комариное время нарочно в болота уезжали, пережидали там.

— К черту, домой поеду! Море, Одесса, женщины — эх, совсем немного осталось! А здесь работа тяжелая, помощник в отпуске. А людей сколько? Четыре вахты по шесть человек, потом три лаборантки, тракторист, сварщик, уборщица. Да еще мастер, его помощник и механик! Тридцать три человека в бригаде — и все бегут! Жора, корми! Жора, волком есть хочу! Жора раньше всех встает, позже всех ложится. Комары, скука, невыгодная жизнь! Поживешь — и сам убежишь! И женщин нет, а была у меня выгодная женщина! — Жора аж зажмурился от удовольствия.

«Вигодно» было его любимым словечком, остальные слова выговаривал чисто. Но когда очень волновался, в его говоре слышался южный акцент. Дюжего помбура Гришу Резника считал «вигодным мужиком» — давал выручку, ел за двоих. И работал соответственно. А вот помазок Верезовский «невигодный». Тощий, длинный, он не любил засиживаться у Жоры.

— А что это, помазок? — спросил Микуль.

— Помазок? Дерьмо работа — это кто дизеля подмазывает. Помогает дизелисту! — пренебрежительно фыркнул Жора. — Скоро все узнаешь!

«Ну, Микуль, если хочешь ладить с Жорой, наворачивай побольше — все будет в порядке!» — усмехнулся про себя охотник, вполуха слушая Жорину болтовню.

Но есть не хотелось: мясо было, видимо, баночное — не свежее и совсем безвкусное, мясом не пахнет. Подлива показалась горькой, с тошнотворным запахом пережаренного лука. А вермишель и вовсе напомнила траву, которую едят только гуси. И чай без аромата, железом отдает — речная вода и та вкуснее.

— Слушай, друг, а шапку ондатровую или выдру можно найти, ты охотник? — понизив голос, спросил Жора.

— Ты же домой хочешь ехать, зачем тебе зимняя шапка? Я слышал, там жаркое море, где Одесса. Не зря же туда перелетные птицы идут.

— Там тоже зима есть и холод есть.

— Какая же зима, если вода не замерзает? Птицы где плавают? Или еще дальше летят?

— Может, и летят, не знаю. Но ведь хорошая вещь везде ценится!

Уходя, Микуль решил успокоить Жору:

— Комаров в этом году немного будет — вода маленькая. Потерпи до осени, на охоту вместе сходим!..

«Солнце смотрело назад» — уже скрылось за лесом, а на верхушках сосен все еще играли оранжевые лучи.

«Завтра будет ясный день», — машинально по охотничьей привычке отметил Микуль. Хотя сегодня он ничего не делал, но грохот железной вышки вдавливал его в землю: болела голова и отчего-то ныли плечи, а в нос бил нетаежный дух буровой.

3

Мастер Кузьмич после обычного вечернего обхода буровой, убедившись, что все в порядке, вернулся в свой балок. Шло бурение. У пульта самый опытный бурильщик Алексей Иванович Шишков, за него беспокоиться нечего. В ноль часов смена вахт, заступает молодой бурильщик, вот за тем еще нужен глаз да глаз. Надо будет посмотреть, как он там. А сейчас можно и подремать до двенадцати, соображал Кузьмич, время еще есть. Только он прилег на полку, как дверь распахнулась и на пороге бесшумно вырос новый помбур Микуль Сигильетов. Увидев его взволнованное, бледное лицо, Кузьмич понял — что-то случилось. Спросить не успел.

— Зачем его убили?! Зачем?! — прошептал Микуль, опередив вопрос мастера. — Зачем убили?! Он столько лет прожил!..

— Кого убили?! — вскочил Кузьмич. — Кто убил?! Авария?!

— Старика! Он столько лет прожил...

— Какого старика? Где?

— На буровой!

— Да говори толком! Кого? — крикнул Кузьмич, увлекая Микуля к выходу.

— «Кого, кого», — сказал: Старика! Унцых-ики!

— Унцых?! — поперхнулся Кузьмич. — У нас нет таких! Ты что чепуху несешь?!

— Старика... Дерево... — пытался растолковать Микуль. — Унцых — сосна, дерево! Старик, ики, двести лет прожил!..

— Вон что! — облегченно вздохнул Кузьмич. — Ну, с тобой, Сигильетов, не соскучишься! Нет, не соскучишься! А до кондрашки запросто доведешь! Кондрашка запросто хватит!..

Кузьмич достал «беломорину», чиркнул спичкой и так затянулся, что сразу полпапиросы превратилось в пепел. Потом он бросил окурок, кивнул Микулью на открытую дверь балка — мол, заходи. Закрыв дверь, чтобы комары не летели на свет, опустил на скамью и устало попросил:

— Расскажи все по порядку про старика, который двести лет прожил...

Микуль сел на жесткую деревянную табуретку, помолчал, к чему-то прислушиваясь, потом потрянул головой и начал свой рассказ.

...Вечером Микуля, одуревшего от грохота и крепкого духа буровой, потянуло в тихий сосновый бор — отдышаться и прийти в себя. Но его остановил завал, да еще какой! В жизни таких завалов в тайге не видывал! Озадаченно топтался возле огромного, в два обхвата, пня унцых-ики. Большой и тяжелый пень бульдозер вырвал с корнями из земли и приволок к высокому завалу из покореженных и расщепленных сосен. Приволок, да, видно, не сумел закинуть наверх, сил не хватило. Вот и оставил тут, чуть вдавив в завал. Тело Старика, разрезанное на куски, белыми ссадинами выглядывало из нагромождения сучьев, стволов и оранжево-темных корневищ. Сосны, что помоложе, вырваны с корнями, и машина вместе с ягелем сгребла их и присыпала песком. Потом бульдозер еще не раз

прошел по площадке, собирая обломки сучьев, сосновую хвою, кору.

Микуль смахнул песок и куски ягеля с неровного спила на пне, видно, пилили бензопилой с четырех сторон. Напомнил он стол, за которым свободно уместилась бы семья из четырех-пяти человек. Микуль наклонился и начал считать годовые кольца на пне. Досчитал до ста и остановился — прикинул, сосна прожила более двухсот лет. Два века! А гляди-ка — даже сердцевина еще живая, ни дупла, ни трухи. Вот так унцых-ики! Железо столько не выдержит. А тело у Старика белое, словно впитал весь солнечный свет за два столетия. Ячея³ крупная, с золотисто-смоляными ободками. Всем соснам сосна! Хороший бы обласок-долбленка получился, если кедра или осины под рукой нет.

И кора у Старика светлая, почти белая, как берега, — не под одним дождем и снегом выстоял. А сколько белок лакомилось семенами его шишек! Сколько нужно сил, жизнелюбия и доброты, чтобы прожить столько лет и остаться таким чистым и светлым! Два столетия стоял, а не взял даже червь древесный.

Микуль на борах не раз встречал таких долгожителей и всегда останавливался, с удивлением рассматривал могучий ствол и крепкие ветви с золотисто-желтой чешуей. На макушке обычно гнездилился орел или другая крупная птица. Земля под кроной усеяна старыми шишками. Микуль остановится, послушает его тихий голос, который не спутаешь ни с какими другими звуками тайги. И по той давней привычке Микуль выпрямился и прислушался. Сначала он слышал только сердитый рокот буровой, затем в рокот влился едва различимый стон убитой сосны. Чем больше Микуль

³ Ячеей на дереве ханты называют расстояние между годовыми кольцами, которые смотрят при выборе лесины на обласок.

напрягал слух, тем явственнее становился стон. Теперь сюда влился глухой многоголосый плач всех убитых и покалеченных деревьев, старых и молодых.

Тут Микуль почувствовал, как сосновые иглы калеными стрелами впились в сердце... Он медленно попятился, затем повернулся и помчался в домик мастера Кузьмича.

...Замолчал Микуль, опустил голову, подумал: если Кузьмич не слышит этот стон, то не поймет его и чего доброго на смех поднимет. И он угрюмо, исподлобья глянул на мастера, но лицо Кузьмича было серьезным.

— Да, с тобой не соскучишься, — повторил Кузьмич. — Задал задачку!

— Что задача? — откликнулся Микуль. — Лучше скажи — зачем Старика напрасно убили?

— Да не убили, а спилили, срубили — точнее будет.

— Нет, убили! — упрямо повторил Микуль. — Рубят, когда человеку надо дом строить или слопцы-ловушку на бору насторожить. Тогда рубят. А тут убили и выбросили. Разве в тайге можно так делать?!

— А буровую куда поставишь без площадки? Вышке требуется чистое место.

— Зачем такая большая площадка? Тут еще таких четыре великана можно поставить! Смотри — какой бор! — воскликнул Микуль. — Золотой бор! Тут сколько сосен с шишками, ягеля, сколько грибов и брусники будет! Тут в хороший год за день тридцать — сорок белок возьмешь! Сосну убиваешь — где белка будет шишковать?! Сейчас Старик стонет, зимой белка будет стонать, а потом охотник!..

— Тут инструкция, все предусмотрено. Например, вдруг случится пожар на буровой, близко лес — загорится. Поэтому лучше лишний десяток сосен сгубить, но зато бор будет в безопасности, понимаешь?! — Кузьмич пристально посмотрел на Микуля, словно

хотел убедиться, понял ли новый помбур. Но, уловив в глазах собеседника неподдельное огорчение, убедившись, что тот и вправду слышит стон убитой сосны, тихо спросил:

— Очень жаль... сосну-то?

— Жалко все-таки, — в тон ему ответил Микуль и, увидев озабоченное лицо мастера, вдруг понял: тот убитую сосну тоже жалеет. И он почувствовал в мастере почти единомышленника, во всяком случае человека, который понимает или пытается понять его, Микуля, только что пришедшего с таежной охотничьей тропы, живущего еще думами и заботами о тайге.

И, словно угадав его мысли, Кузьмич стал припоминать свое детство, послевоенные годы, когда многое держалось исключительно на дровах, на тайге: и отопление городов и сел, и пароходы по Иртышу и Оби...

Микуль сразу понял, к чему клонит мастер, сегодня буровая одну сосну убьет, завтра — тысячу спасет, она пришла на помощь тайге. Все это Микуль знал и принимал разумом. Но сердцу все равно было больно.

— На буровую ты не имеешь зла, — закончил Кузьмич. — Это хорошо.

— Если бы держал зло, не пришел бы сюда, — откликнулся Микуль. — А сосну...

— Хорошее дерево — сосна! — перебил Кузьмич. — Я тоже люблю сосновые леса. Может быть, еще и оттого, что фамилия моя от сосны идет — Соснинский. Не будешь ведь плохо относиться к дереву, которое дало тебе фамилию.

— Значит, ты из рода сосны! — обрадовался Микуль, словно встретил старого друга, пояснил: — Значит, твоим предкам когда-то в старину очень помогла сосна. Может, беду отвела, может, в неурожайный год от голодной смерти спасла. Легенду не помнишь, почему род от сосны пошел?

— Нет, не помню. Давно когда-то прапрадед мой из Вологодчины сюда попал, таежником стал.

— Из одной земли мы, — проговорил Микуль.

— Да, выходит, земляки, — уточнил Кузьмич, взглянул на часы и закурил.

Микуль подумал, что, наверное, уже поздно и мастер хочет спать. Он быстро поднялся и шагнул к двери.

Вышел из балка с легким сердцем, будто поговорил с давнишним знакомым, с которым жил душа в душу. Хотел поругаться за погибшего Старика, а получилось совсем наоборот. Видимо, чует Кузьмич, что у другого на уме, соображал Микуль, иначе не затеял бы такой разговор. Чудной мастер — ведь мог бы сказать: не мешай, приходи в другой раз. Ан нет, не сказал. Хорошо, если он дела свои на завтра не откладывает, хорошо!

Микуль никогда не делал поспешных выводов, этому учили и дед, и отец. Это одна из главных заповедей настоящего охотника. Но сейчас подумалось, что мастер похож на редкого оленя-вожака, который в любую непогоду отыщет дорогу и приведет к жилью, не свернет в сторону и не будет петлять. Он тянет нарту с человеком, тянет упряжку усталых оленей и бежит до последнего вздоха, пока не свалится замертво. Другим оленям ходить с ним в одной упряжке трудно... Может быть, мастер из таких вожаков?

Остановился Микуль в задумчивости: сквозь глухой рокот буровой он все еще слышал стон погибшей сосны. Постоял и решил успокоить Старика, поговорить с ним: «Унцых-ики, нунг мары лилынгки вулын. Ар хатл кот пумыны нокнам анымто, ар пумынг юм самны ингкат еньло, арпыкт юхит-помытны лилат мые. Нок анымто муцы, ар ехлины потылто — энты паво, ар лоньсь-явнгк вуин — ылы энты путо, тарьм вотны паны наинг пайны ири мыно.

Нунг мары яха мосмин вулын. Нухланны лукт тух-рексът, нунг певла лангкит анмыслът. Нунг охпытахе тыхилны энты ий-кат курык мок нок анымтын, энты ий-кат поры морты воих, нунг нухланны ниньчит. Нунг пырена кичлыт нявремла паны мокмокла. Лых ий мыта коны кер ная энты понлат, чу мавылат буровой ях кинцы газ кернам мынл. Нефть паны газ тэм юхит-помыт лахтилта рангиплыхн. Яхим волт, яхим ит кулха лилынг. Нунг, Унцых-ики, атым номыс ал тоя. Нунг мары тэм яхимны лолинг пырс вусын, пырена ар им вер кийн. Нунг энты имнам лилынгки вулын, энты имнам...»⁴

Микуль был уверен, Старик поймет его, а раз поймет, то беспокоить напрасно не станет. Он еще постоял немного и пошел в свой домик, похожий на парт авыл, — хотелось спать.

Ночью Микуль долго ворочался на жестком матрасе — сон, словно пугливый вэрты сос⁵, не шел к нему. Да, мало кто в тайге, где жила обросшая лишайником и мхом многовековая тишина, осмелится подойти к буровой, которая стонет разъяренно при солнце и при

⁴ Старик, ты долго жил на этом свете. Немало солнц тебе дали свое тепло и тянули ввысь, немало дождей тебя своей теплой водой поили и умывали, немало деревьев и трав тебя своими соками вскормили. Пока ты рос, много морозов тебя морозили — не заморозился, много снегов на тебя падало — ты не стал сосулькой ледяной, много громов и ветров ты видел — не тронули тебя. Ты был нужен жизни. Ты хвоей своей глухарей угощал, твои шишки белок растили. Гнездо на твоей вершине не один выводок орлов грело, на ветвях твоих не одна стая перелетных птиц отдыхала. После тебя твои дети и внуки остались, но они в печке уже не умрут, вместо них газ будет гореть, что ищут люди буровой. Нефть и газ пришли на помощь деревьям и травам. Ты, Старик, в уме плохое не держи на нас. Ты оставил на земле много добра, ты не напрасно жил, не напрасно.

⁵ Вэрты сос — колонок.

луне, ноздри разрываются от тяжелого запаха солярки и резины, ресницы слипаются от пыли и смрадного дыхания машин. Отяжелела голова, будто ее залили свинцом. Все тело стало словно чужим — не подчинялись человеку собственные нос, глаза и уши. Они просились в тайгу, в тишину, где нет этого монотонного шума. Немой шум, ничего не говорит, — значит, у вышки нет языка?! Ветер разговаривает, дождь поет, тайга плачет или смеется. Их говор доступен человеку, они всегда предупреждают об опасности. А здесь машина не дает даже вздремнуть: Микуль перевернулся на другой бок, но сон оранжевым колонком убежал в сторону родного Ингу-Ягуна и звал, манил туда.

Да, в роду Сигильетовых не знали буровых, но хорошо понимали язык тайги. Так стоило ли охотнику бросать дедовский промысел?! Стоило ли сходить с проторенной охотничьей тропы?! Почему до него, Микуля, ни один ханты не уходил на буровую?!

Микуль вздрогнул: так заскрежетало на вышке, что задребезжали стекла на оконцах. Но соседи в домике даже не проснулись, и охотник успокоился: наверное, так и должно быть...

Но мысль убежала, испугалась тоже: о чем, о чем... А может быть, виноват школьный учитель Александр Анатольевич? Вот он... Неторопливо входит в класс и, вышагивая на длинных журавлиных ногах, медленно протирает очки, надевает их. И когда он на мгновение замирает перед классом, его старческое морщинистое лицо становится добрым и привлекательным. Вот он подходит к стене и начинает перекраивать небольшую физическую карту области: таежные урманы разрежет трасса железной дороги, стрелами вклиниваются в болото нефтепроводы, через реки перешагивают мосты, в непроходимых дебрях рождаются новые города. Послушаешь — сказка, да и только!..

Внизу на каком-то непонятном наречии забормотал Жора. Поворочался и так захрапел, что заглушил стон погибшей сосны.

...Говорил учитель, словно горел неожиданно вспыхнувшим костром, после которого не остается головешек — одни угли, малиново-жаркие и длинные. Лицо учителя — помолодевшее, взгляд устремлен куда-то далеко-далеко. В эту минуту он необыкновенно красив: красота его скрывалась в глазах и теперь хлынула оттуда родником... Хорошо говорил учитель, ничего не скажешь! Только рассказы его оставляли в душе какую-то смутную тревогу. Вроде бы радость должна рождаться, а тут беспокойство одно. Отчего бы это, а?!

А время все бежало, бежало, не зная остановок. И до тихого Ингу-Ягуна дошли отзвуки большой стройки, а затем появились и геологи. Исполдволь, незаметно подкралась мысль: отчего коренные ханты, как и встарь, продолжают жить только охотой и рыбалкой? Отчего они остались в стороне от больших дел?! Ведь главное — то будущее, которое строят геологи! И взяла обида, что ханты, хозяин этой земли, оторван от главного! Где же руки охотника, привычные ко всякому труду?..

В затынутое марлей окошечко стал вползать смрадной резины и перекаленного железа — на вышке что-то жгли. Микуль закашлялся. А соседи, на зависть ему, сладко посапывали.

Да, нелегко оторваться от проторенных предками охотничьих троп. Нелегко, если ты всю свою жизнь дышал лучшим на земле воздухом, настоящим на тонком аромате травы,пил чистейшую прозрачную воду таежных родников, по утрам ловил самые щедрые и теплые лучи восходящего солнца, плавал по лесному озеру, куда упало голубейшее в мире небо — нет голубее того неба!.. И все это надо променять на буровую,

которая напоминает Манкв-ики из сказки — страшно-го богатыря-людоеда, друга русской Бабы-Яги: и глаза есть — моргают в светлом сумраке Белой Ночи равнодушными фонарями, из закопченных труб-ноздрей вырывается крепчайший смрад, грязными лохмотьями черной бумаги сползает на песок борода-навес, а ненасытная пасть, оскалив ротором губы, глотает бесконечную кишку труб, и сотни ведер глинистой воды спаивает ему лаборантка Надя. От его вздохов дрожит земля. И железные арканы вздрагивают от напряжения — ими Манкв-ики притянут к поляне; медведем-шатуном рычит, на свободу рвется.

В соседнем домике хлопнула дверь — кто-то вышел до ветру.

А если вырвется и люди не смогут с ним совладать, что тогда будет?! Железо не дерево, не знаешь, с какого бока подойти — то греет, то холодит, то «кусает». Помнится, в детстве увидел на отцовской упряжке круглую блестящую бляху, такую красивую, что захотелось попробовать на вкус: лизнул — и на холодном металле осталась кожица языка. Это надолго отбило интерес к железу. Теперь вот надо привыкать к «железной работе». А хватит ли терпения? Не «укусит» ли железо, как в детстве «укусило за язык»? Не рано ли подался из родного селения?

Может быть, слишком понадеялся на то, что здесь пройдет то «нефтяное» беспокойство, которое не давало покоя на охоте. А тут невозможно ужиться рядом охотнику и буровику: одному нужна первозданная свежесть и тишина таежного бора, а другому — «черная вода» земли, которую зовут нефть. А на что она охотнику, эта нефть?!

Возможно, жил бы сейчас Микуль в своем Ингу-Ягуне, не случись беды со старым учителем Александром Анатольевичем.

В тот день, в начале Ворнги-тыльсы⁶, вернувшись с промысла, Микуль узнал, что тяжело заболел учитель: все повторяли малопонятное слово «прободение». Микуль не поверил: в его понятии вечными и неизменными были тайга, Ингу-Ягун, старенькая школа и седой учитель с посошком, потому что он за всю свою жизнь, не считая родных, не видел ничего дороже и милее сердцу. И вдруг!.. Но учитель лежал на постели голубоватым, умирающим апрельским снегом. Вошел сельский фельдшер, бывший его ученик, и тихим голосом сообщил, что геологи дают вертолет и его, учителя, отправляют в больницу — время еще есть. Старик пошевелил пересохшими губами, потом внятно, как на уроке, повторил: «Геологи... не дождался... геологов...» Лицо его покрылось испариной и глаза выплеснули мучительную, тоскливую боль, которая стала вливаться в Микуля: ему показалось, что учителю больно не от «прободения», а оттого что вот «учил-учил нефти» и никого не выучил, не задел за живое. Ученики его становились хорошими охотниками, есть врачи и учителя, один стал даже журналистом, а вот никто не хочет стать нефтяным человеком. А они так нужны сегодня этой земле! Тогда Микуль и решил для себя — посмотреть, кто они, буровики и геологи?

В начале Луны нереста ночи светлы и коротки. Микуль почувствовал, как луч солнца ударил в стену тесного дощатого домика, балка. Солнце уже проснулось, выпорхнули, наверное, и птицы — не слышно их, шум машин «съедает» их песню. Как хорошо просыпаться по утрам от птичьих голосов! Проснешься и лежишь с закрытыми глазами, слушаешь, узнаешь, какая птица поет. Если ты родился в лесу и у тебя хороший слух, ты всегда поймешь птиц и определишь, какая сегодня будет погода: дождь ли ожидается, снегопад ли, ветер

⁶ Ворнги-тыльсы — месяц Вороны, соответствует апрелю.

ли будет или тишь, ясно или пасмурно. Настоящему охотнику птицы подскажут, чем ему заняться, по следу какого зверя пойти, где ждет его удача. Только надо почувствовать тайгу так, как чувствуешь свое тело.

На вышке глухо застонала труба — кто-то бухал по ней тяжелым молотом, который зовется здесь кувалдой. Эхо отзывалось на живых боровых соснах, налитых тугой пахучей смолой. Стон убитых деревьев растворился в этом грохоте.

А если немой рокот буровой отнимет главное богатство охотника — острый слух, машинный чад — обоняние, пыль — зоркость глаз?! Как быть тогда?! Охотник без ушей и глаз — не охотник. Плохо, однако, дело: кто знает, станешь ли настоящим буровиком? И каким чутьем они, разведчики, ищут нефть? Неужели только с помощью машин? Может, как у охотника, у них тоже есть особый нюх? Как постичь тайну их железной работы? И по плечу ли это ему, Микулю?

Над крышей домика, по черному проводу бежал огонь буровой — электричество. Микулю показалось, что он бежит по его телу — с тихим нудным жужжанием щекочет кожу на спине. В Ингу-Ягуне движок работал только зимой до десяти часов вечера. А здесь...

Вдруг все-таки буровая убьет в тебе охотника?! Но почему же должна взять верх буровая: может быть, охотник победит ее? Ведь она живет на таежной земле, значит, является частью тайги. А тайга всегда подчинялась охотнику, когда он становился на выдровые подволоки⁷. Она, вышка, крепко связана железными арканами и слушается буровиков. Нет, нет, надо научиться «железному делу», чтобы управлять вышкой и остаться хозяином этой земли. Чем ты хуже других?!

⁷ Подволоки — широкие охотничьи лыжи, которые снизу для ходкости «подволакиваются» лосиным камусом, лошадиной или выдровой шкурой.

В домике стало светло как днем — солнце залезло в полог Микуля. Не помнит он бессонных ночей: в лесу, бывало, голова до подушки не доходила, как засыпал. А тут мычат, пыхтят машины, отгоняют пушистого теплого колонка, носителя сна. Когда же пугливый зверек привыкнет к шуму и подружится с гигантом-вышкой?!

Надя Васильева любила буровую во все времена года: и в игривом буйстве весны, когда вместе с первой зеленью, подласковыми лучами солнца, оттаивала и расцветала она во всей своей красе — дизели ворчали добродушно и мягко, как сами буровики, опьяненные теплом и пронзительной весенней свежестью; и в божественные белые ночи, когда комариная армия перекрывала шум машин и бесшабашные помбуры пускали соленые шуточки в адрес дьявола и самого бога; и в хмурые осенние рассветы, когда березы и осины осторожно обклеивали кусочки железа золотистым листком-конвертом с рифлеными краями. Но особенно любила буровую зимой, когда вышка замирает в снегах словно сказочный богатырь — в сосульках, в куржаке, в необыкновенно тонких узорах, в облаках белого пара — будто хочет согреть промерзшую тайгу своим дыханием.

Она часто спрашивала себя, отчего ей пришлось по душе зимняя буровая? Ведь самое тяжелое время для нефтеразведчиков — это крещенские морозы, когда густеет глинистый раствор, промерзают насквозь все механизмы и буровики начинают говорить низкими сиплыми голосами. Отчего эта трудная пора приносит какое-то необъяснимое удовлетворение, чувство полноты жизни?! Может быть, оттого, что зимой здесь

остаются самые яростные и преданные разведке люди, что трудности отвергают всех временных, случайных. Потом, когда проработала на буровой год и поступила на заочный факультет индустриального института, вдруг почувствовала, что увлекла ее не только красота Севера с его седыми зимами, сумасшедшими белыми ночами и осенними кроваво-красными сполохами в полнеба, поразил ритм жизни этого таежного края.

Все здесь менялось на глазах. Где еще увидишь такое?! И люди здесь все на глазах: сразу видно, чем дышит человек, потому что в этом суровом крае слово не расходится с делом. За год в бригаде побывало немало людей: одни долго не задерживались, другие оставались насовсем. Надя считала, что насквозь видит всех, кто приезжал на буровую. И нового помбура Микуля, скуластого невысокого крепыша с лихорадочным блеском глаз, она приняла было за обыкновенного «летуна», которого интересуют только рубли. Но, присмотревшись, поняла, что глаза его горят от жадности к жизни, ко всему новому...

Вспомнилось, как сама первый раз увидела буровую. Это было три года назад: приехала на зимние каникулы из города в отдаленную нефтеразведочную экспедицию, где начальником геологического отдела работала тетя. По вечерам приходили молодые геологи, и почти всегда разгорались споры о перспективах края, о новых месторождениях и о многом другом. Надя с интересом всматривалась в возбужденные задорные лица, старалась по интонации голоса постигнуть суть вопроса и узнать, кто прав, кто не прав. Но все-таки многое не понимала — нужны были знания. Именно тогда она с удивлением обнаружила, что у всех геологов одна причуда — одержимость, какая-то необъяснимая приверженность к своему делу. И когда тетя собра-

лась в командировку, напросилась и она посмотреть буровую. В иллюминаторе — снега и леса, снега и озера, снега и болота, снега и реки, снега и снега. И ни единой души — глушь и дичь! И вдруг — струей белого дыма рванулась навстречу вертолету вышка, легкая, невесомая в морозном воздухе.

Время на буровой мерили четкими рабочими сменами. Буровая не останавливалась ни на мгновение — вахта сменяла вахту в любой буран и холод. Ей все было нипочем.

Вдаль, на Север, до самого Ледовитого океана нетронутые безмолвные снега, а здесь передний край, разведчики идут вперед и вглубь, туда, где еще никто не бывал...

В городе, который теперь показался суматошным и взбалмошным, приснились снега дикие, девственные. Потом, после выпускных экзаменов, курсы лаборанток, снова тетя, буровая, вступительные экзамены и торопливая рука институтской секретарши на зачетной книжке в графе специальность: «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». Да, геология, разведка! Есть ли звучнее и краше этих слов, если ты только вступаешь в жизнь и у тебя все в будущем? Если ты знаешь, что геолог — это не только первооткрыватель, это посредник между природой и обществом, служит и тому, и другому. И от того, насколько он хорошо знает свое дело, зависит в наш век жизнь и природы, и общества. Это самые чистые и правильные люди — иначе, если ты не таков, ты не почувствуешь дыхания земли, не уловишь ее пульс. Тогда ты не сможешь стать настоящим геологом, потому что никогда не сделаешь ни большое, ни маленькое открытие — земля не доверит тебе свои тайны.

Таким геолог представлялся Наде в тот год, когда она поступила в институт и мать четким учительским

почерком писала длинные тревожные письма, где порочила дочке блестящее будущее педагога и просила одуматься: городской ли девчонке быть геологом? Но девушка настояла на своем, и со временем образ геолога не померк, а становился более конкретным, живым: каждый человек, появившийся на буровой, вносил новое, все лучшее, что в нем было. И вот первый раз пришел человек, далекий вроде бы от «геологии» и «разведки». Что он может дать геологу?!

Сегодня она сама подошла к нему, недоступная и холодная, как январское солнце, строго осведомилась:

— Сигильетов, вы встали на комсомольский учет? Покажите билет! — и помягче добавила: — Я комсорг.

— В порядке все, — пробормотал Микуль, удивленный столь требовательным тоном комсорга. — Билет в домике... В балке.

— Покажете. И чтобы взносы вовремя! — и пошла своей легкой, независимой походкой.

Микуль подумал, что и фигура у нее под стать характеру: хорошо подогнанная спецовка болотного цвета делает ее еще более строгой и... красивой.

Отряхнув глиняную пыль, он поспешил на вертолетную площадку, где его ждал тракторист.

С детства его научили любить всякий труд. В тайге люди надеются только на свои руки-ноги. Вчера обшил тесом столовую. Топором и ножовкой владел сизмальства — навесил двери, прорубил три окна. Внутри с электриком поставили вентилятор от «Кировца», включишь — ни комарика, все сдувает. Жора долго прищелкивал языком, обнимал Микуля, потом огрызком мелка на дверях вывел корявыми буквами:

Ресторан «Шарошка».

Шашлык. Харчо. Люля.

Все есть, что душа хочет!

Всех ждет директор Жора!

Рабочие весело хлопали новичка по плечу:

— Ай да плотник, ты нас от комаров избавил, молодчина!

— Жора, корми его первым! Если бы не Микуль, загрызли б тебя комары!

— Когда Жора в долгу оставался? — ворчал повар. — Жора ничего не забывает!

— Да, по дереву ты мастак, — сдержанно похвалил за ужином Кузьмич. — А вот как с железом?..

— Ты, кажется, и не собираешься приобщить его к железу, — насмешливо сказала Надя. — А по дереву, видно, тебе надо поучиться... у него!

— «Приобщить, приобщить»! — передразнил ее Кузьмич. — Всему свое время, доберемся и до главного!

— Сладит и с железом, — неожиданно сказала тетя Вера. — В его годы человек всюду к месту, не то что мы, старики...

От такой работы осталось радостное ощущение. Надо бы матери написать, как устроился, чтобы не переживала за него. Но не любил писать письма, поэтому отложил до первой вахты.

Кузьмич сдержал свое слово: на другой день он отправил Микуля седьмым членом вахты на смену. Седьмой — лишний, в вахте всего шесть человек. Микуль сначала помогал помазку, заправляли отдохнувшие дизели — их под навесом много, одни работают, другие отдыхают. Потом помогал буровому рабочему, «подсвечнику» — крючками подтягивали висевшую трубу в угол, бурильщик на что-то нажимал — и труба опускалась и становилась на попа. Работа вроде бы простая — успевай только поворачиваться. Но грохот «забивал» уши, машинный дух перехватывал дыхание. Когда становилось совсем невмоготу, Микуль бросал грубые брезентовые рукавицы и бежал

в светлый сосновый бор. «Это тебе не белку стрелять, не соболя выслеживать! — беззлобно посмеивались помбуры. — Железо-то кусучее, злое, пуля охотничья его не берет!»

Микуль лежал неподвижно на влажном белом ягле, оглушенный и ослепленный, и ждал, когда свежесть и покой мудрого бора вернут ему силу, способность дышать, слышать, видеть, наконец, способность жить. Ведь бор не оставит его в беде?! Кто поможет, если не бор?! Потом, придя в себя, возвращался на буровую. Понял, что хорошо придумал Кузьмич, поставив его, пусть даже седьмым человеком, в вахту — одно дело зверя промышлять, совсем другое — нефть.

Вечера, по-таежному тихие и грустные, нагоняли печаль. Если не собирались на чаепитие у Кузьмича, Микуль от непонятной тоски поднимался на вышку. Сегодня встретил здесь Надю. Что тянет ее сюда, воображал Микуль, может быть, она тоже мечтала стать пилотом и любит смотреть на тайгу.

Солнце опустилось уже наполовину... На округу набежала тень — тайга, потемневшая и посуровевшая, притихла. Лишь на вершинах дальних сопок да еще тут, наверху, играло солнце. Но через минуту и оно провалилось за горизонт. В прощальном солнечном сиянии плавали лишь редкие высокие облака. Наконец погасли и они.

Надя украдкой покосилась на Микуля. Этот молчаливый парень вызывал интерес. На буровой таких еще не бывало. Он не прикидывался бесшабашно-веселым остряком, не играл влюбленного по уши красного молдца, не сыпал комплиментами. И в то же время с ним не чувствуешь того напряжения, которое возникает в разговоре с малознакомыми мужчинами. Можно просто стоять и молчать — и все равно с ним хорошо. И ей вдруг стало тревожно, стало совсем не все равно,

что он, привыкнув к буровой, может утратить ту почти детскую свою искренность и чистоту души, которые так удивили ее.

Микуль покосился в сторону соснового бора, нерешительно взглянул на девушку и наконец тихо спросил:

— Надя, ты слышишь, как стонут сосны в бору?

— Стонут? — переспросила девушка, вскинув брови. Но, помолчав, ответила серьезно: — Нет, я слышу только песню старого бора.

— Тебе хорошо...

— Они жалуются только сильным, кто им может помочь, — прервала Надя. — А меня не хотят тревожить, наверно, деликатные, они!

— Да, они тихие, — подтвердил Микуль и высказал свое опасение: — Мне кажется, я все думаю, они быстрее меня отсюда выживут, чем буровая, чем ее машины! Раз такое случилось, по таежным обычаям кто-то ответ должен держать. Без этого нельзя.

Тут он вспомнил и рассказал случай в подтверждение своим словам. Лет шесть назад в низовье реки Ингу-Ягун появился лесоучасток, его люди рубили и сплавливали лес. Все шло так, как намечали, только на начальников им не везло. Первый и года не проработал — умер от какой-то непонятной болезни, второго взяла река в половодье, третий погиб на охоте. Словом, что ни год — новый начальник. И старики решили: причина гибели в том, что лесоучасток вырубил много деревьев и еще больше сгубил напрасно молодого подрастающего леса. Будущий лес напрасно сгубил. По древним преданиям, чем больше человек уничтожает живых юх-пом⁸, тем короче становится его жизнь. Поэтому ханты еще с малолетства внушают детям, что надо беречь деревья и травы, нельзя их на-

⁸ Юх-пом — устойчивое словосочетание «деревья-травы». Живые — значит, сырые, не засохшие.

прасно убивать. Оттого-то в прежние времена охотники на дрова рубили только сушняк, а жерди для чума, если путь предстоял дальний, разбирали и ставили под кроной разлапистого дерева — они пригодятся тому, кто здесь потом остановится. Оленеводы же такие жерди всегда возили с собой, потому что часто кочевали. Если они хорошо оструганы и легки, то переходили от поколения к поколению и служили человеку немало лет. Да что жерди, даже рогульки для чайника и заостренные палочки для подовушки⁹ охотник приберет на кострище, а если когда поедет еще этой дорогой, то обязательно остановится здесь покормить оленей, переночевать. Значит, не будет лишним раз рубить молодые деревья!..

— Вот не думала, что твой народ так почитает дерево! — удивилась Надя. — Обычно чего у человека много — то он мало ценит!

— Здесь ведь все от дерева идет, — сказал Микуль. — Поэтому, видно, и дерево уважают! Не будь леса, что бы охотник делал?!

— Да, — задумчиво протянула Надя, помолчав. — Но, думаю, сосны твои умные и должны понять, что ты пришел на буровую, чтоб найти нефть, чтоб облегчить жизнь тайги: и людей, и деревьев...

— Наверное, поймут...

— Значит, ты еще услышишь их песню.

Но песнь таежного бора еще не скоро пришла к Микулью и не скоро оттеснила стон убитой сосны. Но все же он был благодарен Наде, которая будто бы подарила ему эту песнь. Потом, когда бы он ни вслушивался в шум сосен, всегда вспоминался ему Надин голос. Ему уже казалось, что это поют не сосны, а Надя. Голос ее успокаивал и вселял надежду на что-то большое и светлое.

⁹ Подовушка — распластанная и поджаренная на костре шука.

— Пора на грешную землю, Мик, — предложила Надя и стала медленно спускаться по крутой деревянной лестнице.

Небо будто залило расплавленной медью: оно то светлело, то, сгущаясь, темнело снова. И тайга, и озера, и болота, и буровая — все вокруг стало медно-розовым.

Неделю спустя, утром, Микуль в новой чистенькой спецовке ждал завтрак за дощатым столом. У плиты гремел кастрюлями Жора. Тут же вертелась Света, его помощница — смуглая хрупкая девушка. Она только вчера вернулась из отпуска и не узнала столовую. Густо пахло свежей древесиной, проемы окон затянуты марлей. Комарье тщетно штурмовало эти белые пятячки.

— Как хорошо-то стало, Жорик! — восхищалась Света, искоса глянув на Микуля.

— Ты что так рано, Мико? — пробурчал Жора. — На вахту, что ли?

— Не видишь, — Микуль показал взглядом на оранжевую железную шапку, она лежала на скамье рядом с кепкой. — Только что каску не надел!

— Э, брат, работать не спеши, быстро устанешь. Уж я-то знаю. Ты за меня держись, я тут главный. На пустой желудок — какая работа! Вот останетесь без обеда...

— Слов нет — ты у нас, Жора, всему голова, — подхватил с порога Алексей Иванович, человек лет сорока, худощавый, с пышными пшеничными усами. Микуль видел его у пульта. — Здорово были! Ну как, Жора, комаров-то не стало тут?

Алексей Иванович сел напротив Микуля, снял пятнистую от раствора кепку.

— К нам записали? Верховым? — спросил Микуля.

— Да. Попробую...

— Ну, добре! Посмотрел тут, что к чему? — он окинул охотника оценивающим взглядом. — Значит, высоту любишь?! Это неплохо, неплохо... Но лучше, если она тебя полюбит.

В светло-серых глазах Алексея Ивановича вспыхнули лукавые огоньки. Резче обозначились лучики морщин. «Наверное, любит посмеяться», — решил Микуль.

Пришли дизелисты Ракович и его помощник Вerezовский. Оба в замасленных куртках. Ракович — крупный статный парень, но медлительный и молчаливый. Кепка сдвинута на самые брови. Взгляд из-под козырька тяжелый, настороженный.

Вerezовский же — малый длинный и вертлявый. Говорит он быстро и отрывисто, с неизменными нотками ехидства в голосе. Но все, видимо, привыкли к этому и не обращали на него особого внимания.

После них появился первый помбур Гриша Резник, плотный, кряжистый, словно молодой, набравший силу кедр, который возвышается среди берез. Поздоровался он глухим, но приятным и мягким голосом:

— Здорово! А Костик где? Я ж поднял его, опять, наверное, завалился!

— Это на него похоже, — заметил Вerezовский. — Надо бы водицей...

Тут в столовую вихрем влетел Костик, буровой рабочий. Лицо у него круглое, розоватое, с нежной, как у девушки, кожей. Глаза большие и по-детски чистые, с длинными густыми ресницами. Во всем его облике что-то свежее, не тронутое еще жизнью. Говорил он, казалось, за всех сразу, без умолку.

Костик первым расправился с завтраком, отодвинул от себя пустую тарелку. Подсел к Микулю.

— Ты, Микуль, плохо знаешь наших людей, вот слушай. Это Ракович — конкурент Жоры. У него где-то ведерный чугунок с деньгами припрятан. Зачем? Никто не знает. Кепку его не трогай. Медведь, видать, скальп содрал, хотя на охоте он отродясь не бывал. Молчит как ротор, разговаривает только со своими дизелями...

Микуль вспомнил железное возвышение с зубастым отверстием — ртом, куда опускают трубы. По рассказам он уже знал, что раньше бурили ротором, — он вращался, гудел, а теперь — турбобуром, ротор неподвижный, молчаливый.

Ракович никак не отреагировал на болтовню Костика.

— Рядом с ним Вerezовский, — продолжал Костик. — Помазок, дизеля подмазывает. В дизелях он, как и я, ни бум-бум, а сидит в тепленьком местечке под навесом — ни раствора, ни ветра. Хорошо устроился. Но я еще выведу его на чистую воду.

Вerezовский, который обычно, как и Костик, за словом в карман не лез, сейчас спокойно работал ложкой, словно о нем и речи не было.

— А Гриша... — Костя помолчал. — Это наш силач и ангел. На нас ему наплевать, у него собаки в друзьях ходят. Не ест, не пьет, все жучкам скармливает. Скоро, пожалуй, тощать начнет. Если бы не собаки, был бы, наверно, сильнее всех дизелей Раковича. Увидишь, когда насос поломается.

Костик выбрался из-за стола, подошел к прикуривавшему Алексею Ивановичу и, полуобняв его за плечи, сказал:

— А это наш бурила! Папаша наш... Да, чуть не забыл — и мой лучший друг! Правда, Алексей Иванович, я твой лучший друг? — Костик с напускной краткостью взглянул бурильщику в лицо.

— Только вчера ты клялся в любви Светочке, — ехидно напомнил Вerezовский. — А сегодня вот Алексею Ивановичу...

— А разве нельзя любить всех людей сразу?! — встрепенулся Костик. — Я, может, и Гришу люблю, и тебя, Везеза... Хотя стой! Я свои рукавицы в твоём инструментальном ящике нашёл — как они туда попали?

— Сам же и сунул туда, го-ло-ва! — парировал Вerezовский. — Теперь виновных ищет! Загляни ещё в ёмкость с соляжкой!

— Что я там забыл?

— Может, там свою каску найдёшь, которую на прошлой неделе посеял!

Но тут Алексей Иванович поднялся, направился к двери, — все, пора на вахту.

Вышка была в двухстах метрах от кухни. Шли гуськом за Алексеем Ивановичем по узенькой тропке. Шли степенно, неторопливо. словно за бурильщиком тянулась верёвочка с крепкими, давно проверенными узлами. И в первую очередь развяжется там, где узел слабее: каждый отвечал за те два-три шага, что отделяют его от другого. Костик и тот приумолк, шаг его стал твердым, тяжёлым. Микуль шел последним, видел всю цепочку и неожиданно почувствовал, что этих людей связывает не только общее дело, но что-то ещё, более прочное. Она, эта связь, угадывается в молчаливой угрюмости дизелиста Раковича, в ехидных насмешках помазка Вerezовского, в глуховатом голосе сильного, широкого душой первого помбура Гриши Резника и теплом, лукаво-проницательном взгляде Алексея Ивановича, бурилы...

Вахта разошлась по своим местам, Ракович и Вerezовский нырнули под закопченный навес, где пыхтели дизели. Алексей Иванович у пульта разговаривал

с бурильщиком ночной смены. Гриша ушел к насосам, а Костик принялся распекать бурового рабочего за грязь на мостках.

Микуль по узкой лестнице поспешил наверх.

С площадки верхового хорошо видны ротор, лебедка и часть мостков. Люди внизу совсем крохотные, суется как муравьи. Голова Костика плавает в бурой луже глинистого раствора. К нему подходит кепка Алексея Ивановича. Из-под навеса показалась замасленная беретка Вerezовского, крутанулась на месте и шмыгнула обратно.

Наверх поднялся Гриша Резник, помог надеть Микулью предохранительный пояс.

— Ты тут выше всех, — говорил Гриша. — Сидишь как в гнезде, со всех сторон закрыто — защита от всех ветров.

— К чему летом такая защита, ветров-то не бывает?

— Зато осенью будет дождь, слякоть, мокрый снег.

— Разве до осени не закончим?

— Кто знает, если аварий не будет — должны сдать скважину, осталось всего полторы тысячи. А может, и зиму прихватим — раз на раз не приходится.

— Какие аварии? — спросил Микуль.

— Разные бывают, запорешь дизеля, вот и авария. Приходится сидеть и ждать, когда новые поставят, а время-то идет, не видать ускорения.

— Ускорения?

— Да, надо раньше срока сдать скважину — вот это и есть ускорение.

— А пояс-то, пожалуй, будет мешать мне, — сказал Микуль. — Ты меня будто в упряжку запряг — весь в ремнях, как работать?

— Так ты сам в упряжку разведчиков впрягся! — засмеялся Гриша. — Теперь не говори, что не можешь тянуть! — Потом он серьезно добавил: — Мешать

не будет, а польза есть. Высота вон какая, если выпадешь из люльки — повиснешь на поясе, ничего с тобой не случится... На сорок второй скважине был случай: верховой без пояса работал, чуть было не разбился. Хорошо, не растерялся, по свече¹⁰ сполз. Я вот третий год на буровой, всякое случалось. Свалился один верховой на ротор, на железо — разбился, голова была дурная, сам виноват. Но ведь за него люди отвечают — бурильщик в первую очередь, мастер, так-то.

Гриша прошел в люльку, крохотную площадку, словно сиденье обласка между двумя распорками, с деревянными бортами до пояса. Помахал бурильщику: давай, мол, я готов. Перед ним остановилась загогулина — элеватор с трубой. Гриша захлестнул ее толстой веревкой, притянул к люльке и оттолкнул «челюсть», которую зовут крышкой элеватора, сказал:

— Теперь свечу надо завести на палец и поставить рядом с остальными. Если она плохо станет — надо связать, а то завалятся все свечи, когда их много наставишь. Если плотно подойдут к стоящим, вязать не нужно. Вот штимки...

«Странный народ, бурильщики, — подумал Микуль. — Все надо другими словами называть: бечевка — «штимка», железная балка — «палец».

Между тем Гриша давал последние советы новому верховому:

— На силу не надейся — тут все железное, силой не возьмешь, надо хитростью, головой. Элеватор, как ты называешь «загогулина», со свечой раскачивается... Когда качнется в твою сторону — тогда и подтягивай к люльке и крепи узел каната за выемку на борту. Лови момент! Если будешь ворочать силой — полсмены

¹⁰ Свеча — две бурильные колонны, соединенные вместе. Когда идет подъем инструмента, колонны (трубы) отворачиваются парами и ставятся внутри вышки.

не выдержишь. Когда привыкнешь — все будет нипочем. Ну-ка, попробуй сам...

Микуль отцепил свою первую свечу, трубу, похожую на гигантский хорей Манкв-ики, и повел ее вдоль борта. Свеча в его руках трепыхалась многопудовым стальным телом, словно живая. Ему казалось, что она не хочет даваться в руки вчерашнему охотнику. Скользкий конец свечи он держал крепко, но середина вибрировала, ходила волнами из стороны в сторону. И наконец захлестнула предыдущую свечу.

— Шайтан бы ее взял! — в сердцах выругался Микуль, чувствуя, как покрылись липкой испариной спина и виски.

— Отведи в сторону и поставь снова, — раздался за спиной спокойный голос. — Не торопись. Ну, вот, порядок! За борт не очень-то переваливайся. Смотри, когда блок идет вниз, чтобы не задел тебя.

Спокойствие Гриши передалось Микулю. Хорей Манкв-ики в его руках уже не капризничал, он поставил его на место. Перед люлькой ожидала очереди новая свеча. «Быстро подает!» — мелькнуло в сознании.

Поставил еще три свечи. После каждой облегченно вздыхал, словно после удачной добычи: тут хоть воздух чище, чем внизу.

— А шея у Алексея Ивановича не болит? На каждый хорей задирает голову, — спросил Микуль.

— Это он, брат, за тобой следит, когда ты свечу снимаешь и когда ему майнать и вирать надо. Когда он с опытным верховым работает, сюда почти не смотрит. Знает, сколько времени надо, чтобы снять или вставить свечу. Вот ты с ним сработаешься — и он не будет тебе снизу показывать свои запорожские усы. В общем... слаженность в работе. А шея вряд ли болит — нефтяник старый, привычный, около двадцати лет на Севере. Так что за него не переживай...

Свечи поднимались одна за другой. Микуль то-ропливо открывал крышку — «челюсть» элеватора и заводил их за железный палец. Он сразу же забыл о наставлениях Гриши — хватал свечи как попало, думать было некогда. Усталость отгесняла все мысли. Микуль двигался в люльке как робот. Пот застилал глаза, но смахнуть его было некогда. Время словно остановилось. Внизу уже вместо усов бурильщика он увидел румяное мальчишеское лицо Кузьмича. Мастер, как рыба, разевал рот: видно, что-то кричал, но дизели глушили голос. Он пожимал плечами и, покрутив головой, брался за рукоятку. Потом вернулся Алексей Иванович, и Кузьмич занял место Костика.

Поднялся Гриша и отправил Микуля обедать. Тот даже не снял пояса, отцепил защепку с кольца и весь в ремнях поплелся в столовую.

Когда они с Костей вернулись на вышку, турбобур был уже поднят. На мостках лежало снятое долото — две шарошки были без шипов, ровненькие, хорошо отполированные. Третью заело — не крутилась совсем, нижней половины нет — начисто «съел» грунт. Трудно представить, что эти шарошки были из самых твердых сплавов, какие только знает человечество.

— Давай трехшарошечное! — скомандовал Кузьмич.

Микуль приволок тяжелое долото, похожее на вывернутое бурей корневище сосны.

— Видал, Микуль, как шарошки поработали! — похвастался Костик, словно это была его работа. — Бывает, еще сильнее изнашиваются и отваливаются от долота. Мы их магнитом выуживаем, как на рыбалке!

— Как можно — полтора километра! — не поверил Микуль. — Врешь, однако, Коска!

— И не вру — спроси, у кого хочешь! — обиделся Костик. — Если там железяка лежит — бурить невозможно! Вот и приходится лезть туда...

После смены долота начался спуск инструмента: свечи наворачивали друг на друга и спускали в скважину. Микуль прикинул, что на тысячу пятьсот метров нужно примерно шестьдесят свечей, шесть — десят хореев Манкв-ики. На три тысячи метров — больше сотни надо. И эти железные кишки надо поднимать и спускать через несколько часов, чтобы сменить промасленный кусок железа — долото. И так каждый день: подъем — спуск — бурение, подъем — спуск — бурение. А разве нельзя с одним долотом пробурить скважину от начала до конца?! Зачем делать лишнюю работу? Зачем попусту убивать время? Тут, пожалуй, умом можно тронуться...

И работа на буровой показалась ему пустой и бессмысленной. На охоте проще: одно из двух — удача или неудача.

В четыре пришла вечерняя смена.

Мылись по пояс, затем докрасна растирались холщовыми полотенцами. Потом Микуль взобрался на свою полку. Все тело гудело, и он сразу же провалился в теплую пустоту, мягкую и приятную. Видно, пушистый сон-колонок, который убежал в первую ночь, теперь не боится шума буровой, привыкает помаленьку. Но как ни крепко спал он, а от собачьего лая проснулся: сразу определил, что собака увязалась за белочкой, которая, перескакивая с дерева на дерево, уходила от преследователя. Микуль повернулся на другой бок, но прерывистый нервный лай не дал задремать. Прибежал Костик, крикнул:

— Вставай, Микуль, скоро ужин!.. Меня вот днем не тянет на сон, по утрам — другое дело, проснуться

не могу. А знаешь, скоро твой земляк придет, рог мне привезет.

— Какой земляк?

— Степаном зовут, рыбак, на моторке ездит. Простый раз он возил нашу вахту на рыбалку, невод у него есть.

После ужина по обыкновению усаживались на лавке у стены, курили и вели неторопливые беседы. Гриша кормил собак: называл пса по кличке и бросал кусок, но его перехватывали более нахальные и нетерпеливые, и начиналась свалка. Гриша немедленно водворял порядок, отчитывал провинившихся и начинал заново.

Микуль, выходя из столовой, отпихнул подвернувшуюся под ноги собаку, сердито цыкнул на нее.

— Ты что, не любишь их? — удивился Гриша. — Ты ж охотник...

— Не нравятся мне такие собаки, — ответил Микуль. — Охотничьи лайки, как только кончается охота, всю весну и лето на привязи сидят, потому что...

— То охотничьи, а эти — совсем другое дело, эти свободные, куда захотят — туда и понеслись! — перебил Гриша.

Рассердился немного Микуль, что не дали ему слово сказать, ведь в тайге сначала один говорит, а потом другой. Если голова на месте, никуда нужное слово не убежит, поэтому остановил Гришу:

— Дай мне слово сказать...

Да, охотник всю весну и лето собаку на привязи держит. А почему держит, знаешь? Да потому, что сейчас пришла в тайгу Белая Ночь — время покоя и тишины. Птицы рек и озер теребят перья на своих грудках, чтобы в гнездах, где лежат яйца, было мягко, тепло, уютно. Они своей одеждой не жалеют, до осени с голой грудкой будут летать, чтобы только птенцов вывести. Гнезда

в дуплах, в кустах багульника, на болотных кочках открыты семи ветрам и семи дождям, открыты семи клыкам и семи когтям! Если тебе не совестно смотреть в светлые глаза Белой Ночи, бери яйца с теплого гнезда и глотай их, пока хруст скорлупы не ударит тебя по уму и сердцу. Если, конечно, они у тебя есть...

В дупле старого дерева соболиха прячет своих еще слабых детей; под корневищем толстой сосны лиса выкопала нору для своих лисят; на неокрепших долгих ножках лосята и оленята семянят за своими матерями. Они пока беспомощны, у них нет еще ни крепких зубов, ни тяжелых рогов, ни острых копыт. Их можно взять голыми руками, если тебя не смущают глаза Белой Ночи. Охотник-таежник всегда чувствует на себе взгляд Белой Ночи, у него никогда не поднимется рука, чтобы обидеть живое. Летом у него и ружья-то нет, летом он не охотник, летом он рыбак, а рыба добывается не ружьем. Но и летом снится ему зима, и он ревниво стережет покой и тишину тайги, он знает свои земли и воды, много раз убеждался: что Белой Ночью посеяно, то он осенью и зимой пожнет. Таков закон природы, таков закон тайги. Поэтому он на страже тишины и покоя, поэтому он и прячет ружье, поэтому он держит свою лайку на привязи. Он знает, что власть, магическая сила Белой Ночи не действует только на хвостатых¹¹.

Сказал Микуль свои слова и умолк. Призадумались и буровики, не спешили с ответным словом. Только Гриша не заставил себя долго ждать, воскликнул:

— Да мои жучки дальше кухни дороги не знают! Где им до гнезд и птенцов?!

— Вчера на озере норы ондатровые рыли, — вспомнил Микуль. — И на бору сегодня за белками гонялись.

¹¹ «Хвостатыми» охотники называют собак, когда не хотят унижать достоинство того, о ком говорят.

— Не без греха твои жучки, Гриша! — вмешался Костик. — Я тоже слышал, кого-то они облаивали!

— Привязывать их надо, — жестко сказал Микуль. — Нельзя так оставлять. Ведь осенью нам самим на охоту захочется, все мы тут теперь вроде хозяев.

— Да сожрут их комары заживо! — крикнул Гриша. — Не выживут на цепи!

— Выживут! — веско сказал Микуль. — Ни одну собаку еще комары не заели! Только цепь должна быть такой длины, чтобы собака могла вырыть себе нору. На цепи летом она обычно всегда делает такое жилище. Или хозяин роет яму своей лайке, сверху закрывает досками и песком, оставляет вход. В жару там прохладно, нос в песок — и никакие комары не страшны!

— Гриша, лопату в руки и давай делай фатеры своим жучкам! — засмеялся Вerezовский. — Если не хочешь, чтоб их комары заели.

— Да за что же им такое наказание? — возмутился Гриша. — Они еще ни перышка из лесу не приносили!

— Еще принесут! Принесут! — уверил Микуль. — Увидишь.

Заспорили буровики: вредят ли собаки тайге, сажать их на цепь или нет. Алексей Иванович предложил повременить, до первого, так сказать, греха, чтобы, как он выразился, вещественное доказательство было — разоренное ли гнездо, пойманная ли птица, загнанная ли зверь. Как только это обнаружится, сразу всех собак на цепь.

Микуль понимал, что не так-то просто поймать собаку с добычей, ведь не станешь бегать по ее следам. Позднее у него появилась привычка: он осматривал морды собак, приглядываясь, нет ли на них следов крови. Псы, живущие возле помоек, неопрятны, со всем не следят за собой. Разве сравнить их с охотни-

чьими лайками, которые после кормежки обязательно «умоются» и залижут шерстинку к шерстинке, не отираются у ног каждого встречного, знают себе цену.

Вернувшись в балок, Микуль снова лег — после вахты спина, руки и ноги словно одеревенели и тупо ныли. Казалось, проспит он до самого утра, но не тут-то было. Ночью ему снились таежные птицы и звери, часто будил собачий лай. Проснувшись, слышал только шум дизелей. Дивился упорству, с каким буровая с самого начала все отворачивалась от него: то гнала прочь сон-колонок, то сосну старую натравила и вот наконец до собак добралась. А что преподнесет она завтра?! Но Микуль уже нащупал тропу, с которой опытного охотника не собьешь.

7

Не прошло и недели, как Микуль молча положил на стол Кузьмича двух полумертвых окровавленных лисят. Мастер невесело покосился на своего трехмесячного, черненького, без единого белого пятнышка щенка Чомбе, который спасался от комаров под столиком с рацией. И теперь хозяин без слов хотел убедить всех, что его щенок здесь ни при чем. Затем он перевел взгляд на Гришу Резника, тот сказал, что давно уже вырыл яму-нору, а за других он не ответчик. Но тут выяснилось, что почти все собаки на буровой — без хозяев. Чуть ли не каждый, кто приезжал на буровую, привозил с собой пса, а когда увольнялся, обратно не забирал, оставлял его здесь. Вот и развелось их...

С первой же вахтой, улетающей на отдых, решили отправить собак на базу.

Микуль облегченно вздохнул. Ему даже показалось: бор и болото, озеро и река впервые посмотрели на него

с благодарностью, признали в нем таежника. И он с легким сердцем отправился на озеро ловить окуней.

На крохотной несмоленной лодчонке причалил к берегу Степан. Он заглушил подвесной мотор, выпрыгнул на песок. Степану уже давно перевалило за сорок, но суховатый, жилистый, он все еще был по-молодому подвижен и ловок. Не спеша вымыл в речной воде руки, сполоснул заросшее щетиной лицо, пригладил спутанные волосы, шейным платком, которым отмахивался от комаров, вытер угольно-черные, колючие глаза и лишь затем выпрямился, пристально вглядываясь в вышку, словно прикидывал, на какую глубину просверлили искатели нефти его землю, что тут изменилось в его отсутствие. Потом, уже не оглядываясь, направился в балок Алексея Ивановича.

— Кер¹² сделал? — спросил он хозяина, поздоровавшись.

— Кер давно ждет тебя, Степан!

— Пусть бог даст тебе семь сыновей!

— Э, Степан, ты такое своему врагу пожелай, — усмехнулся Алексей Иванович. — А я все же тебе друг. Давай, пошли чай пить!

Хозяин наполнил кружки крепчайшим, почти черным чаем.

— Глухарей в этом году много будет, думаю, — сказал Степан, сделав первый глоток.

— Откуда знаешь?

— Выводков много. На песках следы уже есть, — значит, матери глухарят обучают.

— Свозишь на охоту к себе, ненадолго?

— Возьму, Лексей, ты хороший человек и плохой охотник.

— Поэтому и согласился? И хитер же ты, Степан! Значит, беру отгул на недельку. Скажи, в какое время лучше всего?

— Осень скажет, когда надо на охоту идти.

— Опять хитришь, друг, — засмеялся Алексей Иванович. — Будто сейчас не знаешь, какая будет осень?!

— На зверя хочешь?

— Где мне на большого зверя, на глухаря хочу.

— Середина сентября — самое время, думаю.

— Степан, а как называется глухарь по-хантыйски?

— Лук.

— Лук?

— Не так сказал, Лексей. «У» короткий-прекороткий — лук! Как будто вовсе нет «у», а на самом деле есть, только прячется... Вот-вот, еще короче, немного получается.

— Учитель бы из тебя неплохой вышел, Степан.

— На это, наверное, голова хорошая нужна, — ответил Степан. — А в моей голове одни звери, птицы да рыба. Да еще реки, озера, тропы — сплошной лес. Кого теперь это интересует?! Никого, думаю...

— Так уж и никого?!

— Живу я тут, глаза видят, уши слышат, куда денешься?!

После чая Степан вытащил из мешка сорогу с серебристой чешуей — твердую, насквозь провяленную. Протянул бурильщику:

— Попробуй, не пересолил?

Тот очистил рыбину, откусил со спинки:

— Хороша, Степан, в самый раз. Эх, пивка бы сейчас!

— Понравилась — хорошо, тебе привез, возьми мешок!

— Спасибо, Степан!

В балок влетел Костик, с порога закричал:

— Здорово, Степан! Почему так долго не показывался?

— У меня выходных нет, как у вас тут.

¹² Кер — печка.

— Переходи к нам — и у тебя будут!
— Э, старая сказка.
— Рога привез?
— Котелок твой, Коска, наверное, продырявился, починить надо малость.
— Почему, Степан?
— Сколько тебе говорить: рога еще сырые, рано. А говоришь — ты сибиряк!
— Ловко он тебя, Костик! — поддел Алексей Иванович.

Но Костик ни на кого не обижался.
— У меня новость для тебя, Степан! — заговорил он. — Ты вот все твердил, что никто не придет к нам работать. А теперь твой земляк работает у нас!
Степан вопросительно взглянул на бурильщика. Алексей Иванович кивнул.

— Зови его, если по-нашему понимает, поговорю с ним, — сказал Степан.
— Пойду я, печурку... кер приготовлю! — проговорил бурильщик, поднимаясь. — Ты кури пока здесь!

Степан распотрошил три «беломорины», высыпал табак на страницу раскрытой книги, затем оторвал кусочек газеты и начал сворачивать сигарку заскорузылыми, непослушными пальцами. Табачное крошево сыпалось на его перепачканные мазутом штаны, но он не замечал этого.

Микуль остановился около порога, поздоровался. Голос его прозвучал неестественно громко и бодро, и он приумолк. Из-за облака дыма Степан молча оглядел его с головы до ног, словно воочию хотел убедиться, правда ли настоящий охотник перешел на железную работу. Лицо его не выражало ничего, и трудно Микулю понять, о чем он думает. Наконец жестко спросил, кто его отец, из каких мест. Микуль ответил.

— Ма нунг чече вуим!¹³ — нахмурился Степан. — Крепкий был медвежатник!.. А ты пошто охоту бросил? Рыбалку пошто бросил, а?! Разве ты не сын охотника? Разве тайгу не любишь?!

Микуль, не ожидавший такого напора, растерялся.
— Скоро охотников не будет, тайга пустая будет — зачем тебе «железная работа»? Может, денег много надо?! Они тебя сманили?! — напирал Степан. — Зачем тебе «черная вода»?!

— Зверей в тайге все меньше становится, это ты лучше меня знаешь. Что делать охотнику, когда совсем без добычи останемся? — как бы оправдываясь, заговорил Микуль. — А «черная вода» тоже чего-то стоит — ненужную вещь не стали бы искать, знаешь ведь?

— Про завтрашний день уже думаешь?! — не то с осуждением, не то с одобрением произнес Степан. — На мой-то век, поди, рыбы-зверя хватит, землю дырявить меня не заставишь, нет.

— Стариков никто и не заставляет.
Степан помолчал, приглядываясь к земляку. Потом сказал:

— Ладно. Поживем — увидим. Ты, парень, помоги мне товар в лодку снести. Я тут у Жоры продукты беру. В свой поселок далеко ехать. Зачем зря бензин жечь?

Степан взял пустую канистру, помятую с боков, с облупившейся краской.

— К мастеру, однако, зайти надо.
Кузьмич встретил его приветливо, как старого друга.

— Как дела, мастер? До черной воды не добрался? — первым делом поинтересовался Степан.

— Нет пока, но доберусь!
— Нет тут нефти, зря стараешься!
— Откуда знаешь, шаманил, что ли?

¹³ — Я твоего деда знал!

— Не шаманил. Так знаю.
— Что нужно, Степан, — бензин, масло? — Кузьмич поглядел на канистру.
— Солярку надо.
— Зачем? Мотор заправлять?
— Нет, не мотор. Ночи темные осенью — лампа не хочет работать.
— А я думал, ты мотор свой под солярку приспособил.

Степан слышал о новом моторе. Сильный, на солярке работает.

— Внук мой, может, на таком моторе ездить будет...

В балок к Кузьмичу заглянул Вerezовский. Увидев рыбака, усмехнулся, как всегда, с ехидством.

— Все государство грабишь? А, Степан?

— Сам ты грабишь! Я — нет! — неожиданно вспылл Степан. — Ты государственный, я нет? Так чей я, чей?! — лицо его посерело, стало свинцово-тяжелым. Пальцы, сжимавшие ручку канистры, побелели, как береста.

— Да шутит он, шутит! — поспешил заглядить вспыхнувшую ссору Кузьмич. — Ты же его знаешь, Степан...

Но Степан не унимался. Все бормотал проклятия в адрес обидчика. И даже солярка, которой Кузьмич щедро наполнил канистру, не радовала его. И только когда подошел Алексей Иванович с самодельной печуркой в руках, Степан чуть успокоился. Он взял печурку, повертел, прикинул вес — не тяжела ли для охотничьих странствий. Кажется, нет, но хвалить не спешил. Когда убедился, что сварена она на совесть, железо стоящее, не ржавое, скупно улыбнулся:

— То, что надо охотнику. Пошли, однако, ехать пора.

— Ты чем недоволен, Степан? Не нравится, что ли, кер? Зря... Я в печках толк знаю... Затопишь, как в бане будешь сидеть.

— Хороший кер. — Степан заторопился на берег.

Ветхая самодельная лодчонка стояла чуть выше пристани, где берег был чистый. Мотор тоже под стать лодке — невзрачный, старенький, собранный из двух моторов.

Степан откинул брезент, сложил вещи на настил с темными кружочками от недавно прошедшего дождя и укрыл их тем же куском брезента.

Кузьмич попрощался с ним за руку. Степан сказал:

— Жди зимы. На охоту пойдем. Ты мне друг, я тебе друг. Только, смотри, речку не порти, нефть не пускай. Попортишь — всю буровую сожгу! — ни по лицу, ни по голосу Степана невозможно понять, в шутку это сказано или всерьез.

— За нефть в речке мне и без тебя по шапке дадут! — развел руками Кузьмич.

— Тебе нефть есть — идет зарплата, нет нефти — тоже деньги получаешь. А у меня есть рыба — сытый, нет рыбы — живи как знаешь.

— Иди к нам, устрою.

— У тебя все одно — глина да железо. Скучно, что за жизнь?

— Заводи, — сказал Алексей Иванович. — Нам спешить некуда, посмотрим, как твой мотор работает.

— Когда заведу, оттолкните лодку, — попросил Степан. — Мотор, того, вредный! — Он перебрался на корму и пробормотал: — Долго отдыхал, работай теперь!

Вытащил кожаный ремешок из куженьки¹⁴, служившей ящиком для инструментов. Ремешком он завел мотор, стартера не было. Рванул шнурок — мотор чихнул сизым дымком. Дернул еще — нет даже чиха,

¹⁴ Куженька — сосуд из бересты.

мотор висел куском холодного железа. Степан снял пиджачок.

— Как ты бензин разводишь? Может, масла больше нормы? — спросил Алексей Иванович.

— Мало — нельзя — быстро изнашивается, где потом достану машину?

Мотор завелся на больших оборотах и взревел неожиданно резко в вечерней тишине. Лодка скрылась за поворотом. Стало тихо. Глухо ворчала буровая. Но к ее шуму настолько привыкли, что и не замечали его. Микуль смотрел на волну реки и думал, что лодка по ней прошла маленькая, а она долго не может успокоиться.

Волны тоскливо лизали песчаный берег.

Буровики направились к домикам — пора на боковую. А Микулю совсем не хотелось спать: оранжевый колонок, как и в первую ночь, запривередничал — бежит и манит в таинственные сумеречные урманы, на тихие лесные озера, на малохоженные таежные тропы и поляны, которые плавают в светлой Вечности Белых Ночей. Истаяла Луна нереста — с болотных озер, с нерестилиц рыба начала опускаться в большие реки для нагула. Со «взрослой» листвой, со стаями комаров и мошкар, с безветренными и знойными днями заступила Луна запоров. Отнерестилась рыба речная, а карась на закрытых водоемах только приступил к своим игрищам.

Разгар Белых Ночей. Солнце на часок опускается за прибрежные березки и снова начинает свой путь, чтобы за короткое теплое лето вдохнуть жизнь в деревья и травы, в реки и озера, в больших и малых обитателей тайги.

Микуль в бледных сумерках бродил по сосновому бору: вот на таком же бору стоит Ингу-Ягун, только ягель там не такой богатый, как здесь. Что там дела-

ется сейчас? Всего месяц прошел, как уехал, а этот месяц показался годом. После вахты кое-как добирался до своей полки — железо выматывало все силы. И работал, кажется, впустую — нет никакой добычи, нет «черной воды», нефти нет! Вдруг вот целый год работаешь — и не будет нефти? Сколько сил, времени, пота! — и все впустую. На охоте как: один день, ну, два не добудешь ничего, на третий будет добыча, всегда прокормишь себя и семью. Тут, говорят, нефть добыл не добыл, а деньги все равно дают. А зачем мне деньги за пустую работу?! Ведь я ничего не даю? Нет «черной-то воды»? Если я целый день ходил по лесу и ни зверя, ни птицы не подстрелил, ведь в Ингу-Ягуне никто мне за это деньги не даст — понимают люди: впустую охотился, а пустота ничего не стоит. Тут вот зверя не промышляешь, «черную воду» не находишь, рыбу не ловишь, а зарплата идет, чудно как-то получается, не по-ингу-ягунски! Правильную ли дорогу выбрал? Ведь охотнику всегда нужна удача, без удачи он не может жить. И на что ему жить! А здесь как быть? — удачи-то совсем не видно. А в Ингу-Ягуне в это время года, бывало, ездил за карасями. Возьмешь самую что ни на есть ветхую сеть — и то, пока ставишь, поймешь с десятков ярко-огненных чудо-карасей. Потом сядешь в ожидании янтарной ухи у дымного костра: и по тайге бредет осторожная тишина, и всем телом чувствуешь всевидящие глаза Белой Ночи, и небо купается в синеве озера, и замирает все живое, прислушиваясь к неслышному голосу природы, и останавливается время — ты в мире вечном и незыблемом, и сам становишься вечным и незыблемым. Это мгновение не подвластно времени, оно не может умереть, как не можешь умереть и ты.

И сердце вздрогнет и запоет бессмертную песню Земле и Жизни.

Если ты однажды пережил такое, ты навсегда попадаешь под чарующую власть необъятной тайги. И где бы потом ни был, тебе будет сниться эта необыкновенная ночь, и тебе неудержимо захочется пережить ее заново.

Микуль натыкался на бородатые стволы, опьяненные густым и горячим воздухом смолистого бора.

После отъезда Степана потянуло на вольную таежную жизнь: хочешь рыбы — садись в обласок, на охоту надо — бери ружье — и в укромные лесные чащи. Захотел есть — разложи на берегу маленький костер. А тут все по расписанию — и на работу, и с работы, и на обед. А у Степана худо-бедно, а приволье. Куда же он денется, когда охоты и рыбалки не будет? И Микуль не выдержал — на другой день не вышел на вахту.

Всю буровую обшарили, нигде его не было.

— Сбежал наш охотник — куда человеку лесному железо! — ораторствовал Вerezовский. — Я так и знал, что сбежит!

— Много ты знаешь! — ворчал мрачный Кузьмич. — Смотри лучше за собой, как бы сам не рванул с буровой...

— Не видать тебе, Жора, ондатровой шапки! — смеялся привередливый помазок. — Шапка-то тью-тью!.. Знаю, зачем ты вокруг него ходил...

Только Надя, словно знала какую-то тайну нового помбура, уверенно сказала:

— Никуда он не сбежал, придет!

Микуль явился на третий день со связкой огромных золотых карасей, сдал их обрадованному Жоре, пошел на работу. Вахта держалась с ним так же просто, как и раньше. Только Вerezовский с какой-то ехидной усмешкой поглядывал на него, но этого помазка другим никак не представишь, всегда такой. А Надя

будто избегает его, Микуля, ни разу с глазу на глаз не оставалась, и от нее веет если уж не зимним, то, наверняка, осенним холодом. Микуль все ждал главного разговора, а его нет и нет. Молчит бурильщик Алексей Иванович, молчит мастер Кузьмич. Что у них на уме?! Может быть, ждут вместо него нового помбура?! И как только тот придет, его сразу же выгонят? Тогда почему же не говорят ему об этом? В Ингу-Ягуне, если человек что-то сделал не так, ему сразу скажут в лицо, ничего таить не будут. Ведь надо же было, не выдержал! И словами-то это не объяснишь, как случилось. Сманила тайга, сманила Белая Ночь! Но они же и вернули. Вернули и новую таежную силу вдохнули в него. Силу, настоящую на горьковатом запахе дыма, на терпком аромате листьев и трав, на свежести утренней росы и вечнозеленой хвои. Да разве все объяснишь словами?.. А может быть... мастер Кузьмич и Алексей Иванович понимают его, Микуля, так же, как он понимает Тайгу и Белую Ночь?! Ведь человека лишь тогда ни о чем не спрашивают, когда чувствуют его душу и знают его мысли. Зачем напрасно спрашивать, если заранее известно, что он скажет. Только не каждому это дано, ох, далеко не каждому. Может быть, одному из тысячи... Теперь Микуль ждал: если с ним заведут главный разговор, значит, он ошибся. Но прошел день, другой, третий, и он совсем успокоился. А однажды на вышке он сам напомнил Алексею Ивановичу о карасях, но тот отмахнулся, мол, работы много, как-нибудь позже потолкуем. Он подумал, что Алексей Иванович тот, один из тысячи. И мастер Кузьмич, видно, тоже. Не во всем еще разобрался Микуль, многого еще не знал. Не знал и о том, что в день его возвращения в балке мастера Надя настаивала немедленно созвать открытое комсомольское собрание и обсудить проступок комсомольца Сигильетова.

Кузьмич молча выслушал и вопросительно посмотрел на Алексея Ивановича, который на буровой был секретарем партийной группы. Его мнение оказалось противоположным: никаких собраний не устраивать, ведь Микуль, по всей вероятности, хотел уйти, а раз вернулся, значит, много думал и сделал правильный вывод, а собрание может все испортить, лучше побеседовать с ним попозже, когда все забудется, все перемелется. Кузьмич согласно кивнул: так, пожалуй, будет лучше, и ребят надо предупредить, чтобы не лезли ему в душу. Улыбнулся он Наде, пояснил: это не прогул у Микуля, понимаешь, комиссар?! Тут все гораздо сложнее, подумай, каково ему принять и переварить такую махину, как наша буровая? Не каждому это под силу, не каждый выдерживает здесь, а ему, шагнувшему к нам с охотничьей тропы, наверное, вдвойне, тройне труднее. Наше дело — помочь ему, понимаешь, комиссар!

Надя все понимала, но считала, что комсомольское собрание лучше бы подействовало и на него, и на других разведчиков...

Всего этого не знал молодой помбур Микуль Сигильетов, не знал, что здесь, на буровой, его судьба многих тревожила, о нем думали и беспокоились не меньше, чем в его родном селении, потому что тут работали люди, которые видели немного больше и смотрели вперед немного дальше, чем жители Ингу-Ягуна. Многое еще не знал вчерашний охотник Микуль, многое ему еще предстояло узнать, многое открыть.

8

Через девять суток вахте полагается трехдневный отдых на базе. С буровой вахта Алексея Ивановича вылетела в час дня. Ребята приоделись — все в чистень-

ких куртках и шляпах. Костик всю дорогу не умолкал: подсаживался в вертолете то к одному, то к другому, сиял весь, как хорошо отполированная шарошка. Даже вечно мрачный Ракович будто посветлел лицом. Доволен был и Микуль, с каким-то трепетным волнением ждал встречу с Ингу-Ягуном, нетерпеливо поглядывал в иллюминатор. Возле его ног прикорнул рыженький щенок — заманили в вертолет последних бродячих псов буровой, теперь выводки зверей и птиц обретут тишину и покой.

Кашлянул Алексей Иванович, мечтательно проговорил:

— Первым делом мы с тобой, Гриша, в баньку сходим — ну и попаримся, а!

— Ошибся, Алексей Иванович, — сказал Гриша. — Сегодня не придется, мужская-то баня завтра, в пятницу!

— Ах, черт, ведь верно! — огорчился Алексей Иванович. — Придется потерпеть, вечно у наших хозяиственников какие-то фокусы!

— Первый день буду спать, — сказал Костик. — Второй — в кино, третий — танцы и кино.

— Я займусь фотографией! — сообщил Верезовский.

— Я домой поеду, — вставил Микуль. — Пожалуй, на рыбалку схожу.

— Найдется, что делать! — заметил молчаливый Ракович. — И про рыбалку не вспомнишь!

За разговорами не заметили, как и прилетели.

На базе, поселке нефтяников, в центре двухэтажные дома из бруса. На окраине, на высоком берегу таежной реки ютились дощатые, вросшие наполовину в землю балки. Пыльные, короткие улицы, строящиеся дома, гул тракторов, гудки катеров на причале. И знойный раскаленный воздух.

В общежитии комендантша открыла комнату, по углам четыре кровати, застеленные свежим бельем. Стол, стулья: было чисто и уютно по сравнению с буровой.

Костик сбегал в поселок, узнал, что ни танцев, ни кино нынче нет. И в бане — женский день... Ребята приуныли. Микуль хотел было уйти, до Ингу-Ягуна еще далеко, когда доберется? Но Костик остановил его:

— Обожди... Отметить надо... — Он извлек из кармана бутылку коньяка, поставил на стол. К столу придвинули две кровати — стульев не хватало. Гриша разлил коньяк в разнокалиберную посуду.

— Ну, хлопцы, за добрый отдых, — провозгласил Алексей Иванович. — Как работали, значит, так и отдыхать треба. А на работу вы молодцы, грех жаловаться на вас.

— За нефтяных королей! — закричал Костик.

Микуль выпил вместе со всеми и сразу почувствовал, как свинцовой тяжестью наливается тело.

Алексей Иванович вскоре поднялся из-за стола:

— Ну, хлопцы, пора и до хаты, а завтра жду в гости, как договорились, обновим фатеру.

— Вишь, Алеше Ивановичу квартиру дали в новом доме, — сообщил Костик, наклонившись к Микулью. — Обмоет с нами, а если приедет жена... если приедет — справит новоселье, все честь честью.

— Уж тебе, Петушок, на новоселье не бывать! — ехидно ухмыльнулся Везезовский.

— Нет, тебе не бывать! — огрызнулся Костик. — Как же без меня-то, я обязательно там буду!

— А вот и нет! — тянул свое Везезовский. — Я по Везезову знаю его жену — стр-рогоя!

— Ну и что?

— Стр-рогоя! Если приедет, лично я сомневаюсь, чтобы приехала. Если приедет, такого шалопая, как ты, и на порог не пустит! Пить не умеешь.

— Нет, это ты...

— Эй, кочеты кубанские... — Гриша взялся было за гитару.

— Я сибирский! — перебил его Костик.

— А, все одно, — отмахнулся Гриша. — Кончай петушиться. Споем...

— Нет, лучше к Марусе! Гитару с собой бери... — не унимался Костик.

Шли шумной толпой по леску довольно долго, натываясь в светлых сумерках на деревья. Говорили все сразу, не слушая друг друга.

Микуль нащупал в кармане бутылку, хотел вытащить, но не мог. А она, проклятая, все время тянула его куда-то в сторону. Ему казалось, что ребята идут твердо, ему же мешала переставлять ноги пузатая бутылка.

Наконец пролезли в низкие двери и очутились в комнате. Микуль плохо соображал, куда они пришли и зачем. Но девушки, хозяйки дома, ему понравились. Симпатичные.

Заиграла музыка. На столе снова появились бутылки.

— Хлопцы, за разведчиков!

— За нефтяных королей!

— За бурилу!

— За женщин!..

Везезовский пустился в пляс. Вот уж не думал Микуль, что этот долговязый помазок может так лихо отплясывать. Он носился вокруг танцующих, налетал на них, сбивал с ног. Выкрикивал частушки таким голосом, словно старался перекрыть шум буровой.

Высокая блондинка обняла Костика за шею и что-то говорила ему. Она то и дело встряхивала его за плечи, отчего голова парня моталась из стороны в сторону. Он обмяк и чудом держался на ногах.

Гриша с улыбкой на широком лице топтался возле девушки с длинными распущенными волосами.

Микуль видел перед собой кольшущееся тело веселой толстушки и думал, отчего у нее на платье такой большой вырез? Он так далеко уходит вниз, даже неприлично смотреть. Буровику, нефтяному разведчику, может, и полагается такое, и может, это помогает ему в поисках нефти, а вот охотнику никак нельзя — удачи не будет, все звери и птицы в тайге отворачиваться станут. На календаре сейчас июль, до первого снега еще далеко, — может, еще на охоту вернусь, удача мне нужна, удача... Может, материи на вырез-то не хватило?! — вон какая блестящая ткань, наверное, дорогая и редкая. В Ингу-Ягуне никто не носит такого платья, и комары не дадут такое надеть, мигом искусают. А подол зачем такой длинный, мешает ходить — надо оттуда перешить кусок на грудь.

Мысли шли вразброд — толстушка, буровая, Ингу-Ягун, ожидание первого снега. Все смешалось в голове Микуля, ни за одну мысль не мог уцепиться — откуда и зачем попал сюда?

Только ладони чувствовали туго обтянутую талию, теплую и податливую.

Комната все больше наполнялась музыкой, топотом, звоном.

Один Ракович сидел безучастно за столом. Печальные глаза, не мигая, смотрели в одну точку на скатерти.

Микуль захотелось спать. Он приткнулся к стенке и тут же провалился в черную пропасть.

Проснулся он весь в поту. С трудом отыскал пиджак и рванулся из комнаты. В коридорчике чуть не наскокил на Костика. Тот безмятежно спал на полу.

Влажный воздух раннего утра освежил Микуля, он выбрался из лабиринта улочек и проулков и побрел в общежитие. В комнате был только Ракович.

— Трещит башка-то? — спросил дизелист.

— Есть малость. А ребята где?

— Придут...

«И с чего это разговорился молчун?» — соображал Микуль.

— А у тебя как голова-то?

— Я же почти не пил. И тебе не советую увлекаться, вчера лихо опрокидывал. Этим тут никого не удивишь.

— Сам-то ведь тоже...

— Меру свою знаю, хотя нельзя мне пить. Иногда приходится с ребятами за компанию, неудобно отказываться.

— Копишь деньгу...

Глаза Раковича жестко блеснули, помедлив, он процедил сквозь зубы:

— Да, коплю...

Наступила неловкая пауза. «На кой черт я ввязался в этот разговор», — пожалел Микуль. А Ракович внимательно разглядывал его, будто впервые видел. Потом отвел глаза и заговорил, тяжело отвешивая слова:

— А ты чужие слова повторяешь. Да, коплю, я скопидом. Много мне надо, много. Но я ненавижу деньги, ненавижу! Мусор, в огонь бы все! Все! В огонь! До копеечки! Будь они прокляты!..

Тут он прервал себя и отрывисто спросил:

— Ты любил когда-нибудь? Знаешь, что это такое?

Микуль опешил — с таким напором накинута на него Ракович. Голос дизелиста звенел на пределе — вот-вот лопнут связки. Глаза горели огнем. В комнате стало жарко.

— Не знаю, — неуверенно проговорил Микуль. — Так, нравились девчонки... Но у меня никого еще не было.

Ракович молчал, словно выпустил свой внутренний заряд, который накапливался много лет и наконец прорвался неожиданно для него самого. Он как-то

сник, будто надломился. И когда совсем успокоился, сказал глухо:

— В армии я служил в южных краях. Все шло нормально, уже домой собирался, а тут... ну, знаешь, влюбился. Да так, хоть... Родился-то в деревне, в Белоруссии. Мать там у меня. Ждет. А тут... потерял, короче, голову. Она вроде тоже любит. А отец ни в какую. Вернее, отчим. Смотреть на меня не хочет. Говорит, за такого-то?! Одни казенные штаны, да какой он мужчина? Что у него за душой? Ничего! А у меня на самом деле ничего, кроме казенных штанов да хатки в деревне. Выходит, будто бы и не человек уже. Ну, я ему руки свои показываю, вот, мол, мое богатство. А он смеется: говорит, руки в наше время ни при чем, если башка неважно варит. Говорит, вот положи мне тут столько-то, тогда я увижу, что ты за человек. И даже предлагал устроить в одно место: мол, быстро и наверняка. Но тут такое зло взяло меня! Такое зло... Мог бы что-нибудь натворить, но пронесло. Другой бы на моем месте покончил сразу, тут же: плюнул бы на все и махнул домой. А у меня, видно, кишка тонка, не хватило храбрости. Хотя, думаю, здесь дело не в этом. Но все же временами находит что-то — и я сам себя презираю. А в этом мало приятного, я тебе скажу. Да, зло взяло! — и я решил ему доказать, если есть крепкие рабочие руки, ты еще не последний человек, не пешка. Глупо, может быть, все получилось, но иначе я не мог. Махнул сразу сюда, третий год работаю без отпусков и прочего. Как три будет — уйду.

— Сбежал бы с ней! — воскликнул Микуль. — В тайге ищи не ищи — все равно не найдешь! Я знаю такие места, где не только человек не ходил — медведь не ступал. Надо ружье, собаку, избушку...

— Я что... да она... видишь ли, все же родитель, вырастил.

— А она-то как, пишет?

— Как же, я только за тем и летаю на выходные, чтоб на почту сходить.

— А после... потом куда? В тайге останешься?

— Не знаю, куда она захочет... А я тут к ребятам привык. Не смотри — пьют, это они от безделья. Прилетели на отдых, а сунуться некуда, фильмов нет, танцы — и то раз в неделю. А ребята молодые, кровь играет, развлечься надо, вот и убивают время. Когда обзаведутся семьей — остепенятся. Ребята у нас хорошие...

Ракович посмотрел на часы.

— Заболтались мы с тобой, шестой час, давай вздремнем, что ли.

Микуль проспал до обеда. В комнате никого не было, когда он проснулся. Во всем теле тошнотворная противная слабость, словно вернулся с того света. Хотел пойти пешком в Ингу-Ягун, но не решился. Какими глазами он будет смотреть на земляков? Что сказать матери? Что делать с сестренками, которые непременно повиснут на нем. Нет, лучше в другой раз...

Сходил на почту, отправил матери деньги. Вернувшись, снова лег, задумался о вчерашнем дне. На буровой эти парни могут работать всем на зависть — не нужно подгонять! А вот на базе каждый сам по себе, никому нет дела до него. Может быть, так и должно: главное — проходку дают, а там... На такой отдых лучше вообще не летать, на буровой, в тайге веселее.

Микуль задремал.

...Прилетели на буровую через три дня, утром. Завалились спать: выходные измучили всех.

Микуль избегал встречи с Надей. Ему не хотелось попадаться ей на глаза.

А в сосновом бору около буровой было чисто и свежо. Очень чисто и очень свежо.

В ночную смену, когда идет бурение и занят лишь один бурильщик, иногда можно выкроить несколько свободных минут и как следует перекурить. Благо, мастеров не может всю ночь находиться на буровой.

Гриша убежал к насосам, Ракович копался у дизелей, остальные курили. Помазок Везезовский зевнул со скучающим видом, покосился на Микуля и небрежно сказал:

— А ты охотник-то не промах, всех в дураках оставил — вон какую деваху заграбастал, а!

— Ты небось завидуешь ему, Везеза? — поддел его Костик. — Сам бы не прочь...

— Это я-то завидую? — приподняв плечи, обиженно спросил Везезовский. — Я с женщинами цацкаться не люблю. Я быстрый, чтоб раз — и все было ясно! На то они и бабы.

— Ты не только в дизелях ни черта не смыслишь, ты еще и завистник! — прицепился к нему Костик. — Завидуешь, что вот Микуля за прогул только на комсомольском собрании пропесочили, считаешь, сухим из воды выскочил. Тебе бы только выговор, а у самого аж за ушами трещало, когда карасей уминал.

— Не о том я сейчас, про баб толкую, — огрызнулся Везезовский.

— Ишь, какой шустрый! — притворно удивился Костик. — Все ему в одну секунду.

— Ты, Костик, еще молод, — наставительно поучал помазок. — Однажды поймешь — если не пошустришь, никогда первым не будешь. Придется... обедами с чужого стола питаться.

— Дурак! — пробурчал Костик.

— Не думай, что ты первый, — Везезовский повернулся к Микулю. — Тут бывали и побойчее тебя. Она...

Микуль вспыхнул, подскочил к Везезовскому. Тот, ошарашенный ударом, замер на месте. Но потом, опомнившись, сжал кулаки, набычился и пошел на противника.

Костик, перепуганный насмерть таким оборотом дела, бегал вокруг них, пытаясь разнять, и кричал:

— Гриша, помоги! Гриш!..

Первым прибежал Ракович, растащил парней. Подоспел и Гриша.

— Что, руки чешутся? Занять нечем? Или продрогли, погреться решили, петухи? Я вас мигом согрею — марш по местам!

После смены Алексей Иванович подозвал Микуля:

— Кулаки, брат, не дело, никогда у нас такого не было и, думаю, не будет больше. Везезовского не слушай — не со зла, больше от скуки мозолит язык. Слова всегда сильнее.

Микуль молча выслушал бурильщика. Да, на охоте все было проще. А тут надо понять внутренние пружины поступков и суждений товарищей. Знать, кого принимать всерьез, а кого в шутку.

Спустя несколько дней Везезовский сказал с напускной грубостью:

— Ты... ну, забудь этот случай. Характер у меня дрянь — прилипчивый какой-то.

Микуль понял, что тут не обошлось без Алексея Ивановича.

Теперь он часто думал о Наде, и от этих мыслей голова шла кругом. Отчего это мысли бегут к ней? Почему она одна идет на ум? В Ингу-Ягуне тоже много красивых девушек, но ни одна из них не заставила сильнее забиться сердце охотника. Может быть, был слишком занят, некогда было думать о них? А вот Надя... Она и похожа на ингу-ягунскую девушку — немногословная, проворная в работе, и не похожа; у нее много дум

в голове. И думы все крепкие, основательные — вот захотела стать геологом, значит, станет геологом. Ничто ей не помешает, все она может: женщина, а сильная. Ему же, Микулю, никак не совладать с собой: с одной стороны чистая тайга, тихий Ингу-Ягун, сестры, мать и бабушка, с другой — таинственная «черная вода», загадочная лаборантка Надя, любимый учитель Александр Анатольевич. Каждая сторона тянет к себе — куда же деваться охотнику. Да тут еще сердитый голос буровой, еда с запахом железа, дымный и пыльный воздух, свечи, хорей Манкв-ики, бессмысленно бегающие вниз и вверх. Опять же старики охотники в Ингу-Ягуне: придешь раньше времени с буровой — засмеют, мол, железо победило его — и пойдет молва про Микуля, как об охотнике несерьезном, у которого «слово некрепкое». В селении не любят таких людей. Вот если вернется к первозимью, все рады будут, никто не осудит — человек вернулся на свои угодья, где уже «поспел» и зверь, и птица... Да, хорошо Наде — у нее мысли не разбегаются, по одной тропе за геологами идут.

Но теперь он видел в ее глазах не только весь мир, но и себя. Это много для Микуля значило — в первый раз увидеть себя в глазах любимой девушки.

А ведь на недавнем комсомольском собрании она выступала так, что от одного ее вида Микуля прошибал пот, — словно он был ее первейшим врагом. Но, однако, пронесло — сделали строгое предупреждение.

Опять же Алексей Иванович слово сказал, себя признал виновным, что не ознакомил новичка с трудовой дисциплиной на вахте.

Вскоре Микуль сделал еще одну оплошность, как он считал, чуть ли не преступление. Все началось с нового бурильщика Уханова. К новичкам всегда приглядываются — что за человек, чем дышит? А Уханов

понравился всем. Правда, буровую он не оглядывал с любопытством — сразу видно, бурильщик бывалый. Не привлек его внимания и могучий сосновый бор, на который засматривались все, впервые прилетавшие на эту скважину. Не заметил он и речушки с березками. Только на вышке задержался его равнодушный взгляд. Сонные серые глазки оживились, остро блеснули, словно наткнулись не на мазутную вышку, а на волшебное дерево с необыкновенными плодами.

— Два года работал бурильщиком, а всего мне двадцать три! — сказал он Кузьмичу.

«На подъем вроде бы скорый, — с удовлетворением отметил мастер, всматриваясь в его маленькое костлявое личико, покрытое едва заметной сеточкой нервных морщин. — Только вот... Всего двадцать три, а посмотришь — старик».

— Отдохни, а с четырех на работу, там опытный бурильщик, пройдешь испытание.

— В главке меня приняли, а не в экспедиции! — с нажимом на первое слово начал Уханов. — Могу сразу!

— Насколько я знаю, в главке нет буровых, — спокойно заметил Кузьмич. — Может, сейчас поставили?

— Ладно, уговорил! — поморщился Уханов. — Я к слову сказал, зачем, подумал, время убивать на испытание.

Оказался он парнем общительным, веселым в меру. Быстро сошелся со всеми, знакомство с кем считал не лишним. Смотрел на всех свысока, пренебрежительно. Но ему простили высокомерие — он знал множество анекдотов, умел их рассказывать. А в таежной глуши особый спрос на хорошего собеседника.

— Дружочек! — фамильярно, подстраиваясь под его тон, спросил Вerezовский. — Скажи, как ты догадался променять теплый край на холодный? Что, так сказать, побудило на столь благородный поступок?

— Зависть к тебе! — рассмеялся Уханов. — Ты тут деньги лопатой гребешь и ордена получаешь! Карман не дырявый и почет, не много ли?!

— Ошибся адресом, дружок! — хихикнул помазок. — У меня нет ничего! А больше ничем не интересешься?!

— Думаешь, за туманом приехал? — воскликнул Уханов. — Нет, братец, прошли те времена!

— Кто тебя знает, может, говоришь одно, думаешь другое. Может, подвиг какой совершить мыслишь... Трудовой или...

— Насчет трудового я не против! — откликнулся новичок. — До работы я дюже злой, люблю работать.

— А дома чем плохо было? Работа везде одинаково ценится! — спросил Микуль.

— Не скажи... У нас там жмут нефтяников. Вкальываешь, аж весь в мыле — получишь прилично. А на следующий месяц, смотришь, увеличили норму, расценки не те. Пуще прежнего надо вкальывать, чтобы опять же прилично вышло. Оборудование то же самое, старое, производительность на нем не повысишь. Потом уж мы умнее стали — давали столько, сколько надо, чтоб, значит, не срезали. Тут ведь нет такого?

— Что твое, то твое.

— Выходит, и вы не туманы тут ловите! — Уханов обвел всех торжествующим взглядом. — А я-то думал: романтики тут все. Батеньки, кричу, куда я попал?! А строители как? Я братана привез, плотником устроил.

— На этот раз не прогадал, — ответил Костик. — Наше от нас не уйдет, знаешь пословицу...

— Что там пословица! — фыркнул новичок. — Я вам лучше анекдот расскажу новенький, со смаком. Значит, так...

Рассказывал он мастерски. При этом сам смеялся сухим продолжительным смешком.

Вечером, раздеваясь, Костик вспомнил новичка:

— Складно врет, приятно слушать!

— Мало ли что он болтает! — усмехнулся Алексей Иванович. — Лишь бы знал свое дело. Может, будет неплохим бурильщиком, хватка у него есть. Суетлив, так-то по молодости, со временем пройдет.

— Дергается туда-сюда, как на пожаре! — заметил Микуль.

— Хочешь, чтобы сразу ровно заработал! — заметил старый бурильщик. — Такого не бывает, опыт со временем приходит, когда руку набиваешь. Когда-нибудь он поймет — от спокойной работы толку больше, чем от спешной. Вот тогда станет настоящим бурильщиком. На словах это не объяснишь. Спешка ведь тоже бывает разумная, когда человек один делает свое дело. А когда все зависит от многих людей — надо обмозговать, что к чему, как все лучше устроить.

— А как же вы?

— Думаете, я в рубашке родился? Нет, меня тоже время научило. Если двадцать лет держишь ручку тормоза — к чему-то должен прийти. Хочешь не хочешь! Так ведь?

— Байщик он первого сорта! — сказал Верезовский. — Только психоватый какой-то: орет почему зря!

— Но у него хватка есть — это главное. А что орет — так все мы не ангелы!

— Я ангел! — сказал Костик.

— Спи, ангел, — пробормотал Алексей Иванович, укладываясь спать. — Може, ангельша приснится. Или рано тебе такие сны видеть?

— Приснится — я тебя на помощь позову, Алексей Иванович! — засмеялся Костик.

— Куда меня, старика! Вон молодые есть — Гриша или Микуль! — сказал бурильщик. — Спи.

А из соседнего балка доносился хохот — это Уханов развлекал свою вахту.

Новый бурильщик, казалось, ничего плохого не сделал Микулю, но отчего-то не лежала к нему душа. Он напоминал таежного зверька норку, шустрого, смышленного, но притронься — мигом палец откусит. Может быть, причиной неприязни послужило ружье Уханова. Микуль считал, в тайге имеет право ходить с ружьем только охотник, потому что охота его кормит и поит. А тут Уханов извлек из рюкзака разобранную одностволку и пачки патронов. Старательно, как бывалый охотник, почистил и собрал ружье, пояснил: у кореша в поселке перехватил на всякий случай — кричу, в тайгу еду, как без оружия, ну, он и уступил до осени. Буровики пустили ружье по рукам, рассматривали, словно никогда не видывали такую диковинку.

— Не сезон ведь, зачем тебе ружье? — спросил Алексей Иванович.

— Как зачем? — удивился Уханов. — Тайга все же, я слышал, тут зверей полно, сами под пули прут!

— Не летом же...

— Вы все тут в меховых шапках небось щеголяете! — воскликнул новый бурильщик. — В ондатровых! выдровых! лисьих! А я, значит, жди? Непременно к зиме шапку справлю!

— Жалко, Гришиных жучек отвезли, — вздохнул Микуль. — Если б они были, тогда бы точно шкуру добыл!

— Что такое?! — заволновался Уханов. — Ружье паршивое?!

— Удачи не принесет. Загляни в ствол — увидишь! — нехотя сказал Микуль и вышел из балка.

Уханов озадаченно заглянул в ствол, повертел ружье, пробормотал:

— Кривой, что ли?!

Буровики снова осмотрели ружье и заспорили: одни говорили, что ствол и вправду кривой, видно, погнулся в рюкзаке, другие уверяли, что ружье в порядке.

— Ружье-то держал в руках? — поинтересовался Резовский. — Сам-то не видишь какое?

В армии я на «отлично» стрелял, из автомата, конечно! — серьезно ответил Уханов и тут же предположил: — Аль кореш подшутил, специально подсунул, а?

— Точно. Ты, верно, не пообещал ему шапку!

— Наш охотник Микуль собаку на этих ружьях съел, раз сказал, — значит, не будет удачи!

— Это мы еще посмотрим, — пообещал Уханов. — Все в нашей власти, кричу — и удача тоже!

Через три дня, когда Микуль на озере выискивал место для ловли окуней, в одном из заливчиков раздался выстрел. Микуль поспешил туда. Навстречу ему из прибрежных кустов вышел Уханов и крикнул возбужденно:

— Смотри — одним выстрелом уложил — вот тебе и паршивое ружье, кричу! — и бросил Микулю подстреленную утку. — Все в нашей власти!

Микуль долго вертел его добычу, пощупал клюв и перепончатые лапки, затем с крыла вытянул большое перо с синеватым мокрым корнем и стал внимательно разглядывать его, не обращая внимания на бурильщика. Тот сразу же почувал что-то неладное: недоверчивые быстрые глазки следили за каждым движением Микуля, радость на лице сменилась тревогой.

— Что, что? — нетерпеливо бормотал он. — Что нашел? Из «Красной книги»?

Когда лицо Уханова вконец вытянулось от напряжения, Микуль тихо и мрачно сказал:

— Хлопунец, — и едва не расхохотался в лицо незадачливому «охотнику», но сдержался: понимал, если

рассмеется, то Уханов уйдет, значит, не поговоришь с ним.

— Кто, кто? — не понял Уханов. — Хлопунов?! Из «Красной книги»?

И Микуль, подавив смех, принялся объяснять ему, что это утенок, который еще не летает, не окрепли крылья, бегают по воде, хлопая крыльями, — поэтому и хлопунцом называют, только хлопает.

— Ну и что — все равно мясо! — пробурчал Уханов. — Все равно утка!

— Мясо?! Да оно такое водянистое, склизкое — мясом не пахнет! Какое там мясо!

— Чучело сделаю! — нашелся бурильщик.

— И чучело не сделаешь! — обескуражил его Микуль. — Посмотри: корни перьев синие еще, мокрые, хрящ только образовался, не окостенел — сгниет чучело, не успеет высохнуть!.. Настоящие охотники никогда не бьют хлопунцов. И ты... Птиц рано стрелять и зверей рано стрелять, сейчас линяют они, шерсть обновляют, никакую шапку не сошьешь... Лучше не показывай на буровой: смеяться будут, хлопунцом могут назвать — нехорошо будет, неудачу ружье принесет, а тебе разве нужна неудача?

— Куда теперь его деть? — озадаченно спросил Уханов.

— Не знаю, — Микуль пожал плечами. — Пойду окуней ловить, хорошо клюет здесь... А тебя я не видел, ты другой дорогой возвращался.

...Время бежало, и Микуль с каждым днем все больше втягивался в «железную работу». Теперь Алексей Иванович не беспокоился за него, реже показывал ему снизу свои пышные усы — почти не смотрел. Сегодня у Алексея Ивановича разболелся зуб и он улетел на базу. Вместо него вышел Уханов. И Микуль порадовался тому, что придиричивый, жадный

до работы бурильщик не может упрекнуть его ни в чем.

Вахта вышла в утреннюю смену. Сначала бурили, потом подняли инструмент и сменили долото. Лебедка искрила и жалобно стонала. Уханов решил утереть носы «старикам»: поднять и опустить инструмент и чтобы осталось время на бурение. Может, организовать соревнование по вахтам, соображал он, это непременно встряхнет их, начнут шевелиться. А то бренчат наградами — что им надо? Вообще-то они заслужили, ничего не скажешь, это не конторские крысы, а нефтяники, разведчики! Но все равно не много выдают, а инструмент хороший, новый, можно производительнее работать.

Микуль смахнул пот, скинул беретку — новый бурильщик жмет, жарко стало. И вправду, видать, у него есть хватка! И вот когда в очередной раз верховой защелкнул крышку элеватора и потянулся за новой свечой — люльку так тряхнуло, что он чуть не вывалился из нее. Присел, машинально вцепился в бортик. Глянул вниз: над ротором темные полукруглые мазки, будто вырос вдруг лесной цветок, только черный, зловещий. Секунда — и все пропало! Под люлькой раскачивался пустой элеватор. Необыкновенная тишина давила на уши.

«Где люди, где свеча? Откуда этот черный цветок?» — лихорадочно соображал Микуль. Зажмурился до боли в глазах и снова глянул вниз. Там по-прежнему никого не было. И он помчался туда. На лестничной площадке притормозил: две фигурки, бодаясь головами, норовили заглянуть в пусто чернеющую пасть скважины. Микуль припустил еще быстрее.

— Тю-тю свечки... в скважину улетели к моей прабабушке, — хмуро сказал Костик.

— Зови мастера, — промямлил Уханов.

Был он мертвецки бледен. Верхняя губа мелко дрожала, и он закусил ее. Стал он теперь неприятным и жалким, от бывшей самоуверенности не осталось и следа, словно подменили его.

Мастер Кузьмич с непокрытой головой мчался к вышке. Растоптанные тапки чудом держались на ногах. За ним Костик сапожищами поднял пыльный веер, который волочился следом. Спешили сюда и свободные от вахты рабочие.

Кузьмич коршуном влетел на мостик.

— Правда?! — выдохнул он с надеждой и мольбой, пригвоздив Уханова к ротору потемневшими глазами. — Сколько свечей?

— Четыре... и турбобур, конечно, — пробормотал бурильщик.

Стало тихо. Кузьмич поднес к глазам руку с часами, долго смотрел на циферблат. Потом, подавив вздох, сказал:

— Пишите объяснительные, идите... сейчас смена придет.

Вся вахта вслед за Ухановым спустилась с мостков. Когда подходили к балкам, бурильщик мрачно выдавил:

— Пишите, как было. Чтоб ничего лишнего. Слышите: как было!

Никто не ответил.

Кузьмич обшарил карманы — искал папиросу, которую только что держал в руке. Ее нигде не было, а портсигар остался в балке — идти туда не хотелось, надо побыть одному. Тут он обнаружил папиросу в зубах — это неожиданно обрадовало его и немного успокоило. Нашел спички и задымил — старые шлепанцы втаптывали сизый пепел в мазутно-грязный песок. Спина покрылась испариной, а в голове не было ни единой мысли. Но это быстро пройдет. Точно такое

же состояние испытывал, когда вернулся после нефтяного техникума в Воркуту и жена категорически заявила: «Хрен редьки не слаще — никуда не поеду, сам ищи-свищи свою нефть, раз к дяде в Джанкойскую экспедицию не захотел!» И он убедился, что никакие доводы про перспективные-неперспективные районы — главные козыри разведчика — не помогут, если уж упрется, то амба! Но жена женой, а как быть, если трехлетние дочки-близнецы снятся каждую ночь?! Если из двадцати семи почти десять отданы разведке, если после техникума уже не удовлетворяли масштабы Воркутинской экспедиции на уголь, если за Уралом, почти рядом, такие кладовые, такие возможности!.. Если смысл жизни разведчика — в открытии месторождения — большого ли, малого! Если... Но влажная майка на спине отрезвляет, и все становится на свои места. Да, первая большая авария... На втором году работы мастером. В Воркуте было проще — работал помбуром и скважины на уголь не такие глубокие... Вспомни, пораскинь мозгами, Петр Кузьмич Соснинский, с чего начинал в таких случаях твой отец, у которого вся жизнь прошла на буровой. С технической стороны всякий бурильщик знает, что рекомендуется делать. Надо, чтобы верили мастеру, верили в его знания, в его силу. И начинать надо с себя... Разведка не обходится без аварий. Если ты настоящий разведчик, ты всегда рискуешь, без этого не бывает. Только опытный мастер сводит возможность аварий к минимуму, но и тут могут быть исключения. Главное — как можно быстрее выйти из аварийного положения. Если сделаешь это вовремя — считай, все простят, а на твоей совести бригада, люди... Сейчас на свечу наверх трубу-переходник, в него — метчик, потом спустят все свечи. Метчик должен попасть в ствол улетевшей трубы — буровой инструмент начнут вращать, и метчик врежется в свечу.

Если все будет удачно — можно поднимать. К делу, скорее к делу...

Кузьмич втоптал окурок в песок и поднялся на мостик.

— Думаешь, зацепит? — спросил бурильщик Кошаров, мужичок осторожный и хитроватый.

— «Зацепит, зацепит!»! — передразнил Кузьмич и, подойдя к нему вплотную, вдруг резко спросил: — А что ты думаешь? Может, магнитом тянуть, а?

— Да... я ж не против...

— Помалкивай — раз не против!

Официальное время связи с экспедицией только через два часа — надо успеть выяснить причину аварии. И Кузьмич вернулся в свой балок, просмотрел объяснительные записки.

— Черный цветок? — удивленно спросил он Микуля. — Придумал тоже...

— Но я же видел!

— Со страха тут что угодно увидишь! — вставил Костик. — Я сам чуть штаны не попортил. Такой противный звук был — аж мозги просверлило, будто бомба падает. Уханов кричит — ложись! А сам рванул от пульта. Ну, думаю, человек он армейский, знает, что делает. Ну, и скатился я с ротора, чуть лоб не расшиб. Пронесло. Звук чертов пропал, поднимаю голову — нет Уханова. Думаю, может, зацепило его свечой и в скважину уволокло. Жалко все-таки — анекдотчик хороший. Потом вижу — выполз откуда-то. Вся рожа в растворе, самому черту не брат, умора, хохотать некому было. Сообразил я, что свечи улетели. Ну, думаю, прошибут свечки землю и в Америке выскочат. Хорошо, Уханова с собой не уволокли, вот бы американцы подивились на него, чумазого... Но я все же не удержался и спрашиваю его: «Надя, что ли, раствором угостила? Как она там?» Он, конечно, отпра-

вил меня куда следует. Но я не в обиде: очень уж он смешон был...

С Костиком серьезно говорить нельзя. Тут такое на душе, а он знай себе смеется. Привык, наверное, к железу. А Микуль вот все еще не может привыкнуть, все шишки на него валятся — авария, драка, прогул, потянул черт на рыбалку, на карасей несчастных.

Ночью Микуля вдруг словно озарило: «Может, я плохо захлопнул крышку элеватора, поэтому свечи убежали в отверстие земли — скважину? Уханова считают виновным потому, как бурильщик, отвечает за все. И он все торопил, торопил — разве в этом его вина? Что же делать? Если их не вытащить — надо, говорят, начинать новую скважину. Почти две тысячи метров пропали. Это, наверное, как две тысячи белок! А может, и дороже — вон как побледнели Кузьмич и Уханов, потемнел лицом Гриша, стал костлявее и злее Везезовский, помрачнел «директор» Жора... Может, как раз подбирались к нефти и тут... Сколько, однако, сил потратили, сколько потной воды ушло! И все, может быть, из-за одного человека — крышку проклятую плохо закрыл! Тогда, выходит, я виноват...» Привязалась эта мысль и не давала покоя: скреблась, скреблась, отпугивала сон-колонок. Надо, видно, сказать, что Уханов не виноват, а виноват он, Микуль. Но стоит ли об этом говорить?! Кто, кроме него, верхового, знает, что виноват он?!

С детства Микуль не знал лжи и сейчас подумал, что предкам легче было прожить честно, поскольку тогда не знали ни буровых, ни нефти, ни аварий, ни разведчиков. Но тут пришла мысль, что они, как Микуль, не учились грамоте, не читали книг, вроде бы спрос небольшой, а тем не менее...

Микуль вышел из балка, все равно не уснуть. Ночь теплая, темная и мягкая. Тихо урчит буровая.

Выцветшими от дождей стенами белеет женский балок. Надя, верно, спит, как младенец, улыбается или хмурится во сне. Кажется, впервые помирились тайга и буровая. Помирились ненадолго, до утра, но какая тишина и покой! И со всем этим придется расстаться. Пожалуй, с позором прогонят. И Надя будет смотреть насмешливо, со скрытым презрением, как в первый день. Стоит ли рисковать? Кто узнает, что именно он совершил аварию? А Наде ведь не совершь... И оранжевый колонок не вернется к человеку с нечистой совестью, не вернется.

Мастера Кузьмича он разыскал на мостках и, обреченно вздохнув, выложил все, о чем думал.

— Чудак ты, чудак! — удивился Кузьмич. — Как с открытым элеватором бурильщик поднял свечу? Как бы наращивал ее, а? Свеча вывалилась бы прежде, чем он успел поднять. Думаешь, если мастер, так только перебирает бумажки и кричит в радиотелефонную трубку. Я, брат, на буровой сам прошел путь от буррабочего до мастера, так что не забыл еще, чем дышит верховой, бурильщик, дизелист. Так-то вот, друг любезный... А виноват здесь Уханов, спешил, не дал хорошую нагрузку — блок с элеватором раскачивался и задел палец. Не видел, что ли, согнулся палец-то!..

«А ведь верно, — подумал Микуль, — как же я раньше не догадался об этом. А еще верховой! Считал, что все уже знаю».

Наутро буровая завертелась чертовым колесом. Нагрянули всевозможные комиссии, крупное и мелкое начальство, специалисты по авариям, технике безопасности, противопожарной системе. Никто из рабочих не знал толком о них. Буровая словно вот-вот должна взлететь в воздух, и эти специалисты призваны предотвратить катастрофу. Во главе этой армии главный инженер Покровский, круглый маленький

крепьш, необыкновенно энергичный и быстрый. Буловики любили его за преданность разведке, за твердый нрав. Про остальное, что не касалось разведки, молчали...

Прилетел и выздоровевший Алексей Иванович, спокойный и неторопливый.

— Ну, что, хлопцы, заварили кашу? — спрашивал он, натягивая спецовку. — Что носы-то повесили? Авось не полегчает от этого. Кузьмич, наверно, виноват: молодой еще, вот и нагнал тоску. А она, други, плохая помощница разведчику, плохая...

— Теперь полегчает! — уверил Костик, и рот его растянулся в улыбке.

Все смешалось на буровой: в одну смену выходили сразу две вахты, не замечали, когда уходит солнце и приходит Белая Ночь, когда наступает время ужина и завтрака — «директор» Жора всегда на месте, напроць забыли про отдых и выходные дни, не искали ни правых, ни виноватых, не замечали ни комаров, ни мошкеры — не до того было: надо спасать скважину. Буровая, как один богатырь-разведчик, боролась, по выражению тети Веры, с той «нечистой силой, что свечи уволокла в преисподнюю».

Противники пока были равные — ни та, ни эта сторона не хотели уступать. Борьба становилась все ожесточеннее.

...Микуль отшвырнул каску в угол площадки: сегодня он окончательно убедился, что работать в ней невозможно. Голова — будто надутый шар. Каска задевает все, что поблизости, и при этом гулко звенит. И кажется, что звенит голова, которая совершенно пуста. Тут и взаправду можно тронуться.

Снизу прибежал Костик, тоже в каске.

— А где твоя каска? — закричал он. — Тебе тут хорошо — никто не видит, а я там попробуй сними...

— Там что, делать нечего?

— Ну да! — съехидничал Костик. — По тебе соскучился, вот и прибег!

— Немного опередил, я сам хотел спуститься к тебе!

— А? Не видишь — совещаются! — Костик махнул рукой вниз. — Вот я и смылся на минутку. Этот Покровский знаешь какой — он из нас все жилы вытянет! И не уедет, пока аварию не ликвидируем.

На мостках около главного стояли Кузьмич и Алексей Иванович. На Покровском мешковато сидела новая синяя телогрейка. На коротко остриженной макушке круглая черная беретка. Левую руку держал в кармане, а правой энергично жестикулировал, будто рубил фразы. Сверху совсем круглый — чистый колобок из детской сказки.

— Нас заставил проклятые котелки надеть, а сам без каски стоит. Давай спустим ему на голову кусок глины, сразу наденет, — предложил Костик. — Пусть узнает, каково в этом котелке! Ведь настоящий буровик надевает каску два раза за смену — когда на работу идет и когда обратно.

— А если череп пробьет? Не надо, где такого главного потом найдешь?

— А пусть не бегаёт за моей сестрой Зинкой. У самого, говорят, жена есть и дети.

— Лучше скажи, что там про аварию слышно — вытащим или нет?

— Обязательно, а если нет, передвинем буровую и рядом новую скважину начнем. Покровский так сказал.

Тут Костику помахали, и он умчался вниз. А Микуль вспомнил черный цветок, что несколько мгновений висел над ротором в день аварии. Он знал теперь, что это был след свечи, которая, вращаясь, уходила в скважину и оставляла черные круги. Но ему показалось,

что это было видение нефти в образе черного цветка — из земных глубин нефть подала свой знак только ему, верховому. Может быть, новое месторождение, такое, как Самотлор?..

А несколько дней спустя длинная металлическая трубка — грунтоноска — принесла из двухтысячной глубины керн, плотно спрессованные куски песчаника и глины с бьющим в нос ароматно-чистым запахом бензина... После этого многопудовые свечи показали Микулю послушными и легкими.

...В девять вечера зацепили улетевшие с турбобуром свечи. Начался подъем инструмента. Лебедка не искрила, поднимали с большими предосторожностями, не дай бог метчик плохо нарезал резьбу и свечи снова отвалятся. Кузьмич и Покровский не отходили от вышки. Но все обошлось благополучно.

Уханову объявили выговор. Поспешил, конечно, говорил он, до работы дюже злой, но невезучий. Да еще это чертово ускорение подгоняло! Поспешил, а не то показал бы, как надо работать — тут всесоюзный рекорд можно поставить!..

Вскоре он перевелся в другую бригаду, разведчики сразу же позабыли о нем, только изредка вспоминали его анекдоты.

10

Поутру мастера Кузьмича разбудил отчаянный вопль: «Вай-вай, мама!» Тут вопль перешел в истошный вой, будто кого-то жарили на костре. «Кого там черт...» — пробормотал Кузьмич. Его словно сдуло с постели — в одних подштанниках бросился на помощь. Вылетел из балка и остолбенел: в окно кухни наполовину влез огромный бурый медведь. Похолодел Кузьмич. Но надрывный стон из кухни отрезвил его — надо

спасать повара Жору. Мастер крутанулся на месте — чем бы огреть незваного гостя, но под рукой ничего не оказалось. «Собаку, Чомбе!» — сообразил мастер и кинулся в балок.

Жора встал минут пять назад, сонно гремел кастрюлями, потом зажмурился и так растянул рот в зевке, что-то хрустнуло. Открыв глаза, окаменел: мохнатая лапа разрывала на окне марлю и тянулась к мясу, лежащему на столе. Жора выронил нож и метнулся в дальний угол, где стояла плита. Вскочил на нее и завopil благим матом. Но тут, опрокинув сапожищами кастрюлю с жирным вчерашним борщом, заскользил, потерял равновесие, затрепыхался, будто карась на сковородке, и скатился на пол под дружный звон кастрюль и бачков.

Медведь, негромко рыча, отправлял в пасть кусок за куском.

Кузьмич вытащил на улицу щенка, остальные собаки запропастились куда-то. Стал науськивать на медведя. Но щенок задрожал пуще хозяина. И как только тот выпустил его, бросился под балок и жалобно завыл.

Микуль, чуткий к собачьему лаю, тут же проснулся и понял — что-то случилось: щенок под полом выл хрипло и прерывисто, словно хотел замереть, вращая в землю, но в то же время от страха не мог молчать. Микуль быстро оделся и выскочил на улицу.

Обрадовался медведю, будто старому приятелю, удивился: «Жору грабишь, озорник ты этакий! Не побоялся пекла — ай да пупи!¹⁵ Тоже пришел на «железную работу». Медведь маленькими подслеповатыми глазками покосился на охотника, заурчал тихонько, что значило «не мешай», и продолжал свое дело. У охотника мелькнула озорная мысль: копьё. Ведь дед

¹⁵ Пупи — медведь: так называют его только опытные взрослые охотники, но не женщины и дети.

Ковахн-ики всю жизнь ходил на медведя только с копьём, ружья на буровой все равно не было — не сезон. Микуль кинулся к кухне: там, за углом, под бревнышками, когда обшивал навес, в куче разного хлама видел железный прут с заостренным концом — чем не копьё! Он начал раскидывать пустые ящики, щепки, добрался до «копья», потянул — но один конец запутался в проволоке.

Медведь угрожающе рыкнул — «не подходи».

Кузьмич метался из стороны в сторону, размахивал руками, как крыльями ветряной мельницы. «Жив ли повар? Почему не слышно? Что делать с медведем? Как прогнать?» Он был похож на сумасшедшего: пособачьи лаял на медведя, рычал по-львиному, барабанил по дну тазика кулаком, как шаман в бубен, дабы взять зверюгу на испуг. Но медведь и не думал бросать свою добычу: видел, что человек безоружен, — значит, не опасен.

Зверь лакомился сочащейся кровью говядиной, предназначенной на обед.

Когда Кузьмич уже совсем вышел из себя и готов был кинуться на медведя с кулаками, из балка выскочила лаборантка Надя с ковшиком воды. Сообразив, в чем дело, Кузьмич влетел в женский балок, вырвал горячий титан и пулей вылетел обратно.

Тетя Вера, прижав руки к груди, смотрела вслед мастеру и шептала:

— Спятил, что ли... Осподи, осподи, спятил... Осподи, опять лает!

Но Кузьмич опоздал, медведь с воем мчался к лесу.

«Вот это девушка! — с уважением подумал Микуль. — Настоящая жена охотника!»

— Ошпарила?! Молодец! — радостно закричал Кузьмич. — Вот молодчина, золото, а не лаборантка!

— Где Жора? — прервала его Надя.

Они ринулись в кухню: у плиты на полу, гремя посудой, корчился повар.

— Ай, Жорочка, живой!

— Душа не живой, зад не живой! — простонал до- блестный повар.

— Укусил?! — побледнел мастер.

— Не, не укусил!

— Кажется, он обжегся! — заметила девушка.

Они взяли повара под руки и повели в балок.

Тут прибежала вахта, работавшая в ночную смену. Встали рабочие, поднятые суматохой. Увидев повара, все оживились:

— Жив, братцы! Жив!

— Раз жив, завтрак будет!

— Мишку зря упустили, шашлычок бы...

С повара сняли штаны и уложили его на полку. Кузь- мич смазал ожоги.

— Слава богу, легко отделался!

Жора неожиданно заерзал на месте, запричитал, порываясь встать.

— Бруки, бруки... новые бруки!

— Радуйся, голова на месте! — проворчал мастер — Медведь из тебя шашлык чуть не сделал, а ты — бруки, бруки...

— Два глазочка на твоих брючках! — порадовался Костик. — Это подарочек от мишки. Ты все хорохорил- ся: «Я охотник!» — вот он и пришел.

— А брюки он надел ради новой лаборантки! — улыбнулся Вerezовский.

— Теперь амба! Смотреть на тебя не станет, опозорился! — подвел итог Костик. — Может, «Москвич» спасет положение?!

— Пошли вы все... — выругался Жора.

— Эх, не помогли тебе брючки, Жора! — притворно вздохнул Вerezовский. — А Кузьмич, гляди-ка, успех

имеет у женщин — все утро в одних подштанниках бе- гает, и ничего!.. — он покосился на мастера, который все еще был в кальсонах.

— Небось сами дрыхли, когда медведь мясо жрал?

— Вай, болит! — задыхался Жора. — Как спать, как?

— Ничего, на брюхе полежишь, полегчает, — успо- коил Кузьмич.

— Хорошо — не надо по утрам будить! — протянул Вerezовский. — Я его по утрам с трудом поднимаю. Медведя и то быстрее разбудишь...

Несмотря на ожоги и попорченные брюки, Жора стал героем дня. Провалился до обеда, а ужин пригото- вил сам. За ужином и рассказывал про утренний визит медведя:

— Я его, значит, вилкой в морду тыкаю, тыкаю! А он вилку лапой — съел, наверное. Я кричу — уби- райся, убирайся, черт! И ножом его, он и нож украл. Руку чуть не откусил, все лезет, все рычит. Тогда я его мясом...

— Выходит, ты, Жора, сам ему мясо скормил, а? Вот так директор...

— Не я кормил, он сам ел...

— Не хватало, чтоб ты ему еще и разжевывал! А на плитку, Жора, тоже медведь тебя посадил, а?!

— Он мясо жует и дверь тянет, я кастрюлю хотел...

— Ну, понятно — ты его борщом хотел угостить!

Рабочие от души смеялись, похлопывали повара по плечу. А Жора всю старался и каждый раз, разу- меемся, добавлял что-то от себя, не повторялся...

— Если придет еще, я вас шашлыком кормить буду! — уверял Жора. — Теперь не испугаюсь! Знаю, что делать.

— Надо было мешок ему на голову надеть, когда в окно сунулся, — поучал Алексей Иванович. — И по- вел бы в амбар, завяз бы он в растворе, справился бы!

Вечером, когда Микуль и Надя сидели на берегу речушки и в наплывающих сумерках прислушивались к мелодичной песне воды, девушка вдруг тихо спросила:

— Ты зачем так близко к медведю подошел? Он мог...

— Он же смирный! — улыбнулся Микуль. — Не хотел он драться.

— «Смирный»? — изумилась девушка. — Откуда ты знаешь, что он смирный?

— У него уши были! — удивился Микуль тому, как это можно не знать, «злой» медведь или «смирный».

— У всех зверей уши, разве на них написано, какой он.

— А у медведя иногда не бывает ушей, — принялся объяснять Микуль простую истину. — Если ушей не видно, прижаты к голове, — значит, он вред сделать хочет, не отступит: кто-то один победит — или он, или человек. А если уши видны, торчат в стороны, — значит, не тронет...

— А мне так страшно было! — призналась Надя. — На уши совсем не смотрела... Я ведь медведя только в зоопарке видела. Там он такой добренький, забавный!

— Он и в лесу добрый, только очень сердится, когда его ругают или дразнят!

Через три дня после этого случая была зарплата. Жора вернулся с базы возбужденным, веселым.

— Ты, Жора, сверкаешь, как самовар моей прабабушки! — заметил Костик.

А под вечер в лесу за столовой кто-то взревел нечеловеческим голосом.

— Медведь... — Кузьмич схватил дубинку и помчался в лес.

Остальные, похватав, что под руку попало, кинулись за ним. На ходу выясняли, кто бы это мог так кричать.

— Виделя, Жора туда подался!

— Жора?! Не может быть...

— Быстрее, медведь повара украл!

— Со страху, верно, орет!

— Да быстрее вы, черти нерасторопные! — подгоняла мужиков тетя Вера. — Сожрет его окаянный!

— На кой черт он полез туда? Сидел бы у плиты!

— Шашлычка захотел, на охоту пошел!

Микуль, подхваченный криком «медведь», бежал вместе со всеми, хотя и видел: собака, которую Гриша тащил на поводке, не чует зверя.

В подлеске соснового бора они наткнулись на повара. Вокруг огромного трухлявого пня, низко наклонив голову, ползал Жора. Он всхлипывал и самыми последними словами поносил кого-то. Под мышкой он крепко зажал пустую банку, а грязные руки мяли, крошили, перемешивали с песком бледно-зеленоватый ягель. Вдруг Жора метнулся к ямке между корневищами и принялся яростно копать ее скрюченными пальцами. Светлый боровой песок летел на развороченный ягель, на кусты, на гнилой мшистый пенёк. Будто колдун, повар все глубже и глубже вгрызался в бор: добрался до ярко-оранжевого песка, который кровянился в его руках, запекался сгустками.

Тетя Вера схватила его за руку, ласково позвала:

— Жора!.. Пойдем отсюда, Жора!..

Он мутными глазами уставился на нее, словно впервые увидел, и силился понять, кто эта женщина.

— Да помогите же, олухи! — закричала она.

Тут все загалдели разом и бросились на помощь. Поставили повара на ноги.

Только к вечеру узнали суть происшедшего.

— Деньги у него медведь сожрал! — сказала тетя Вера.

— Деньги?! — удивились рабочие. — Какие это деньги?! Как они туда попали?! — все повернулись к ней.

— Что уставились-то? Давно не видели? Деньги. Сложил в целлофановый мешочек свою получку, а мешочек — в банку из-под варенья и в яму под пнем закопал. На базе сберкасса закрыта была. А этот паршивец, видишь, учуял сладкое-то. Выкопал и сжевал деньги с мешочком. А может, проглотил сразу же, кто знает. Следы там остались, а денежки пропали.

— А зачем он их там прятал? — удивился Костик. — У нас на буровой, кажись, ничего не терялось...

— Пожара боялся! — ответила тетя Вера.

— Резонно! — заметил Вerezовский. — При мне несколько балков сгорело. Деревянные зимой хорошо горят.

— Умнее всех оказался, однако...

— Молчи! — отрезала тетя Вера. — У человека горе, а он...

Кузьмичу стали приносить деньги в «медвежий фонд», на другой день мастер вручил их Жоре. Но тот вскоре уволился и уехал.

Без Жоры на буровой стало скучно и неудобно — как-никак «директор» «Шарошки» развлекал буровиков, рассеивал скуку в таежной глуши.

11

Заступила в свои права Луна спелой ягоды¹⁶. Давно переспела и «капнула» в мох царица болот — янтарно-головая морошка, побледнела и сморщилась сладкая голубика. Набрала силу бордовая брусника на сосня-

¹⁶ Луна спелой ягоды — август.

ках и огненноглазая рябина в затихшем чернолесье, а голосистые кедровки, припасая орехи на долгую холодную зиму, от зари до зари прославляли божественное дерево — кедр. Олени рысцей носились по борам, гонялись за жирными аппетитными грибами, щедрым даром этого времени года. Сурты хорыт¹⁷, готовясь к любовным играм, окостеневшими рогами терлись о стволы сосенок — снимали с них бархатную кожуцу. На них бесстрашно таращили глаза еще глупые выводки рябчиков и глухарей. По утрам уже выпадал иней, и лес становился звонким и чистым, манил в таежные дебри.

Микуль жадно втягивал запах прелой листвы, с тоской посматривал на озолоченное заречье, поблекшее болото, посвежевший сосновый бор... Взять бы ружье — и... Но он подавлял в себе это желание. Он теперь знал: здесь, на буровой, он как бы в упряжке. Если один плохо тянет — тяжесть ложится на плечи других. Нет, Микуль не привык отлынивать от работы, сваливать ее на других... Он крепился изо всех сил, хотя беспокойство, будто осторожный горноста́й, крадывалось в душу. Даже ночью он чувствовал, как с Севера, из-за далеких болот надвигается на тайгу осень, а за ней — день перевозимья, самый дорогой для охотника день. Вот и снятся уже легконогие олени, хрусткие серебряные снега, Новый год и дедушка Ковахн-ики. Упряжка его мчится за звездами, обгоняя быстрые ветры, деревья и снежный вихрь. Застоявшиеся олени, словно крылатые птицы, парят в облаках. В их гордых рогах запуталась круглоликая, умытая декабрьским морозцем Луна. Она чуть покачивается в такт оленьему бегу. И охотник не решается поднять хорей, боясь зацепить ненароком небесное светило.

¹⁷ Сурты хор — полуторогодовалый самец оленя.

Он спешит, он очень спешит в свой таежный Поселок. Сегодня весь день наряжали в школе елку. А вечером, когда опустятся сумерки, зажгутся фонари и вокруг елки пойдет хоровод, поскачут зайчики, медведи, лисы и другие неведомые звери-птицы.

Среди них, конечно, будет и его внук Микуль, спрячется за «лицом» какого-нибудь зверя. Но дед, на то он и следопыт, все равно узнает внука среди детворы. Поглаживая седую бородку, будет сидеть у стены среди охотников и смотреть, как резвятся дети. Уши ловят негромкую музыку, детский смех, серебряный звон елочных игрушек и шелест снежинок за окном. Ему уже видится, как после праздника внук принесет ему диковинный кулек с подарками Деда Мороза и он умчит мальчишку в свое охотничье зимовье, чтобы во время каникул учить его языку тайги.

Так было в прошлый год, так будет и в этом году!

Старик взглянул на звездное небо и тихонько запел. У него было три думы, три песни. Первая дума-песня уводила его назад, в далекое прошлое. Вот в такую же гулкую прозрачную ночь он вытащил отца-охотника из медвежьей берлоги, куда тот провалился в темноте, до восхода луны. Потом затащил его обратно, ибо в тайге не выжить без огня, а в берлоге хорошая подстилка. Сидел и ждал утра и не знал, что ждет Дня Нового Года. В его народе тогда и слухов не было, что есть такой праздник — Ильп Ол Хатл¹⁸. Знали только, что в середине зимы медведь просыпается в берлоге, сосет «большой палец», поворачивается на другой бок и снова засыпает до весны.

Вторая дума — это песня о себе. Вот рождается День Нового Года, вот я мчусь на упряжке белых оленей за этим днем, вот я мчусь так быстро, что подгоняю хореом золотую Луну. Но я, видно, все старею, все ста-

¹⁸ Ильп Ол Хатл — День Нового Года.

рею, старею: сегодня бежал за огненной хитрой лисой и совсем позабыл про День Нового Года, но лиса вдруг напомнила мне о нем, и я бросился домой запрягать оленей — спасибо лисе! Пусть и она, и заяц, и белка, и соболь проворный встречаются и провожают этот большой день. А я встречу этот день с внуком у красивого и веселого дерева, которое зовут елкой.

И третья дума — это песня о внуке. Он учится в самом Большом доме Поселка, который, как и человек, имеет два имени — Школа-интернат. Он, внук, уже одолел строчки-следы в толстой мудрой книжке «Букварь», и теперь ему все под силу...

Тут он оборвал свою думу-песню, повернул старческое лицо к небу — Курынг-воих¹⁹ почти над головой: скоро приедет на звездной упряжке День Нового Года.

Старик взмахнул хореом — олени рванулись вперед. Далеко, между стволами сосен, замаячили огни Поселка. Там он услышит продолжение думы-песни о внуке...

Удивился Микуль: до Нового года вон сколько дней, а надо же, зима уже напоминает, чтобы он вернулся на дедовскую тропу. А дед? Мудрый был старик, обо всем у него своя песня, а какую бы песню он сложил про буровую, про внука, который ушел на «железную работу»? Ведь он много понимал и смотрел на жизнь как на восходящее солнце — в тайге становилось все теплее и светлее.

Тут с грохотом распахнулась дверь, и в балок ворвался Костик.

— Микуль! — заорал он радостно. — Я лосей убил! С большими рог-гами! Пойдем, разделать надо, ты умеешь! Тут, недалеко, на бору. А рога-то, рога! Вот какие, глянь!

¹⁹ Курынг-воих — буквально: пеший (ногастый) зверь — со-звездие Большая Медведица.

— Настоящий охотник так не кричит, — спокойно заметил Микуль. — Есть удача — хорошо, нет удачи — ничего не сделаешь, не показывай радость и горесть, при себе держи...

— Не могу я держать! — вопил Костик. — Первый раз я лося убил. А рога-то! Жора не угостил шашлыком — я вас накормлю.

Микуль отыскал свой острый охотничий нож, сунул за пояс топорик, чтобы срубить жерди для переноски мяса, и вышел из балка.

Собрались все свободные от вахты рабочие и двинулись за Костином. А тот, не чуя под собой ног, захлебываясь, рассказывал:

— Их там было десятка полтора, смотрю, бегут прямо на меня. Ну, я сначала испугался, про тозовку забыл, рябчиков выслеживал. Потом вспомнил — рванул сплеча — хлобысть! — не попал, руки тряслись. Потом еще, еще — только щелкать успевай. А они уже близко. Тут я свалил одного, потом еще двух. Меня аж в жар бросило! В такой азарт вошел, в такой азарт! Кончились патрончики, а лоси-то убежали, не то бы я всех перестрелял, на год бы мяса хватило! Во... я вам не Жора!

— Ты же рябчиков даже не приносил... — кряхтел Алексей Иванович. — Посмотрим, посмотрим, что ты добыл!

— Мне тоже что-то не верится в твою удачу, Лирин, — сомневался Кузьмич. — Когда-то и я ходил на лосей, знаю, как их берут.

— По-моему, он там Гришиных жучек перестрелял! — вставил Вerezовский. — С радости они рогатыми показались. Эти рога ему уже на собственной голове снятся, свихнулся совсем!

— Сами увидите, если не верите! — кричал Костик. — Вон, за теми кустами.

— Ты бы вместо лосей Жориного денежного медведя разыскал, раз такой лихой охотник, — пробасил Гриша Резник. — А что лоси — они не рычат, когтей у них нет!

— Доберусь и до мишки! — пообещал Костик. — Когти есть, зато рогов у него нет! Рога — мне первейшее дело!

Микуль молчал. А когда увидел добычу Костика — трех подстрелянных почти в упор оленей — двух важенок²⁰ и олененка, у него перехватило дыхание. На уши тяжело давила тишина. Только глаза бессмысленно рыскали по поляне, перескакивая с туши на тушу. Остановились на олене с белой отметкой на лбу. Она замедлила на мгновение и снова начинала бить копытом по кроваво обнаженному корневищу сосны. В глазах, все еще выразительных и живых, металось опрокинутое небо, а на ресницы сползала предсмертная капля — в ней билось далекое беспомощное солнце.

Рука сама собой потянулась к топору.

— Ты дерьмо охотник! Дерьмо человек! — Микуля словно прорвало. — Пошто домашнего оленя убил, а?! Пошто стрелял, говори?! Где твои глаза? Где твой ум?!

— На лбу не написано...

— Как не написано?! Как?! Слепой, что ли?! На ухе написано: видишь, видишь — пос²¹ есть! Левое ухо — пос, правое ухо — пос! Видишь, а? Пошто ружье поднимал? Пошто не думал, а?! Где оленя возьмешь, а?! Где...

— Деньги...

— Трактор купи, вертолет купи, а оленя где возьмешь, а?! Трактор — пои, корми, вертолет пои, корми, олень сам кормит человека! У трактора шкура есть? — нет! У оленя — есть! У трактора мясо есть? Нет у трактора мяса, у оленя есть! Худой ты, однако, человек,

²⁰ Важенка — самка оленя.

²¹ Пос — метка.

Коска! Сердце худое, ум худой, весь худой... У какого лося ты видел такие рога?! Лосиный рог в твою... не полезет, а этот в самый раз подойдет...

— Да, Костик, отмочил ты номер почище Жоры, — покачал головой Кузьмич. — Как-то теперь расхлебывать надо.

— Я... хотел... — пробормотал Костик, опустив голову.

Алексей Иванович молча тербил усы. Остальные тихонько переговаривались: как быть?

— Сначала надо похлебать, а потом уж расхлебывать! — предложил Везезовский. — Зачем добру пропадать? Где наш охотник-то? Не хватила его кондрашка?!

Но Микуль уже давно плюнул на все и умчался прочь. Потом, немного успокоившись, вспомнил, что ни один буровик, пожалуй, не умеет по-настоящему разделять оленя. Чего доброго, начнут с внутренностей, все перепачкают, а шкуру уж обязательно попортят — кто лучше охотника управится с этим делом?! Опять же... сыщется хозяин — совхоз ли, колхоз, — шкуры всем нужны, из них сошьют малицы, шубы, кисы. Может, это Степановы олени?! Вот так удружили! Метка есть — хозяин найдется...

И Микуль вернулся на проклятую им поляну: бедных оленей все равно теперь не оживишь.

...В последние дни ходил он хмурый, ни с кем не разговаривал. На вышке тоже кое-как разворачивался: словно лопнула в нем какая-то пружина, без которой на «железной работе» выстоять невозможно. Опять снились Ингу-Ягун, дед и лесные звери-птицы в первозимье. И каждую ночь две важенки и олененок, только живые.

И опять заартачился оранжевый колонок, напугали его крепкие думы-раздумья: куда ты смотрел,

таежник, когда под боком убивали домашних оленей? На то ты и хозяин, чтобы следить за порядком в тайге. А может, на каждую буровую определить охотника, который смотрел бы, чтобы не обижали зверей и птиц, не портили реки и озера? Он бы учил буровиков, показывал им, где домашний олень, а где лось. На какого зверя в какое время года ходить, и добывал бы для буровой рыбу и зверя — порядка в тайге больше будет... Раньше об этом он, Микуль, не думал, вот и не сберег доверчивых оленей, не сберег. На его совести они, мало рассказывал буровикам о тайге. Но кто мог предположить, что есть человек, который оленя от лося не отличит?! Даже слепой по шагу определит, какой зверь идет. Эх, есть же люди!.. Вот взять Степана, ведь недалеко живет, его бы сюда, на буровую. Дело дурное, сжечь можно быстро, но от этого река не очистится, олени не оживут, умершие деревья и травы не зацветут! Значит, надо раньше думать об этом: вчера — о сегодняшнем дне, сегодня — о завтрашнем. Может, тогда больше начнут уважать друг друга буровая и тайга?!

Когда уходил ты из Ингу-Ягуна, Микуль-охотник, ты думал, что тайга — это один мир, а буровая — совсем другой. А на деле, оказывается, буровая не может жить без тайги: она брезентовой трубкой пьет воду из реки, вырывает с корнем столетние сосны, ее люди любят полакомиться мясом таежных зверей и птиц, рыбой озерной. И даже пустить корни — нужен клочок таежной земли. Выходит, вроде бы и сошел с охотничьей тропы, да недалеко ушел...

Тяжелела голова у Микуля от дум, надо бы в Ингу-Ягун, посоветоваться, поговорить с Александром Анатольевичем, чтобы все стало на свое место.

А лес все тянет к себе, шибко тянет.

Сегодня Надя позвала его по грибы. Что ж, хоть это дело и не мужское, Микуль рад и без ружья побродить

по тайге: чуял, с ружьем пойдешь, так раньше недели не вернешься. А тут все-таки Надя, рядом с ней всегда как-то спокойней.

Август со всех сторон обступил буровую. В эту пору лучше золотистых сосняков нет уголка. Яркоголовая брусника вышила на светлом ягеле дивные узоры, словно искусная умелица-хантыйка прошла иглой по шкуре белого оленя: ступить некуда. Микуль дергал Надю за рукав, показывал:

— Смотри, смотри — тут целая картинка из сказки: вон чум, нарты, а вот это лук со стрелой! Видишь?!

— Я чум настоящий не видела, — призналась Надя.

— Покажу, когда будет зима! — пообещал Микуль. — А канг²² все-таки вкуснее, грибы не то. Каждому свое: грибы белкам и оленям, канг — человеку. Смотри, в развилке дерева гриб — это белка сушит, зимой есть будет. Нельзя ее обижать — вот и не трогали грибов наши предки, белкам и оленям оставляли.

— А бруснику звери не едят разве?

Немного подумав, Микуль пояснил:

— Медведь любит бруснику, рябчики-глухари тоже едят, бурундук ест. Но брусники-то много — всем хватит, а грибов мало!

— Ох и хитрец же ты, Микуль! — засмеялась Надя. — Успел уже придумать?

— Не я придумал, тайга так придумала.

Влажный ягель не крошился под ступней, как в летнюю жару, а сжимался мягкой губкой. Следов не оставалось — словно в сказке, парили по воздуху. Иногда сходились плечом к плечу, но вдруг спохватывались — грибники так не ходят — и быстро расходились.

— Ой, в какую глухомань пришли, буровую не слышно! — забеспокоилась Надя. — Мы не заблудимся тут?!

²² Канг — брусника.

Микуль огляделся, повертел головой, показал:

— Там наш дом!

— А как узнал?

— По солнцу.

— Солнца ведь нет, за облаками оно! — удивилась Надя. — Как же определил?

— Ну... это... я чувю, где солнце, если даже его не видно. А ты разве не чуешь?

— Нет, я не узнаю. Давай, ты покрутись, я тебе закрою глаза, и скажи, где солнце? Хорошо?

Микуль не решался пошевелиться: удивительные руки у этой девушки — пахнут свежей брусничкой и солнцем, белым грибом и духами и еще чем-то таким родным и близким, что он вдруг позабыл, зачем и откуда взяли эти руки.

...Быстрокрылой гагарой пролетело время, уже вечер стал наползать на тайгу.

Солнце, просунув в рваные облака короткие медные лучи, закатилось за горизонт, исчезли резкие тени. Свет в лесу мягкий и ровный, а воздух густой-прегустой, словно стал вдруг осязаемым. Надя остановилась у старой дуплистой сосны, прислонилась к замшелому стволу и закрыла глаза. За кроной дерева скрылось бледнеющее небо. Под деревом сухо и тепло. Таежный воздух мягко обнял притихшую под сосной пару, опьянил ее своей свежестью и чистотой.

Микуль слушал тишину. Ничто не нарушало ее: даже дыхание девушки — настолько оно было легким. Ему показалось, что он один, ее нет рядом. И все это только сон. Микуль поспешно подвинулся к ней, плечом ощутил кору старого дерева и лишь потом — на расстоянии — тепло ее руки, но чувство отрешенности от всего мира не проходило. Он все-таки один под мудрой сосной, Надя же часть его, она — это он.

И ничто в мире больше не существует. И никого, и ничего до них не было.

«А теперь знаешь, где солнце?! — мысленно спросила девушка.

«Знаю», — он словно угадал мысль-послание и пригнул ее к себе.

Она видела, как попяtilась старая сосна. За ней ринулся весь сосняк. Из белесой дымки выплыли звезды. Они смотрели на нее и молчали. Молчали они столетия и, может быть, еще столько же будут молчать. Будут мудро смотреть на землю. Но и они вдруг забежали все быстрее и быстрее, оставляя за собой горящие серебром линии. Потом небо пропало — остался лишь светлый вихрь обезумевших звезд.

Медленно возвращались звезды. Сосны загадочно шептались меж собой. Было светло и легко, как бывает легко и светло только после первого поцелуя.

12

По вечерам собирались у мастера Кузьмича. Скоротать вечер приходили все свободные от вахты. В помятый чайник высыпалась пачка чая, отчего напиток получался черным и горьким. Тетя Вера приносила конфеты и пряники.

Сегодня было многолюдно. Микуль играл в шахматы с Гришей. Дизелист Ракович молча наблюдал за игрой. После поездки на базу Микуль как-то незаметно подружился с ним и часто забегал под навес, смотрел, как тот ухаживает за своими сильными работающими машинами. Они были словно живые — у каждой свой голос, свой характер, даже аппетит разный. Ракович взялся учить его машинному делу и оказался толковым учителем — объяснял все коротко, самое главное. И Микуль уже научился запустить дизель.

Сейчас Ракович «болел» за своего ученика. Когда тот делал неправильный ход, он приподнимался и кричал, но не подсказывал.

Алексей Иванович возле столика с рацией шуршал газетой. Надя Васильева на скамье у окна крутила ручку транзистора. Остальные сидели с кружками чая. Костик пил и причмокивал:

— Ну и чай-еок!.. Давно не пивал такого!

— Что екаешь, запечный егерь? — зацепился Верезовский. — Вот приедет Степан, таким чайком угостит — екнуть не успеешь!

— У тебя что, душа за меня болит?! — насмешливо спросил Костик. — Спасибо, спасибо. Не ожидал!..

— Дай тебе бог егерского здоровья еще на один поход! — не остался в долгу помазок. — Давай кружку быстрее, люди ждут!

— Ишь, «люди ждут»! Приспичило — сбегай за своей, недалеко!

На их перепалку не обращали внимания.

Тетя Вера машинально поправила прядь светлых волос, осторожно развернула конфету. Не поворачивая головы, спросила Кузьмича:

— Петя, скажи, сробел перед главным-то?

— Как сказать, ведь первая авария была, — ответил Кузьмич, почесав затылок. — Тут не только сробеть можно...

— Кому нечего терять — тот не робеет! — вставил Костик.

— А я думал, прошибут свечки землю да выскочат в Америке! Анекдотчик, думал, Героя получит! — ехидничал Верезовский. — А я, может, медальку какую — рядом все же стоял, под навесом. А Костику, не сомневался уж, наверняка орден бы дали, поскольку он еще ближе был к бурильщику, нежели я... Вообще-то, ему и теперь кое-что выгорит за егерский подвиг!..

— Балаболка, о людях бы подумал! — с упреком сказала тетя Вера. — Хорошо, никого не задело...

Микуль всегда садился так, чтобы видеть боковым зрением Надю. Сегодня она весь вечер молчала: задумчиво слушала музыку, рассеянным взором скользила по лицам бурильщиков, думала о чем-то своем, далеком и недоступном. Ее синие глаза подернулись легкой дымкой, как лесное озеро в раннее утро. Микуль встревоженно поглядывал на нее, забыв про шахматы. Гриша недовольно ворчал, дожидаясь хода.

Передавали последние известия. В балке притихли, прислушиваясь к голосу диктора, в который влетался надрывный стон дизелей на подъеме инструмента, тонкий визг лебедки, печальные вздохи помрачневшего бора и далекий прощальный крик первых перелетных птиц.

Потом, когда закончился выпуск известий, Костик искоса глянул на транзистор и, с необычной для него угрюмостью, сказал:

— Будь моя воля, я бы в Чили направил свечки, чтоб прямо на Пиночета выскочили — уж тут бы он не отвертелся, за все б расплатился!

— Он же, кровопивец, по сей день по земле ходит, — заволновалась тетя Вера. — Поганец... такой-сякой! — ввернула она крепкое словечко. — Я газеты читать не могу, как увижу его дьявольскую кличку, сразу гитлерюгу вспоминаю. Мне семь лет тогда было, все помню. От отца даже карточки не осталось... Замучили, ироды...

Уголком платка тетя Вера смахнула навернувшуюся слезу и поспешно вышла. Все молча чего-то ждали. Может быть, ее возвращения. Но тетя Вера не приходила.

Алексей Иванович отложил газету и проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Приехал бы скорей Степан, что-то в тайгу тянет.

— Да, с ним легче взять Жориного медведя, где-то недалеко обитает, я следы видел, — отозвался Кузьмич.

— Ну, теперь его просто так не возьмешь — дюже ценным стал, Жорин-то крестник!

— В тайге такого зверя еще не бывало...

— Возьмем и этого... У нас теперь свой егерь имеется... От вахты освободим, за мишкой пошлем... Нам шкуру, денег мешок, ему — медвежьи рога! — усмехнулся Везезовский.

— У медведя нет рогов!

— Ну, за это время-то выросли!

— Да, деньги бы, конечно, не повредили — мы бы тут такой медвежий праздник устроили!.. — сказал небидчивый Костик. — Никогда не видел медвежьего праздника ханты!

— Тебе только праздники подавай, — пробасил Гриша Резник, осторожно передвигая шахматную фигуру сильными, пропахшими железом пальцами. — А про работу и не вспомнишь, а надо бы нажать — немного осталось, на новую скважину уже тянет!

Микуль взглянул на него и подумал, что вот кому «не повредили» бы деньги — знал по рассказам, что у Гриши на шее мать, куча сестер и братьев в далеком городе Харькове. Вот кому больше всех надо помогать...

— Я вот привыкаю к одному месту, не хочется потом уезжать, — сказал Кузьмич. — Хотя понимаю: ускорение, новая площадь, новые надежды... и все-таки жаль... Каждая буровая хороша по-своему: у каждой своя история, свои радости и огорчения. На следующей скважине уже не будет медведя, Жоры, Степана. Там все пойдет по другому кругу...

Наступила пауза, словно пришло время прощания с буровой, и каждый припомнил, чем же знаменательна

была эта скважина в его личной жизни, что было хорошего и плохого, с кем подружился, а с кем рассорился. Да, каждая скважина в непроходимой глуши оставляет свой неизгладимый след в памяти, человек открывает в себе что-то новое, в себе и окружающих людях.

Тишину нарушил Вerezовский:

— В тайге сейчас сыро, я люблю тепло!.. Вот поработаю малость и отгрохаю себе дом!..

— Прямо дворец! — встрял в разговор Костик. — Клумбы с цветочками, сад, гараж — словом, частник первого сорта!

— А хотя б и дворец! У меня никогда не было своего дома, все по приютам таскался!

— Сирота, что ли?

— Нет. Отец нашел себе другую, а мать... — он вдруг густо покраснел, чего с ним не случилось ни разу, но врать не захотел или понял, что поздно уже, поэтому сказал: — Мать... тоже нашла. Вот и стал я... ничей... воспитанник государства... Построю дом совсем новый, найду себе жену раскрасавицу...

— И где ты отгрохать хочешь? Во Львове? — поинтересовался Кузьмич.

— Может, и во Львове, пока не знаю. Вообще-то не очень тянет туда, хотя женщины там — первый сорт... Здесь таких нет!

— Еще бы, тут Сибирь! — поддел Костик. — А я все гадаю: зачем это ты весь Союз объехал, каждый год отпускные на ветер пускал! Оказывается, ты площадку для своего дворца ищешь?! Теплое местечко, значит, высматриваешь?! Ну и ну, тоже помешался, выходит, на дворце-то. Сам же сейчас признался: тепло любишь.

— Да, только в холод тепло люблю! — примириительно сказал Вerezовский. — Без холода тепло никакого значения не имеет.

— Давай в Ингу-Ягун, лучшего места все равно не найдешь! — предложил Микуль. — А там лес рядом, делай дом, какой тебе нравится.

— Ты, я смотрю, все языком строишь, — заметил Алексей Иванович. — Когда руками-то начнешь?

— Боюсь ошибиться. Вот ты, Алексей Иванович, на Севере работаешь лет двадцать, но я-то знаю, перерыв был. Уехал к себе на Кубань, а через год бросил городскую квартиру, вернулся обратно в свою экспедицию. Чего не хватало, ведь все было...

— Ну, я ведь охотник заядлый! И рыбак тоже... Может, из-за этого и вернулся...

— Ой ли, только из-за этого?!

— Мне, пожалуй, на боковую пора! — Алексей Иванович поднялся, так и не ответив на вопрос. — Будьте здоровы, хлопцы, заболтался я с вами.

— Всем, кто старше сорока, марш спать! — шутливо скомандовал Кузьмич.

Но таковых не оказалось, бурильщик Кошкарров ушел еще раньше.

— Расстроили мы нашу матушку с этим Пиночетом! — вздохнул Кузьмич.

— Кто знал, что она примет так близко к сердцу!

— На вид-то вон какая боевая — одно слово: тетя Вера!

— Говорят, у нее никого нет, совсем одна.

— Надо бы зайти к ней, успокоить...

Разошлись в двенадцатом часу.

На небе ни звездочки — облачно, поэтому ночь была особенно темной. Лампочки на буровой горели неровным желтым светом, размытым пеленой подымающегося тумана. Буровая засыпала.

Микуль вышел вместе с Надей. Рука ее была холодна, как снег.

— Что с тобой? — спросил он. — Ты как зима.

— Ты видел сумасшедшие звезды? Вот и я сегодня как сумасшедшая звезда. Хочется улететь куда-нибудь далеко-далеко на неизведанную планету или сгореть на лету. Только красивым ярким пламенем. Ты согласился бы сгореть вместе со мной, а?!

— А зачем гореть-то, для чего?

— Да ты бы, пожалуй, и не загорелся! — тихо засмеялась Надя. — Ты негорючий какой-то, тяжелый. Мне все кажется, что убежишь ты в свою тайгу. И ничем уж тебя не вытянуть. Из-за меня ведь не уходишь, правда?

— Не знаю, — тихо ответил он. — Пойдем лучше на вышку, на небо!

— Сегодня нет звезд, нечего там делать. — И ласково добавила: — Иди лучше спать, дурачок негорючий, завтра рано вставать.

Попрощались, и она ушла.

Микуль долго не уходил: ну и женщина — никогда не думал, что слово «дурачок» может быть таким ласковым и милым! Вроде что тут особенного, а вот поди ж ты!..

Подходя к своему балку, Микуль услышал негромкий разговор. В темноте ничего не видно. Потом сообразил, что около столовой, с полуденной стороны стоит тесовая скамья, оттуда и доносился голос тети Веры:

— Когда все это кончится? До каких пор я буду твоим хвостом, я ж не девочка, а ты все тянешь, тянешь... Вот уеду, и ты меня больше не увидишь. Знаешь, слов на ветер не бросаю. Стыдно людям в глаза смотреть, бегаем, как дети...

— Через две недели решится, вот увидишь, все будет хорошо. Теперь дети выросли, раньше я из-за них не мог...

— А если она приедет?

— Не приедет!

— Ты любишь ее?

— Не говори глупости.

Микуль опомнился и бесшумно нырнул в свой балок. Теперь он понял, отчего тетя Вера, когда меняла белье разведчикам, оставляла самые чистые и отутюженные простыни и наволочки только одному человеку — Алексею Ивановичу. Лежал Микуль на своей полке, сон не шел к нему. Надя!.. Странная девушка, зачем-то захотелось ей к звездам, будто на земле у человека мало дел. А для звезд есть космонавты, пусть они и занимаются небесными делами. Странная девушка. Стоишь рядом с ней, и каждый раз голова идет кругом, словно от одуряющего запаха цветущей черемухи, таежных цветов и трав, то будто ослепило тебя оранжевым светом утренней зари, то оглушила тебя лесная песня. Хорошо рядом с ней, но и страшно: что делать ему, Микулю, когда ее не будет рядом? И от этой мысли становилось грустно и тревожно. Вот и у Алексея Ивановича, который немало повидал в жизни, тоже что-то не так, как должно быть. Видно, крепко он полюбил этот край... Вот и жена не поехала сюда. Стоит ли жалеть? Ведь от здорового и крепкого дерева никогда не отвалится здоровый сук, отвалится мертвый, с гнилью внутри. А о трухлявой, сгнившей ветке жалеть никто не будет, если отвалилась — дерево здоровее станет... Они, Алексей Иванович и тетя Вера, чем-то напоминали Микулю дедушку с бабушкой. Те никогда не ссорились, жили, как говорится, душа в душу, понимали друг друга с полуслова. А может, и вовсе без слов обходились, помнится, совсем мало разговаривали. Сразу после завтрака дедушка садился возле чума, плел ли морду, мастерил ли нарту или обласок, поднимал его с места только бабушкин голос: «Икиэй, шай еньча юва!»²³ — «Юлым,

²³ Старик, чай пить иди!

юлым!»²⁴ — отвечал дедушка, вставая и откладывая свою работу.

После обеда он снова брался за дело, и до вечернего чая они уже не встречались. Хорошо, должно быть, если люди понимают тебя без слов, хорошо с такими людьми и жить, и работать.

А думы все шли одна за другой, казалось, конца им не будет. Уже засыпая, он слышал, как Алексей Иванович осторожно пробирался на свою половину.

13

Осень яростно ворвалась в тайгу: побила листву на осинах и березах, взъерошила желтые травы и блеклые кусты, заторопила перелетных птиц в теплые края.

Месяц суровый и беспощадный. Недаром в календаре охотника-ханты он значится «Месяц умирания листьев и трав» — многое умирает до весны, многое — насовсем.

Сохатые сменили свои шубы, и олени осеребрились — солнце играло на их светлых боках. Подошло время брачных боев, скоро самцы начнут подавать голос. Все идет своим чередом.

Микулю казалось, до перевозимья ему не выдержать: зовет, зовет к себе осенний лес, снится каждую ночь. Как быть?! Подошли выходные дни, а лететь на «бесшабашный» отдых в поселок совсем не хотелось, и Микуль, Алексей Иванович и Костик отправились на охоту. В Степаново становье приехали в сумерках. Бревенчатая избушка — слепая, без окон на передней стене — стояла разинутой пастью к реке. За ней, как на страже, застыли два лабаза на курьих ножках, один бросался в глаза гордой белизной стен, другой — побит временем, серый, незаметный, с ро-

²⁴ Иду, иду!

сточками зеленого мха на кровле. Слева от избушки навес, крытый берестой.

— Я еще ни разу не ночевал в такой избушке, — объявил Костик. — Наверное, и сны особенные снятся, как в терему.

— Ишь, барин сыскался! — удивился Алексей Иванович. — Привезли его, как министра, — всю дорогу спал. А теперь его накорми, спать уложи да еще и сон царский подай!

Микуль сначала наотрез отказался брать с собой Костика — никак не мог простить «подвига» в бору, но Алексей Иванович уговорил, дескать, парня надо обучать таежному делу, чтобы глупостей больше не делал. И Микуль в конце концов согласился — глядишь, и впрямь на пользу охота пойдет, а то даже обидно: родился и вырос человек в Сибири, на Оби, а в тайге, как гость, ничего не знает..

Жена Степана, скуластая, неулыбчивая, с жесткими жилистыми руками, молча приготовила ужин. На некрашенный стол желтого кедра поставила деревянную миску с дымящимся мясом и кружки с бульоном. Степан отыскал в изголовье связку деревянных ложек в косяных ножнах, положил возле стола и торжественно произнес:

— Ку-шай-те!

Началась неторопливая вечерняя трапеза. Хозяин хриловатым голосом рассказывал лесную быль. Алексей Иванович слушал вполслуха. Он вспоминал, как ему предлагали пищу. В войну, когда бродяжничал, с жалостью — иногда кусок становился поперек горла. Жена — равнодушно, теща с одолжением, друзья — с нарочитой грубоватостью. На торжествах и вечеринках с преувеличенной любезностью. Каждый вкладывал в приглашение дополнительный смысл, только надо быть внимательным: одни подчеркивали свое

превосходство и независимость, другие — широту души, третьи — свою значительность. Но вот так, как Степан, — никогда. Он сумел вложить в одно это слово — кушайте — все богатство своей души. Пожалуй, «сумел» не то слово. Он и не старался «вкладывать» какой-то особый смысл. Это у него от природы...

Гостям постелили новые лосиные шкуры, пахнущие осенью, прелой листвой, сухими травами, кедровой шишкой и смолистыми буйными ветрами, обшарившими все укромные лесные уголки.

Засыпали под шаловливые всхлипы северного ветра, заигрывающего с закопченным глиняным чувалом²⁵. На ночь хозяйка не закрыла трубу.

Утро выдалось солнечным и тихим.

— Долго спали, — сказал Степан, указав на солнечный лучик, — солнце вон уже руку в окно просунуло, на улицу зовет.

— Чувал виноват — пел всю ночь, усыплял нас! — оправдывался Микуль, удивленный тем, что он, охотник, мог проспать такое утро. В тайге такого с ним не случалось, значит, буровая виновата, привык просыпаться к началу работы.

— На охоту, что ли, сходил? — удивился Алексей Иванович, заметив на столе блюдо со свежим глухаринным мясом.

— Да, утро больно хорошее было, тихое, с инеем. Тут недалеко песчаник есть, копалуху с глухарем подстрелил.

— Меня почему не разбудил, Степан? — вскочил Костик.

— Шибко хорошо спал, как разбудишь — жалко.

— Ты бы, Степан, не поднял его, — засмеялся Алексей Иванович. — По части сна он у нас чемпион, первое место держит на буровой.

²⁵ Чувал — очаг в виде камина из жердей и глины.

— И вовсе не первое! — запротестовал Костик. — Первое у Жоры было! — Повернулся к Степану: — На лося идем сегодня?

— Сегодня нельзя.

— Почему?

— Так надо, — уклончиво ответил охотник. — Сегодня рябчиков стреляй, уток стреляй, рыбу лови...

— А нельзя-то почему? — не унимался Костик.

— Дух нехороший из тебя не выветрился, — шепнул Степан, хитровато сощурившись.

— Какой еще дух?

— Буровой, машинный дух, к большому зверю не подойдешь — далеко чует.

Ответ, кажется, вполне удовлетворил Костика. На всякий случай поинтересовался:

— Завтра-то можно?

— Завтрашний день скажет — можно или нельзя.

— Ну, Костик, берданку в зубы — и метеором по тайге, если хочешь увидеть живого лося! — посоветовал Микуль. — На большой скорости машинный дух быстрее выветрится.

— Ты одолжи у сынишки Степана лайку на всякий случай! — со смехом поучал Алексей Иванович. — На поводок и за пояс — вечером хоть домой приведет, не то вертолет вызывать придется...

— В вас дух этот тоже сидит! — незлобно огрызнулся Костик, бросив быстрый взгляд на друзей. — Вам тоже выветриваться надо!

— Нам Степан какой-нибудь другой способ предложит, не так ли, Микуль?

— Дымом будем окуриваться! — поддакнул Микуль. — Особым дымом из пихтовой коры.

— Я тоже хочу окурения дымом! — не сдавался Костик.

— Ладно, хозяин сам решит.

После завтрака Степан вручил Костику старую берданку и сказал:

— Только совхозных оленей, однако, Коска, не стреляй, такой грех не делай.

У Алексея Ивановича и Микуля были свои ружья.

Степан изредка поглядывал на безоблачное небо и таинственно молчал. Видимо, еще не пришло время «большой охоты». Только на следующий день охотник велел гостям собираться в тайгу.

...Лось прихрамывал на левую переднюю ногу. Рога, о шести отростках каждый, стали вдруг помехой. Два дня назад он содрал с них бархатную кожицу, и теперь они были еще сыровато-красные, с бледной сукровицей. Эти дни лось провел в сумрачном ельнике: твердели рога — тяжелела голова. Весь он, начиная с могучей шеи, наливался бешеной силой, которая будоражила кровь и затмевала сознание. Он ждал. Ждал того мгновения, когда, накалившись до предела от неведомого томления, протрубив свою утробную, устрашающую песню любви и низко опустив тяжелые точеные рога, выплывет на лесную поляну навстречу своему сопернику.

И тогда заговорят рога.

Рога, рога!.. Сколько на них было надежды! А теперь рога задерживают бег, цепляются за стволы сосен. Надо вертеть головой, чтобы пронести их в густом лесу. А боль все усиливается.

Капли крови тонули в бордовом брусничнике. Погоня не давала зализывать раны.

За деревьями мелькают охотники.

Тяжело, с присвистом дышал Алексей Иванович. На ходу скинул кепку, переложил двустволку в правую руку. Покосился на Микуля, подумал: «Бегают ничего». За ними хлопал голенищами сапог Костик. Он со-

пел носом и что-то бубнил. Видно, ругался. Все кусты и веточки норовили зацепить его, задержать, больно хлестнуть по лицу. Под ноги подворачивались пни, корявые сучья, замшелые валежины. Он размахивал Степановой малопулькой как палкой, которая случайно оказалась в руке, и ему невдомек было избавиться от нее. Да она и вправду не нужна пока: лес слишком густой — стрельба бесполезна.

Микуль оглянулся: далеко позади мелькала серая малица Степана.

Когда они рванулись за раненым лосем, Степан пытался удержать их. Но потом махнул рукой. Теперь же разрыв между лосем и тройкой заметно увеличивался, а Степан все ближе и ближе, вроде надал немного.

Первым не выдержал Костик: скинул сапожищи и припустил босиком. Сначала ощутил необыкновенную легкость. Но под сосной разошлись шишки прожгли пятки — хоть ревя реви, хоть возвращайся за сапогами. Тут он запнулся и с ободранными ногами свалился под куст. Здесь-то и настиг его Степан. Он молча бросил наземь Костины сапоги и побежал дальше.

Вскоре отстал и Алексей Иванович.

В неширокой ложбине, заросшей кустарником, Степан и Микуль выстрелили почти одновременно. Сохатый споткнулся и упал.

— Жирный попался, — сказал Степан. — Раны первые жиром затянуло, далеко убежал.

— Теперь горе-охотников надо разыскивать, — вздохнул Микуль.

...На четвертый день Микуль и Костик на вертком обласке возвращались на буровую. Алексей Иванович остался еще на недельку поохотиться на глухарей.

Костик болтал без умолку: у него уйма впечатлений. Микуль же рассеянно слушал, скользя взглядом

по берегам, оголенным сентябрем. Охота оставила в душе неприятный осадок, будто бы и не охотился во все. Загнали раненого лося, пристрелили. Но больше всего смущали его неуспевшие затвердеть рога. Сколько надежды возлагал на них сохатый. И вот взяли его вроде как «безоружного», беззащитного. Словом, нечестно поступили.

Как профессиональный охотник, Микуль знал, что охота бывает хорошей или плохой, независимо от добычи. Помнится, во второй промысловый сезон ходил за соболями. Зверек попался необыкновенно шустрый, смысленый. Перескакивал с дерева на дерево угольно-черной молнией — аж резало в глазах. Раз Микуль загнал соболя под косматое корневище старой валежины, расставил сети вокруг. Теперь надо выманить зверька из-под коряги. Это оказалось делом нелегким. И только под вечер охотник обнаружил, что соболю оставил его в дураках, через дуплистый ствол валежника выбрался наверх и был таков.

Микуль несколько дней гонялся за ним. Его поражали необыкновенная хитрость и изворотливость зверька: словно шло состязание кто кого. Тогда они были почти на равных. Даже, пожалуй, старый соболю в чем-то превосходил малоопытного следопыта. Появился азарт, непреодолимое желание перехитрить Уголька — так назвал он соболя, который обучал его промысловому делу, раскрывал многие секреты тайги. Именно с этой зимы он полюбил все, что давалось с трудом. Трудное приносило радость.

И сейчас, может быть, его тянуло на буровую оттого, что там ничего легко не возьмешь. Теперь он охотился на нефть. Она скрывается в недрах земли и, наверное, как Уголек, хитрит, переползает с пласта на пласт. Она, говорят, дороже Уголька, ее не видно, поэтому и взять ее в тысячу раз труднее, тут нужны знания.

Когда-то Степан сурово спросил: «Почему охоту бросил?» Сейчас Микуль не стал бы говорить о будущем, а ответил бы кратко: «Я такой же охотник, как и ты. Только ты охотишься на зверей и птиц, я — на нефть!» И, пожалуй, еще добавил бы: «Моя охота труднее!» И Степан бы все понял. Может быть, вчера он специально устроил легкую охоту для приезжих? «Или со мной что-то случилось: стал старше, что ли? Может, «буровой дух» в меня вселился?! Костику же охота понравилась».

Неожиданно он поймал себя на том, что за эти дни соскучился по шуму дизелей, «седьмому небу», по таинственно мерцающим огням вышки и веселым сборам у Кузьмича, по запаху солярки и теплого масла. Но признаваться в этом никак не хотелось, не могла же буровая так быстро «сломить» его, жителя тайги?! Потом стал оправдываться тем, что на буровой все-таки нужен хозяйский глаз таежника, настоящий друг зверей и птиц, лесов и болот. Что возьмешь с буровика, который не отличает лося от оленя?! Иной, может, и понимает умом, что хорошо и что плохо, да руки делают свое дело, не слушаются. Тот же Коска — если бы у него патроны не кончились, он, может, все стадо перестрелял бы. А спроси: «Зачем?» — не знает...

Подумал еще: может, во всем виновата Надя? В Степановой избушке она снилась ему то в августовском лесу под соснами, то на мостках, вызываяще красивая, с родинками раствора на веселом лице, то на «седьмом небе» вышки в развевающейся на ветру красной козынке. А в прошлую ночь ее пленили звезды — они неслись с ней в неведомую пустоту Вселенной. Тоскливо сжалось сердце — Микуль проснулся и до утра не мог сомкнуть глаз. Она тянула его на буровую. Без этой девушки жизнь казалась пустой и бессмысленной. Закопченная невзрачная вышка связала их в один узел.

Теперь он хотел, чтобы узел этот не ослабевал и чтобы никто не выпал из связки...

Микуль налег на весла — за бортом вспенилась вода. Река смотрела на него безмолвно и сурово. На пики таежных елей спустилось солнце — кончилось Время большой охоты. И тайга снова замерла в ожидании восходящего солнца.

Из-за поворота выплыла буровая.

14

В полдень шалый северный ветерок крылатой лайкой погнал на ингу-ягунское небо стада рваных облаков. Утихомирился он лишь к ночи, когда плотно, бок о бок, уложил серебристые облака на ночевку. А наутро, проснувшись, ахнули жители Ингу-Ягуна: зима пришла.

— Олынг цохт пит! — говорили они друг другу вместо приветствия. — Первый снег выпал!

— Олынг цохт юхит! — отвечали встречные. — Первый снег пришел!

Заскрипели дверцы лабазов, захлопали крышки сундуков, вытаскивали охотники давно приготовленные ружья, легкие таежные малицы из неблюя²⁶, расшитые орнаментами кисы. Выкатывали из-под лабазов крепкие ездовые нарты для каслания в дальние боры и болота, расправляли упряжные ремни и плетеные кожаные арканы. Получит охотник две-три упряжки промхозных оленей и умчится в свои уголья, где испокон веков промышляли зверя и птицу его деды и прадеды.

Озабоченный Иван Филатыч, управляющий пром-охототделением, носился по селению, провожал охот-

²⁶ Неблюй — шкура оленя, снятая в августе, когда шерсть короткая (ненец.).

ников на промысел, давал последние советы и наставления. В суматохе он примчался к дому Микуля и лишь на крыльце опомнился, что хозяина нет. Украдкой оглянувшись, не увидел ли кто, он поспешил прочь. Но, однако, ничего не скроешь от дотошных ингу-ягунских стариков, вечером в доме деда Кириллы зацепили-таки Ивана Филатыча:

— Ты скажи, где наш Микуль, Иван Филатыч! Говорил, к перевозимью, мол, придет. Пришел? — спрашивали ехидно старики. — Нешто мы без Микуля пушной план одолеем?! Наше хозяйство всегда первое место в районе держало!

— Где — на нефти! — примирительно сказал Иван Филатыч. — И у меня на душе все же спокойнее было, когда на одного охотника больше. И за угодия его не боялся, знал, в надежных руках, все в порядке будет, а теперь!..

— Ох, да ладно, нашел о чем плакаться?! — сбавили тон старички. — Да ты слышал ли, кем на буровой-то стал наш Микуль?! Неужто не слышал?! Да он же стал вторым... слышь, вторым помощником этого... как его, землебуритель-то который!..

— Бурильщик, — мрачно подсказал Иван Филатыч.

— Во-во, вторым помощником бурильщика стал. Потом и первым будет, а там, глядишь, и сам бурильщиком станет! Никто еще из ближних селений таких высот на «железной работе» не достигал! — старики вскинули седые головы.

— Чего-то вы больно быстро другую песенку затянули! — усмехнулся Иван Филатыч. — Помнится, весной, когда Микуль уехал, вы совсем другое мне говорили!

— Это когда было! Сколько лун прошло?! А ты, Иван Филатыч, раньше времени не умирай! — отвечали старики. — Поживем — увидим, как нам дальше быть! Что ни говори, у Микуля настоящее чутье

охотника, верной тропой идет. Он раньше нас почув-
ял, где теперь главная тропа жизни проходит. А что
охотников не будет, так это ты напрасно. Эта горячая
вода всех интересует, да не все рискнут пойти на нее.
Молодые-то шибко интересовались рассказом Мику-
ля, а ведь пока никто не ушел. Она, нефть-то, кажись,
медведя напоминает — каждому охотнику, особенно
молодому, хочется пойти по его следу, да не каждый
на это отважится.

— Жди, надейся, — проворчал Иван Филатыч. —
Придет время — и остальные потянутся!

— Все-то охотники не уйдут, шалишь! Не отпустит
тайга...

— Думаете, я против нефти? — осердился вдруг
Иван Филатыч. — Думаете, я не понимаю, что нефть —
помощник человеку?! Да ведь в чем дело? — нефть-
то рядом с охотником никак не уживется. Нет, нет,
не уживется. Знаю, как будет: пойдут дороги, нефте-
проводы, нефтепромыслы... Погубят наши ягельные
боры, промысловые угодья... Пойдут самозванные
«охотники», которых и сейчас уж немало шастает
по лесам. Подорвут запасы зверей и птиц. А боровая
дичь? И так уж на убыль пошла. Вот тогда мы с вами по-
другому запоем!

Поднялся Иван Филатыч и, выходя из дому, вздох-
нул:

— Эх, если бы все в согласии да в ладу!..

Помолчали старики, посипели трубками, затем дед
Кирилла неторопливо проговорил:

— Крепко Иван Филатыч надеялся на возвращение
Микуля. Надеялся, да, видать, напрасно.

— У хорошего хозяина каждая мелочь в хозяйстве
на счету, а об охотнике и разговора нет...

Посидели старики, выкурили еще по трубке, хозя-
ин предложил по кружке чая. Тянули крепкий охотни-

чий напиток, разговор пошел о предстоящем сезоне,
об урожае на зверя-птицу. Ходил разговор по далеким
рекам и озерам, по дремучим урманам и топким бо-
лотам и снова вернулся к Микулю. И никак толком
не могли решить, совсем сошел он с охотничьей тропы
или нет. Верно, что белку-соболя он теперь не промыш-
ляет, но зато промышляет не менее важного зверя —
Нефть. И живет, по его словам, среди неплохих людей,
нефтяных охотников. Он столько о них рассказывал,
что теперь, пожалуй, каждый житель Ингу-Ягуна знает
и мастера Кузьмича, который, словно вожак в упряж-
ке, каким-то чутьем угадывает путь к нефти; и земле-
бурителя Алексея Ивановича с добрыми улыбочивыми
глазами; и молодого нефтяного охотника Коску, кото-
рый бредит лосиными рогами; помнят и самого силь-
ного человека на буровой Гришу Резника; и длинного
ехидного помазка Везезовского. А одного охотника,
Раковича, Микуль даже в Ингу-Ягун приводил. При-
глядывались к нему жители, придирчиво рассматри-
вали нефтяного человека и в конце концов признали:
хороший охотник, говорит мало, как таежник, напрас-
но слов на ветер не пускает, степенный, неторопли-
вый, с таким и на медведя идти можно — не растеря-
ется, не подведет. Словом, серьезный охотник. Такой
человек за пустое дело не возьмется и с полпути об-
ратно не повернет. Может, и Микуля тем оправдывали
отчасти, что несподручно как-то настоящему охотни-
ку бросать начатое дело. Найдет нефть, увидит ее соб-
ственными глазами, тогда пусть и возвращается с до-
бычей.

Пили старики чай, смолили обгорелые трубочки,
до мельчайших деталей восстанавливали события по-
следних Лун, связанные с уходом Микуля на поиски
черной воды. А потом, хотя и без того уже знали, все же
поинтересовались у матери Микуля:

— Что в последний приезд твой Микуль говорил? На уме у него что?

— Что на уме?! — нефть! Вот что у него на уме! — ответила тетушка Анна и нахмурилась, словно старики были виноваты в том, что ее сына заколдовала таинственная неведомая нефть, помолчав, сказала: — Говорит, как только увижу эту нефть, потрогаю ее руками, так сразу и вернусь в Ингу-Ягун. Да что-то сердцу моему не верится, чтобы он скоро вернулся. Он ведь упрямый, пока не увидит, и вправду не воротится. С детства такой, что подделаешь. А если нету тут этой нефти, так и вовсе в дальние края подастся с нефтяными людьми, пока своего не добьется!

Вздыхнула мать, поправила платок на голове, горестно добавила:

— Погубит его черная вода, погубит!.. В последний раз домой приехал, слышу, во сне бормочет, женское имя все говорит. Раньше не бывало такого... Видать, не только черная вода сынка-то приворожила... Видать, взяла его сердце какая-то женщина нефтяная или железная... В селении нет девушек с таким именем. На стороне корни пустит — совсем тропу охотничью забудет!

— Лучше бы, конечно, ему здесь невесту сыскать, из охотничьего рода, — проговорил дед Кирилла. — Но ты, Анна, шибко не переживай, не пропадет твой Микуль. Весной чего я боялся, знаешь? Я боялся, что уйдет к нефтяным людям и нос от нас отворотит, забудет сородичей. Есть и такие. А он, Микуль, не таким оказался. Нутро-то чистое, крепкое, без трухи и гнили. Такой, где бы корни ни пустил, свою тайгу, селение, людей своих не забудет. Коль найдет нефть и вернется — хорошо, коль не вернется — так ведь земле нашей и нефтяные охотники нужны, что ни говори, а без них теперь никуда, далеко не уйдешь. Так я думаю...

— Пусть так будет! — сказала женщина. — Твоя голова всегда правильный путь находит!

Старики согласно кивнули: женщина истину сказала.

Немало Лун прошло с того дня, как Микуль ушел из Ингу-Ягуна, но не сбылись пророчества старух: и комаров было не больше, чем в другие годы, и оленей в стадах не поразила копытка, и медведи, будто назло, не беспокоили их, и неожиданные заморозки не побили преждевременно листья и травы, и рыба в реках-озерах не перевелась вдруг, и птицы перелетные не улетели до срока в теплые края. И Пай-ики²⁷, слуга и вещая птица Нум Торума, и тот не грозил затяжными дождями, обошел Ингу-Ягун стороной. И теперь, в день первого снега, старухи вынуждены были признать, что сам Нум Торум, выходит, не против «железной работы», не против черной горючей воды. А раз он не против, то и говорить не о чем.

...Родился день первого снега, и в селении стало светлее. Сосны и кусты, вплотную подошедшие к окраине Ингу-Ягуна, на ветви-руки натянули рукавицы из камуса белого оленя, на макушки накинули узорчатые капюшоны, расправили теплые малицы, расшитые тонкими орнаментами по опушке. По белым крышам бревенчатых домиков скакала белобочкая сорока и стрекотала на все селение. Но стрекот ее не резал слух, а, приглушенный первым снегом, мягко плыл по-над Ингу-Ягуном, словно мелодичная таежная песня.

Родился день первого снега, и на промысловую тропу вышло на одного охотника меньше. Но от этого не стало темнее в душах ингу-ягунцев: они знают, если человек идет в жизни верной тропой — его ждет впереди большая удача.

²⁷ Пай-ики — бог Неба, гром у ханты.

**Словарь хантыйских
и русских (сибирских) слов
и выражений**

Амдер — шкура-подстилка на сиденье нарты.

Анас — нартовый обоз при каслании.

Ас — хантыйское название реки Обь.

Большой Красный — большевик, коммунист.

В Урмане Ступающий — иносказательное название медведя.

Зимняя весна — ранняя весна, когда снег только начинает подтаивать.

Зимняя осень — поздняя осень, когда выпадает первый снег.

Ики — старик, мужчина, дядя.

Ими — женщина, тетя.

Йим — хорошо.

Йом — черемуха.

Кисы — зимняя меховая обувь до паха.

Кевл, кеуль — ковшик.

Красная Лодка — агитлодка в 1930–1950-е годы на Севере.

Куженька — корыто из бересты.

Куйп — шаманский бубен.

Лабаз — амбар на курьих ножках.

Летняя весна — поздняя весна, когда полностью сходит снег.

Летняя осень — ранняя осень, когда появляется первый желтый лист на деревьях.

Лынгал — хантыйское название реки Иртыш.

Макодан — дымовое отверстие чума.

Малый Красный — комсомолец.

Меми — так дети называют медведя.

Набирка — берестяная посуда для сбора ягод.

Най — огонь; в фольклоре — красивая молодая женщина.

Неводник — большая лодка из кедрового теса, шпангоуты у нее — из кедровых корней.

Нижняя Земля — так в разговоре называют запад.

Нырики — летняя замшевая обувь до колена или выше.

Нэ — женщина.

Облас — лодка-долбленка из цельного ствола дерева.

Ободообразный, или *ободообразное дерево*, — так иносказательно называют шаманский бубен.

Подволоки — охотничьи лыжи, подбитые снизу мехом.

Подовушка — рыба, обычно щука, разрезанная на ломтики и зажаренная на колышках у открытого огня.

Патымка, *патома* — строганина из мерзлой рыбы.

Порса — блюдо из толченых рыбных костей.

Родовой брат (сестра) — двоюродный или троюродный брат (сестра).

Сарга — лента из лыка молодой черемухи.

Сак — черпак для чистки лунок ото льда.

Сел — копченые чебаки и подъязки.

Сор — ровное болото без больших кочек и деревьев.

Сухара — высохшее на корню дерево.

Та-та-та-а! — так подзывают оленей.

Туйс — табакерка.

Туесок — коробка из бересты.

Урия — речной залив, старица.

Урт, орт — князь, военачальник.

Халей (от хантыйского «калэк») — речная чайка.

Цухи — в хантыйской мифологии дети Грома-Старика.

Цап — стружки из белой обмякшей древесины высохшей на корню березы; насыпаются в люльку под меховую подстилку.

Чернолицый — иносказательное название медведя.

Опыт для других

*Заметки
о прозе Еремея Айпина*

Своей самой сокровенной книгой хантыйский прозаик Еремей Айпин считает повесть «У гаснущего Очага», которая в свою очередь выросла из цикла новелл «Я слушаю Землю». По сути, именно благодаря им Айпин обрел имя писателя.

Я помню, как в начале 80-х годов эти новеллы обсуждались в Оренбурге на семинаре молодых прозаиков Урала и Западной Сибири. Издатели тогда требовали от начинающих авторов «производственную» прозу, социальные конфликты и романтических героев. В конечном счете издатели добились поставленной цели, выпустив по итогам оренбургских «посиделок» коллективный сборник «Тепло чужого очага».

Естественно, в нем оказалось достаточно много сюжето-минутной чепухи, что не очень-то даже скрывал в своем кратком вступительном слове лучший рассказчик времен застоя Сергей Залыгин. Но вот, сказав какие-то обязательные вещи про героиню с романтикой и заговорив наконец просто о литературе, Залыгин первым делом выделил новеллы Айпина. А ведь не за актуальность старый мастер похвалил молодого ханты, а главным образом за необычное видение мира и нетривиальность мышления.

Если же вернуться к социальности, то замечу, что Айпин никогда не стоял в стороне от наболевших проблем своего народа. Ему не надо объяснять, что такое нефть и газ. Студентом Литературного института он почти все летние каникулы подрабатывал у самотлорских нефтяников. Одно время писатель был даже верховым на буровой. И вообще из него мог получиться, как утверждают ветераны Усть-Балыкской экспедиции, неплохой буровой мастер.

Впечатления студенческих лет легли в основу «дипломной» повести Айпина «В ожидании первого снега». Однако в печати это произведение особого резонанса не вызвало. Хотя писатель затронул в нем очень серьезные вещи. Он чуть ли не первым заговорил о необходимости гармонии в отношениях между нефтяниками и потомственными таежниками. Беда была в другом: Айпину не удалось вылепить образ запоминающегося героя. Может, поэтому критика не почувствовала авторской боли за судьбу соплеменников. Ее умилило иное — выход молодого ханты из дремучей тайги и его приобщение к современным нефтепромыслам. Литературная обслуга запела гимн прогрессу, не заметив, что именно прогресс привел к исчезновению многих древних охотничьих родов.

Однако хантыйский писатель алилуйю не принял. Он вдруг бросил перчатку целой когорте всемирно признанных зачинателей литератур народов Севера. Айпин, к примеру, не захотел прорубать «окно в большой мир», к чему стремился в его возрасте чукча Юрий Рытхэу, усердно доказывавший своими первыми книгами, будто чукотская цивилизация менее своеобразна, нежели культура европейских народов. Не устраивала Айпина и позиция Ювана Шесталова, умилявшегося в повести «Тайна Сорни-най» бездумной добычей черного золота на родовых землях мансийского народа.

По существу, Еремей Айпин на рубеже 70–80-х годов, когда жизнь потомков гиперборейцев принято было изображать только в радужных красках, первым из писателей Севера предложил в повестях «В тени старого кедра»

и «Я слушаю Землю» переосмыслить исторические события двадцатого века. По тому, как он воспел в лирических рассказах своего крестного — столетнего старца Ефрема, можно догадаться, какую ненависть у него всегда вызывали интернаты, отлучившие северян от их традиционных ценностей. Ефрем учил мальчишку знать меру всему в тайге, не уставал напоминать ему, что все живое на Земле происходит от одного корня. А что дали детям охотников интернаты?

«Когда меня первый раз забирали в интернат, — вспоминал как-то Айпин, — я буквально рыдал. Мы жили в юртах на берегу Агана, до ближайшего поселка Варьеган от нас было километров шестьдесят. Я не представлял, как смогу до зимы прожить без матери, отца и крестного. Говорить на родном языке нам в интернате не разрешали. Если у кого хоть слово невзначай вырывалось хантыйское, ребенка ставили в угол. Оленя мы видели только на картинках. Когда на каникулы я возвращался в наши юрты, то целую неделю вспоминал, как правильно ставить снасти. Кому от такой учебы польза была?»

После окончания в 1976 году Литературного института перед Айпиным встала проблема — как вернуть соплеменникам утраченные ценности? Ему казалось, что достаточно реконструировать забытые мифы — и все вернется на круги своя. Но десять лет, проведенные в Ханты-Мансийском окружном центре народного творчества, убедили его в тупиковости избранного пути.

Чтобы древние сказания заново ожили, Айпин в середине 80-х годов надумал построить на семи холмах Ханты-Мансийска возле Оби национальный заповедник, куда с огромным трудом перевез из аганского урмана сруб отцовской избы. Но современники это не оценили. Какие-то музейные постройки порубили на дрова, что-то просто подожгли. В общем, музей под открытым небом не получился. Значит, ключ к спасению ханты надо искать не в этнографических материалах, а в чем-то другом. (Вот еще одно отличие Айпина от «классиков» северных литератур.) После долгих раздумий хантыйский прозаик

пришел к мысли о необходимости создания этнических заказников или заповедных зон, по форме в чем-то схожих с современными резервациями для индейцев в Канаде и США.

Я уже не говорю о том, что входить в литературу Айпины было куда трудней, нежели «классикам», которые заявили о себе миру еще на рубеже 50–60-х годов. Наша критика первые книги хантыйского писателя воспринимала сквозь призму уже накопленного Хеджером, Рытхэу, Санги, Шесталовым и Ледковым солидного художественного опыта. Но этот опыт не во всем подходил для Айпина. Хотя бы потому, что он, ханты, воспринимает мир несколько по-другому, нежели чукчи или нанайцы.

И здесь нелишне напомнить, что к середине 70-х годов ханты серьезных литературных традиций почти не имели. Первые публикации Г. Лазарева, Р. Ругина, П. Салтыкова, М. Шульгина, В. Волдина, Д. Китаева, носившие во многом ученический характер, еще не давали основания говорить о какой-то сложившейся литературной школе. При этом надо добавить, что все перечисленные авторы писали на шурышкарском или казымском диалектах, а ханты Агана имеют совершенно другой язык, и на нем до Айпина никто своих книг не сочинял.

Практически все видные представители младописьменных литератур в свое время учились на факультете народов Севера в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена и проходили языковую практику у крупнейших североведов. Написав первые произведения на родном языке, они, за редким исключением, не знали проблем с переводами. Североведы помогали им квалифицированно делать подстрочники и потом знакомили их с выдающимися мастерами слова, которые эти подстрочники изящно обрабатывали.

Айпину в этом плане не повезло. В Литературном институте он занимался в семинаре прозы у Бориса Бедного, который мог оценить только рукописи на русском языке. Знатоки сургутского диалекта в Москве отсутствовали. Айпину поневоле пришлось собственноручно делать

и подстрочники, и переводы всех своих вещей. Так он обретал собственный стиль.

Замечу, во многом схожий с Айпиным путь, причем независимо друг от друга, прошло сразу несколько сверстников хантыйского писателя, в частности ненка Анна Неркаги, эскимоска Зоя Ненлюмкина, юкагир Геннадий Дьячков, а уже в наше время заложенные Айпиным традиции подхватили коряк Юрий Алотов, ханты Татьяна Модцанова и эвенкийка Галина Кэптукэ.

К слову сказать, в отличие от Владимира Санги, Ювана Шесталова и других известных писателей-северян, Айпина не убаюкала серия одобрительных откликов, появившихся в печати после выхода его книг «В ожидании первого снега» и «В тени старого кедра». Он сразу уловил фальшь в писаниях критиков, которые восторгались сознательностью молодого ханты, сошедшего с охотничьей тропы и радостно ринувшегося на буровую.

Отказавшись от романтического подхода в изображении современной Сибири, Айпин вдруг обратился к судьбе своего отца, всю жизнь проохотившегося на Агане. Он решил посмотреть, как нефть изменила традиционный уклад и психологию хантыйского кочевника. И что оказалось? Айпин увидел отца в заколдованном треугольнике. С одной стороны, старому ханты преградила путь буровая, с другой — всю живность отпугнул нефтепровод, а с третьей — непреодолимым препятствием для отцовских оленей стала железная дорога. И куда охотник может податься в этих условиях? Вот основной вопрос, определивший содержание повести Айпина «Звезда утренней зари».

Кстати, ее рукопись также обсуждалась в Оренбурге. Но отношение к ней было далеко не единодушным. Одни критики, ухватившись за социальную направленность повести, сразу бросились «пристраивать» ее в редакцию журнала «Урал». Других же смутила «неясность» авторской позиции и, если так можно выразиться, «непрописанность» главного героя. Как считал Залыгин, на примере старого хантыйского охотника Айпин мог бы проследить многострадальную судьбу всего хантыйского

народа. Пусть повествование расширится за счет исторических экскурсов. В конце концов, разве это не важно — понять, как ханты жили до обнаружения на их землях черноты золота?!

Но Айпину специально изучать историю охотничьих родов, ездить в экспедиции, рыться в библиотеках никакой нужды не было. Зачем, если старики на его родине еще помнили белого царя и видели, как утверждалась власть красного царя. Только сиди и слушай.

Довлела ли над Айпиным в тот период какая-либо идеология? Думаю, не без этого. В конце концов, ведь не в безвоздушном же пространстве он жил. Может, поэтому невыдуманная история о спасении первого хантского филолога Николая Терешкина, ставшая основой рассказа «Зимовье в кедровнике» и пьесы «Красная нарта», получила у него ярко выраженную идеологическую окраску.

Впервые Еремею Айпину эту легенду поведал его наставник по Ханты-Мансийскому педагогическому училищу Алексей Сенгепов. По воспоминаниям стариков, род Терешкиных издревле жил около Назыма. Отец будущего ученого по традиции охотничал, мать занималась домашним хозяйством. Но вдруг с отцом что-то произошло, он не вернулся из тайги, и на его поиски отправилась мать. Ребенок остался один и уже замерзал. В это время мимо Назыма проезжали какие-то дальние родственники. Завернув по дороге к Терешкиным, они застали погибавшего от холода ребенка...

Айпин этот драматический сюжет чуточку трансформировал на свой лад. Он не смог установить, при каких обстоятельствах погибли родители Терешкина, поэтому для интриги придумал белые и красные отряды. Другими словами, завязку для «Зимовья в кедровнике» писатель взял из головы. Если кому-то от этого полегчает, то, пожалуй, пусть думает, что Айпин поступил так в угоду времени или конкретно в угоду окружному КПСС.

Когда «Зимовье в кедровнике» и «Красная нарта» уже были написаны, судьба вдруг забросила Айпина в сибир-

скую деревню Елизарово. И там он впервые услышал, как одна бабуля в порыве откровенности назвала красных «карателями». Прямо по горячим следам писатель, ничего не приукрашивая, сделал набросок рассказа «Клятвопреступник». Однако эту рукопись ни одна редакция у него не приняла. Рассказ Айпину удалось напечатать лишь в 1994 году.

Позже на услышанные в Елизарово истории про карательные походы красных партизан наложились воспоминания стариков о репрессиях 30-х годов, поголовном уничтожении шаманов и истреблении всех хантских идолов. Айпину вдруг открылись такие картины из прошлого ханты, что от отчаяния хотелось рвать на себе волосы. Как писатель сохранил хладнокровие, не ведаю. Одно знаю: в 1984 году он расширил повесть про старого охотника Демьяна до эпического романа, которому дал новое, более объемное название «Ханты, или Звезда Утренней Зари», соединив в заголовке научную точность с художественным символом.

Одним из первых читателей романа стал автор популярной приключенческой книги «Наследник из Калькутты» Роберт Штильмарк. Рукопись Айпина он назвал «явлением в нашей литературе исключительным». Как отмечал Штильмарк в своем отзыве от 9 февраля 1984 года, Айпин — первый писатель-ханты, «создавший монументальные образы своих земляков, открывший русскому читателю душу своего народа, сделавший доступными русскому и «всесоюзному» читателю доселе неизвестные миру подробности о жизни, судьбах, традициях и обычаях малого северного народа ханты, до сих пор сохраняющих приметы родового строя».

Я понимаю, что Штильмарк отнесся к роману Айпина не совсем объективно и, возможно, в чем-то завысил свои оценки. Во-первых, рукопись Айпина вызвала у него много личных воспоминаний о первых послевоенных годах, когда Штильмарк по ложному доносу был обвинен в измене родине и сослан в енисейскую тайгу, где впервые столкнулся с кетами и эвенками, не раз спасавшими

его от голодной смерти, и чьи обычаи, кстати, не так уж сильно отличались от обрядов ханты. Во-вторых, в местах, которые так ярко живописал Айпин, очень долго работал охотоведом-биологом Феликс Штильмарк, сын писателя и сам автор чудесной книжицы о народах Севера «Таежные дали». Он, как мог, противостоял хищническому истреблению сибирской тайги и поголовному спаиванию коренных жителей. Вот почему проблемы, поднятые в рукописи Айпина, Штильмарку-старшему оказались очень близки.

Как считал Штильмарк, у Айпина получилась «книга глубоко поэтическая, патриотическая и правдивая. Там много поэзии в описаниях тайги, рек, промысла, оленей, собак, много верно переданных характеров, очень хорошие страницы, посвященные взаимоотношениям героя, охотника Демьяна, с молодой женщиной — врачом из России, их дорога по реке, их «ночуйки» в тайге, — все это на отличном профессиональном уровне, сердечно-чисто, целомудренно и высоко».

Но что интересно, возвышенные оценки дилетанта в вопросах теории литературы, каковым себя считал Штильмарк, оказались очень близки такому известному эстету, как Игорь Виноградов. Он не был согласен с хантыйским писателем лишь в определении жанра рукописи. По мнению критика, Айпин создал отнюдь не роман. Рукопись «Ханты, или Звезда Утренней Зари» Виноградов рассматривал как «некое своеобразное соединение лирико-публицистического эссе, сюжетной повести и цикла новелл-фрагментов, включаемых в качестве вставных эпизодов и ретроспекций в сюжетную канву и воспроизводящих жизненные судьбы множества знакомых, родственников и близких главного героя повести охотника Демьяна». Что, впрочем, не помешало критику объявить рукопись «эпическим сказанием (с соответствующими элементами стилизации)». Добавлю, что свой отзыв Игорь Виноградов представил в издательство «Молодая гвардия» осенью 1985 года.

Казалось бы, после таких оценок немедленно должна была бы выстроиться очередь из главных редакторов жур-

налов, жаждущих напечатать роман Айпина. Но как бы не так.

Первым хантыйскому писателю отказал журнал «Знамя». Пятого мая 1986 года заведовавшая тогда отделом прозы Наталья Иванова сообщила Айпину, что «интересная, большая и серьезная работа — роман «Ханты» — редакции не подошел». Мол, сокращать много — жаль, а если немного — то в журнале не поместится.

После «Знамени» Айпин обратился в редакцию журнала «Москва». Но там рукопись даже читать никто не стал. Член редколлегии, некто В. Шапошникова, когда-то написавшая восторженную рецензию на первую книгу Айпина «В ожидании первого снега», узнав от писателя, что в романе поднимаются экологические проблемы, посоветовала сразу нести эту вещь в журнал «Наш современник». Оттуда Айпин получил весьма оригинальный ответ: роман не будет опубликован, «поскольку в год 70-летия Советской власти мы решили дать несколько подборок рассказов народов СССР».

Менее категорично были настроены в журнале «Дружба народов». Отдел прозы не возражал против романа Айпина как такового, но потребовал от автора сократить рукопись в четыре (!) раза. Но писатель наотрез отказался.

Дольше всех не могла определиться в отношении «Ханты» редакция журнала «Новый мир». Возвратившийся в 1986 году в журнал Игорь Виноградов включил роман Айпина в план публикаций на 1987 год. Но очень скоро Виноградова в очередной раз из «Нового мира» «ушли». Потом рукопись хантыйского писателя «отодвинула» на неопределенный срок републикация «Доктора Живаго» Б. Пастернака, а затем пришла очередь републикаций Солженицына.

Правда, впоследствии, чтобы хоть как-то оправдать свою нерасторопность, главный редактор «Нового мира» Сергей Залыгин продиктовал вступительное слово к книжному варианту романа, который издательство «Молодая гвардия» представило читателям лишь в 1990 году, когда Айпин стал народным депутатом СССР.

Но шесть лет — со дня завершения романа и до первой его публикации — уже никто не в силах был вернуть.

Почему же все московские редакции так дружно отказывали Айпину в издании его романа? В чем тут дело? Неужели только в том, что Айпин оставался для читающей публики неизвестной фигурой?

Думаю, куда больше издателей пугала позиция автора. Ведь что, по Айпину, получалось?!

Прошлое — это сплошная трагедия, которую олицетворяли в романе такие прямо противоположные по своему характеру персонажи, как Айсидор и Кровавый Глаз. Первый был из тех наивных романтиков, что вечно торопили время. Не случайно он стоял у истоков создания колхоза на Агане. Свою задачу Айсидор видел в том, чтобы выкорчевать среди соплеменников все старинные обычаи и переселить кочевников из тайги в поселок. Но «идиллия» наивного мечтателя продолжалась недолго. Когда Айсидор основательно подорвал все традиционные устои сородичей, ему на смену заступил Кровавый Глаз, который столько народу повыбивал, что порядочному человеку в самом кошмарном сне не привидится. Настоящее же Айпин прочно связал с процессом поголовной алкоголизации. Для пушей убедительности он даже ввел в ткань романа материалы социолого-демографического и наркологического обследования ханты в поймах рек Вах и Аган. Правда, в последний момент писатель не рискнул раскрыть фамилию инициатора обследования. Осторожность оказалась не лишней. Эти материалы настолько шокировали местные власти, что инициатор — врач из Нижневартовска Вуль — был объявлен сумасшедшим. Только северяне после этого меньше пить не стали.

Кстати, пока рукопись романа путешествовала по столичным редакциям, писатель лишился почти всех своих двоюродных и троюродных братьев. И ведь своей смертью мало кто из них умер — погибали по пьяному делу, не дожив даже до сорока лет.

Так стоит ли после этого удивляться пессимизму писателя?!

В романе Айпин не дал своему главному герою никакой надежды. Напротив, отдалил от него даже сыновей. Молодые северяне, оказавшись перед сложнейшим выбором — приобщиться к европейской цивилизации или вернуться к дедовскому промыслу, предпочли прогресс, ведущий человечество в тупик. Поэтому будущее Айпин нарисовал в самых трагических тонах.

Главную драму своего народа и понаехавших в Сибирь вахтовиков писатель увидел в безверии. О чем говорить, если советская власть лишила таежников языческих идолов, но ничего не дала взамен. Не лучшая участь выпала и на долю вахтовиков. Сколько народу атеистическая власть оторвала от корней и пустила по миру?! Только вот Беловодья, о котором мечтали десятки поколений русского крестьянства, никто на земле ханты не обнаружил.

Эти трагические ноты сильнее всего и пугали издателей. Они требовали, чтобы автор все «тяжелые» эпизоды уравновесил оптимистическими оценками. Будто человеческую судьбу можно измерить на аптекарских весах или писателю по силам затормозить процесс угасания целого народа. В конечном счете Айпин вынужден был пойти на компромисс и включить в роман небольшую маловыразительную главку о ленинском гении.

Однако при всем пессимизме Айпина ни у одного критика не повернулся язык назвать его роман очернительством советской истории. Я объясняю это художественным мастерством писателя. Айпин поступил как истинный живописец. Взавшись за роман, он оттолкнулся не от злободневных проблем и мучивших его тем, а поставил во главу угла конкретного человека. В его трактовке Демьян — это воплощение трагедии двадцатитысячного народа, которую наша страна на фоне героических битв за сибирскую нефть просто не заметила.

Но если роман «Ханты, или Звезда Утренней Зари» пролежал в редакциях без всякого движения шесть лет, то рукопись повести «У гаснущего Очага» не могла найти издателя куда больший срок, хотя в художественном отношении это, может быть, самая совершенная книга Айпина

(публикация журнального варианта в 1992 году в «Нашем современнике» — не в счет, ибо из-за объемных сокращений многие существенные моменты, связанные с мировоззрением древнего народа, оказались «за бортом»).

Композиционно книга «У гаснувшего Очага» выстроена из семи глав. Это не случайно. Священные числа у ханты — три, семь и девять. А предпочтение всегда отдавалось семерке. Так, когда сходились богатые люди, то они, делая обильное жертвоприношение, обычно закальвали двадцать одного оленя, или, другими словами, три раза по семь голов.

Вообще, в прошлом у ханты любое явление имело религиозную окраску. Таежники не просто убивали, к примеру, оленя. Они его отпевали. Ханты словно отправляли оленя на небеса, чтобы его душа возвратилась на землю. Бойня как таковая была охотникам чужда. Совершая раз в неделю определенный обряд, ханты стремились к достижению гармонии между душой и телом, Богом и Человеком.

Как вернуть людям Веру — вот что мучает Айпина уже многие годы.

В предваряющем повесть авторском слове Айпин пишет, что его новая книга «о народе, утратившем Веру». Даже если согласиться с глобальным и очень страшным выводом писателя о том, что ханты, как и другие малочисленные народы Севера, обречены на медленное угасание, все же нас, по Айпину, должна согреть мысль о том, что многовековой опыт древних охотников и оленеводов будет востребован другими, молодыми, этносами. Дай-то Бог!

*Вячеслав Огрызко,
литературный критик, Москва*

Комментарий к повести «У гаснувшего Очага»

Основу книги «У гаснувшего Очага» составила повесть «Я слушаю Землю».

Первые ее главы напечатаны в 1983 году в журнале «Урал» (1983. № 8. С. 9—20), а через год вошли в московский сборник молодых писателей «Тепло чужого очага». Добавлю: те главы произвели сильное впечатление на Сергея Залыгина.

В начале 1990-х годов повесть «Я слушаю Землю» в расширенном варианте собирался выпустить отдельной книгой главный редактор московского издательства «Детская литература» Александр Неверов. Но он попросил дать ей новое название. Однако после распада Советского Союза издатели оказались на грани банкротства и от прежних своих намерений вынуждены были отказаться.

Впервые расширенный вариант повести уже под названием «У гаснувшего Очага» был напечатан по инициативе критика Вячеслава Огрызко весной 1992 года в московском журнале «Наш современник» (1992. № 4—5).

Тогда же интерес к этой повести проявили в Европе и Америке. В 1995 году несколько глав из нее перевел на английский язык один из крупнейших исследователей культуры индейских племен Америки Александр Ващенко. Эти

главы потом вышли отдельной книгой в американском штате Огайо.

В 1998 году повесть «У гаснущего Очага» вышла в переводе Каталин Надь в Венгрии, в будапештском издательстве «Ларус» («Чайка»). Тираж венгерского издания составил 300 экземпляров.

В России первое полное издание повести «У гаснущего Очага» появилось в 1998 году. Книгу выпустило в Екатеринбурге Средне-Уральское книжное издательство. На следующий год Еремей Айпин был за нее удостоен премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

Вячеслав Огрызко

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Скотт Н. Момадэй</i>	5
Как родилась эта книга. Элегия для читателя	9
<i>У гаснущего Очага. Повесть</i>	
I. Вёсны	13
II. Лета	65
III. Осени	113
IV. Боги и богини	151
V. Шаманы и сказители	183
VI. Зимы	215
VII. Боли	245
<i>В ожидании первого нега. Повесть</i>	271
Словарь хантыйских и русских (сибирских) слов и выражений	397
<i>В. Огрызко. Опыт для других.</i>	
Заметки о прозе Еремея Айпина	401
<i>В. Огрызко. Комментарий</i>	
к повести «У гаснущего Очага»	413

- Айпин, Еремей Данилович.**
А 37 Собрание сочинений : в 5 томах / Еремей Айпин. – Ханты-Мансийск : Издательский дом «Новости Югры», 2020.
ISBN 978-5-6045403-1-2
Том 2 : В ожидании первого снега. – 416 с. : ил.
ISBN (т. 2) 978-5-6045403-3-6

*Издание приурочено к 90-летию
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*

12+

Издание не рекомендуется детям младше 12 лет

Еремей АЙПИН

Собрание сочинений в пяти томах

Том 2

«В ожидании первого снега»

**Ответственный редактор Л. Р. Нурутдинова
Компьютерная верстка Е. Ю. Захарова
Корректор И. Х. Ачибакиева**

Подписано в печать 30.11.2020. Формат 13х20 см. Бумага офсетная.
Печать цифровая. Тираж 100 экз.

Адрес издательства:
Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46
тел. +7 (3467) 350-280

Отпечатано в ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск».
Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46
Тел. +7 (3467) 331-772